

ДРУЖБА НАРОДОВ



● *Владимир Костров*
Печальный стратостат
Стихи

● *Алексей Иванов*
Опыт № 1918
Роман



● *Венок Евгению Евтушенко*
*О. Хлебников, В. Некляев, М. Кудимова, И. Фаликов,
А. Ивантер, А. Городницкий, В. Куллэ, М. Ватутина,
И. Кабыш, И. Волгин, К. Кедров-Челищев*

● *Арина Обух*
Муха имени Штиглица
Повесть

● *Константин Фрумкин*
Тирания профессионалов
Лабораторные опыты

5'2017

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2017.
Подписано в печать 25.04.2017.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 5281. Цена свободная.

Дружба народов

5'2017

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Владимир КОСТРОВ. Печальный стратостат. Стихи	3
Анатолий ГЕНАТУЛИН. Пэпэже. Рассказ	6
Инна КАБЫШ. Имя её — неуют. Стихи	18
«Как это "солнышко поёт"?..» (Рубрика «Первые стихи»)	22
Алексей ИВАНОВ. Опыт № 1918. Роман	24
Александр ГАБРИЭЛЬ. Весна как жизнь. Стихи	85
Арина ОБУХ. Муха имени Штигилица, или А будущее — по самочувствию. Повесть	88
Ян БРУШТЕЙН. Вальсок уходящего мая. Стихи	118
Владимир ТОРЧИЛИН. Рассказы	121
Андрей РЕЗЦОВ. Рукопись, найденная в эсэмэсках. Рассказы	131

Венок Евгению Евтушенко

Олег ХЛЕБНИКОВ, Владимир НЕКЛЯЕВ, Марина КУДИМОВА, Илья ФАЛИКОВ, Алексей ИВАНТЕР, Александр ГОРОДНИЦКИЙ, Виктор КУЛЛЭ, Мария ВАТУТИНА, Инна КАБЫШ, Игорь ВОЛГИН, Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ. Стихи	137
Илья ФАЛИКОВ. Напоследок. Апрель Евгения Евтушенко	145

Публицистика

Константин ФРУМКИН. Тирания профессионалов	158
--	-----

Моя малая Родина

Александр ЕВСЮКОВ. Сюжет	164
--------------------------------	-----

Золотые страницы «ДН»

К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ БИТОВА	
Евгений ПОПОВ. Битов. Единственный экземпляр	173
Андрей БИТОВ. Уроки Армении. Путешествие в небольшую страну	176

Дружба на взросл

«Я боюсь пустой жизни». Белгородские школьники о детстве и взрослении	192
---	-----

Архив

Александр ЦЫБУЛЕВСКИЙ. Великие радости путешествий. Шесть записных книжек. Публикация и вступительная заметка Павла Нерлера	206
--	-----

Библиокавказика

Ольга БАЛЛА. Между совестью и отечеством	239
--	-----

Книжный развал

Елена ЕЛАГИНА. «Этот день мы приближали, как могли...»	243
Татьяна СОТНИКОВА. Любовь к Ленинскому проспекту	246
Лада МЯГКОВА. Время языка	248

Культурная хроника

Галина КЛИМОВА. Гений места — Арзамас	251
---	-----

Эхо

«Тому, кто плывёт...». Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	253
--	-----

Владимир Костров

Печальный стратостат

Революция

История смиренна и смела —
То вознесёт, то оторвёт от сердца.
В России революция была,
И от неё Земле не отвертеться.
И род людской она с ума свела,
Взметнув кумач до звёздно-синих ситцев.
В России революция была,
Нам от неё уже не откеститься.

Пред нами отступила нищета.
Мы справились с фашизмом окаянным.
Родили мы китайского кита,
Взметнувшего фонтан над океаном.
Но наших душ великий лейтмотив
В веках иных не станет изменяться,
Пока народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.

* * *

В гудках портовых сухогрузов,
Где чайки белые парят,
В одесском Доме профсоюзов
Русскоязычные горят.

Горят в побоях и проклятьях,
И понимая наконец,

Что память о Солунских братьях
Тупых не трогает сердец.

По этажам пустого зданья
Лишь пепла чёрная бразда,
Где от Христова состраданья
Отмежевались навсегда.

Костров Владимир Андреевич — поэт, переводчик, литературный критик. Родился в 1935 году. Окончил химфак МГУ (1958), Высшие литературные курсы (1969). Печатается с 1957 года. Работал заместителем главного редактора журнала «Новый мир». С 1979 года — профессор Литинститута. Автор 15 книг стихов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984) и др. Лауреат государственных и литературных премий. Живет в Перedelкино.

* * *

Вспоминается мне иногда,
Как порою, урок провороня,
Провожал и встречал поезда
На дощатой площадке перрона.
Если звук прорывался в трубе,
Белым паром меня обдавало.
Рвал огромный плакат на столбе
«Не форсунь!» и «Закрой поддувало!»
Каганович — железный нарком —
В расстояниях не видел преграды
И плакатным учил языком
Коллектив паровозной бригады.
Ускоряя дорожную прыть,
Усмиряя вокзальную суеть,
Поддувала нам стоит закрыть
И поменьше, поменьше форсунить...

Туркменская баллада

Не море кремниева праха
И не барханные усы,
Есть Каракумы у Аллаха,
Времени песочные часы,
В них через конусные склянки
Ушком игольным скреплены,
Шли македонские фаланги
И митридатовы слоны.
В них всё, чем сердце сотрясалось,
Шло прямо и наискосок.
И ход веков, и солнца алость —
Всё превращается в песок...
...То как наждачная бумага,
То как ползущая гюрза,
Шуршит шоссе до Карадага
В оазис райский Фирюза.

А там в предгорье Карадага
Арыки слышались в ночи,
И на лужайке у оврага
Ловили птиц карагачи.
И там, шалея от восторга —
Москва за тридевять земель, —

Я повстречал цветок Востока,
Туркменку гордую Гюзель.
И весь мотив её гордыни —
Две бровных змейки до виска,
Двух персей маленькие дыни
И бёдра — холмики песка.
И я испытывал блаженство,
И сердце билось всё сильнее,
И пело это совершенство
Мелодии земли своей.
О, нет, совсем не море праха
И не песочные часы,
Цвёл в Каракумах у Аллаха
Цветок божественной красы.

* * *

Г.К.

Не повернуть направо и налево,
Былых забав не воротить назад,
Гляжу вперёд, как улетает в небо
Моих страстей печальный стратостат.
Во мне обыденные фас и профиль,
А все грехи закрыты на замок.
Остались только жидкий чёрный кофе
Да сигаретки голубой дымок.
Теперь беру за ручку только палку,
Чтобы вживую перейти бульвар,
И в гастроном явлюсь, как на рыбалку,
Как по грибы, отправлюсь на базар.
Но всё же я люблю и жизнь такую
И скорого ухода не ищу,
Но, признаюсь, по прошлому тоскую
И по весёлой нежности грущу.

Зачем?

Зачем я видел белый свет,
Где цвёл кипрей и пели птицы,
Где солнце, как велосипед,
Вращает золотые спицы?

Зачем я слушал шорох звёзд,
И вновь соединяюсь с мраком,

И мир на мне поставит крест
Кладбищенский за буераком —

С неодолимой глубиной,
Под медной лунною печатью,
С неопалимой купиной,
С неутолимою печалью?

* * *

Беру костыль — опять меня мотает —
И самому себе твержу: держись! —
Презренного металла не хватает
На скромную оставшуюся жизнь.

И точно, не оставлю я наследства
Благодаря аптекам и врачам.
Мне много лет. И я впадаю в детство.
И мама не утешит по ночам.

Но продолжает Божий мир вращаться,
Наркоз стихов кончается уже —
И лишь душа не хочет возвращаться,
Таится, словно утка в камыше.

Мир полон и больных, и без гроша.
Но унывать — нестоящее дело.
И потому прошу тебя, душа,
Не покидай страдающее тело.

Анатолий Генатулин

ПЭПЭЖЕ

Рассказ

Посвящая жене, Асме Харисовне

Все удивились, узнав, что Галима вышла замуж за хромого Салимьяна. Такая девушка — и за такого!

Салимьян, хотя с детства был колченогий, во всем остальном — будь то рожа, рост и другие достоинства — считался нормальным мужиком. А Галиму жалели потому, что Салимьян был ненасытный бабник и к тому же деревенский придурок. В мирные годы даже самая завалющаяся вряд ли вышла бы за него. А в годы войны — где женихи, где мужья? И завскладом Шамгулов Салимьян стал первым парнем на деревне. К концу войны он был женат уже в четвертый раз. Три жены, родив от него детей, выгнали его за дурость, а от четвертой он ушел сам, когда увидел вернувшуюся с войны Галиму.

— Только чтобы все по закону, — сказала Галима, устав от его настойчивости.

В годы войны измученные непосильным трудом и полуголодом люди не очень помнили о сельсовете, где расписывали молодых, а после годов насильственного безбожия — о мулле и никахе. И теперь Галима вспомнила не о мулле и никахе, а о сельсоветской печати на бумаге. Салимьян с радостью согласился и перешел жить к Галиме. Если бы Галима не была пришиблена горем и одиночеством после смерти матери и потери надежды дожидаться Фархата, она еще подумала бы...

Фархат и Галима тайно переписывались, передавая записки через подруг и друзей, хотя никакой тайны и не было. Фархетдин был старше, он уже отслужил в Красной Армии и, окончив в Стерлитамаке учительские курсы, учительствовал в своей деревне. Молодые договорились: как только Галиме исполнится восемнадцать — печать на сельсоветской бумаге, и они вместе навеки.

Но в теплом благодатном июне, когда в палисадниках отцветала сирень, грянула война, и Фархат, еще не износивший красноармейскую шинель, поехал в военкомат. Единственное письмо Галима получила уже с фронта. После нескольких слов о том, что он находится в городе Калинин, были такие слова, читая которые, Галима и радовалась, и плакала: «...Война скоро кончится нашей победой, я вернусь — и мы с тобой будем вместе, и каждый час, и каждый день для нас будет счастливым. Взявшись

Талха Юмабаевич Гиниатуллин (Анатолий Генатулин) родился 20 апреля 1925 года в деревне Уразово Учалинского района. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами Славы, Отечественной войны. Народный писатель Республики Башкортостан. Автор книг «Вот кончится война», «Нас остается мало», «На пороге родного дома», «Что там за холмом» и др. Отдельные рассказы и повести его переведены на многие языки, изданы за рубежом.

за руки, мы побежим по заречным лугам, а когда зацветет умырзая, поднимемся на Девичью гору, в лунные вечера будем сидеть у распахнутого окна и слушать пение соловья...»

Больше писем не было. Радио перед сельсоветом голосило о тяжелых боях под Москвой. А на следующий год вместо сельсоветской бумажки с круглой печатью получили бумагу из военкомата с треугольной печатью: пропал без вести.

И двадцатилетняя Галима, первая красавица в деревне, оставив мать в слезах (отец незадолго до войны погиб на лесосплаве), пришла в военкомат. Она верила, что встретит на фронте своего Фархата...

Галима сызмала принимала жизнь всерьез, была привычна к труду. Раз стала законной женой Салимьяна — должна подчиняться ему, помогать в его мужских заботах, угождать, убажывать и даже терпеть его дурости.

И молодые стали жить-поживать. Даже в скудный послевоенный год завскладом Салимьян оказался хорошим добытчиком, к тому же он выпивал умеренно, а захмелев, дурость свою не выказывал. Наверное, по-своему любил жену-красавицу — и гордился, что вот он, колченогий, женился на девушке почти на двадцать лет моложе себя.

Потом родился сын. Радость, которую испытала Галима, когда дитя припало беззубым ротиком к ее соску, заглушила все пережитые невзгоды. И странно — ей стало казаться, что ребенок лицом похож на Фархетдина... Хотела было дать ему имя Фархат, но подумав, что это не понравится мужу, нарекла его похожим именем — Фархшат, которое тоже не очень понравилось Салимьяну.

Как-то раз она вышла с ребенком на улицу, чтобы дитя подышало вольным воздухом. Сидела на скамейке возле палисадника. Подсела к ней проходящая мимо соседка Рабига, живущая за три избы от нее, глянула на ребенка и сказала: «Вылитый Салимьян».

Потом, всматриваясь в маленькое личико сына, Галима уже не находила сходства с Фархатом, но она радостно любила и такого, от нелюбимого мужика.

Дожив с молодой женой до первого ребенка, уверившись в прочности новой семьи, Салимьян стал выказывать свою дурость. Не выпивал, не дрался, но для Галимы его дурость была хуже пьяной драки, потому что было стыдно.

Напротив, через улицу, жила двоюродная сестра Галимы Сафия. Муж ее Габдулхай еще в сорок втором после госпиталя на деревянном протезе вернулся домой. Еще непривычный к деревяшке и негодный для тяжелой мужской работы, он охранял склад и даже при скудной пище брюхатил жену. К концу войны их кувыркалось на сакэ четверо — мал мала меньше, голозадых и вечно голодных. Во время перекуров возле правления Габдулхай говорил, что производит солдат для следующей войны.

После войны много строили. И увечный ветеран Габдулхай пригодился как мастеровитый плотник. Рубил дома, бани, а работа оплачивалась не рублями — что на них купишь, кроме той же водки? — а выпивкой и обильным угощением. И к тому времени, когда деревня малость отстроилась, Габдулхай уже был запойным алкоголиком. Галима жалела сестру, помогала ей как могла: то миску супа отнесет ребятишкам, то каравай хлеба, то молочка или катыка. Салимьян, видно, заметил это и однажды спросил:

— Ты мне скажи, сколько хлеба напекла?

— Не помню уже, а что?

— А я помню. Было семь караваев. А тут шесть. Где еще один?

— Ну, сестре отнесла.

— Сестре отнесла? Я должен кормить ублютков этого алкаша!

— Он же больной, дети вечно голодные, жалко их.

— Пусть сам жалеет своих детей! Если еще раз замечу, как ты кормишь этих дармоедов...

И замолк. Не мог же он сказать, что побьет, или убьет, или выгонит. Однажды после попытки поднять руку на жену он получил такую трепку... А сказать «выгоню» он подавно не мог, потому как сам был приبلудным придурком.

Но к дверце комода, где хранили хлеб и другие продукты, он прибил петли и повесил замок...

С такой дуростью и такими причудами еще можно было жить. Ну, скуп, нет жалости к голодным ребятишкам, потому что скудная и скупая на милости жизнь не приучила хромого с детства человека к доброте. Но проявившаяся в характере Салимьяна следующая дурость была хуже всего того, что он выкидывал. Он оказался сумасшедше ревнивым.

В первый раз показал ревность два года назад, девятого мая. Девчонка-школьница принесла Галиме как участнице войны приглашение на встречу ветеранов деревни. Галима уже собралась было идти, надела платье на выход и голубую кофту, хотела даже пришить орден Отечественной войны. Но передумала...

Узнав о намерении жены идти на встречу ветеранов, Салимьян сказал:

— Ведь там будут одни мужики. Да еще и выпьют. Танцевать, что ли, будешь с ними?

— Потанцую, что тут такого?

— Не пойдешь! — грубо отрубил Салимьян и вдруг спросил: — Ты знаешь, что такое пэпэже?

— Слышала, но не знаю, что это, — равнодушно ответила Галима.

— Не знаешь? Вот ты и есть пэпэже, — продолжал Салимьян, — походная полковая жена. Солдаты в окопах, а командир в блиндаже с походной бабой.

— Мелешь несуразное. Ничьей женой я не была, пока не вышла за тебя, придурка. Неужели не понял, когда женился?

— Бабы — они хитрые, такую целку подложат...

— Какой ты дурак, оказывается, — с грустью проговорила Галима.

— Дурак? — Салимьян подошел к горке, достал из ящика потрепанный семейный альбом с единственной военной фотографией, снятой после победы в Берлине. Снялись комбат капитан Афанасьев, Галима, комроты Долидзе и политрук Губайдуллин. — У тебя на плечах офицерские погоны...

— Ну и что, я была лейтенантом медслужбы, саниструктором батальона...

— А еще орден. Такие ордена и еще лейтенантские погоны на войне бабам просто так не дают.

— На фронте и в госпиталях, и в медсанбатах, и даже на передовой много было девушек. Своим «пэпэже» ты оскорбляешь не только меня, но и их! Если еще раз услышу от тебя такие пакости...

Тут Галима осеклась и не выпалила готовые слова «Я тебя выгоню!» — она не хотела развода, не хотела, чтобы Фархшат рос без отца.

От кого идет «пэпэже», Галима догадалась: от соседа Ибрая. Ибрай тоже фронтовик, после войны работал бригадиром третьей бригады, а Галима после трехмесячного обучения на тракториста пахала поле за Глубоким оврагом. Вечером плугарь тетя Магрифа уходила домой, а Галима, чтобы спозаранок не бежать пять километров к трактору, оставалась одна в поле, хотя мать умоляла ее не ночевать там. Медведя и волков Галима не боялась — летом они сыты. Кого же еще? Конечно, двуногой твари, страшнее которой нет зверя в этих краях.

Однажды ночью кто-то залез в шалаш и стал шарить рукой под ее платьем. Галима оттолкнула его, и он голосом бригадира Ибрая сказал:

— Чего кобенишься, ты же пэпэже, на фронте небось не таким давала.

Галима вскочила — и вон из шалаша. Ибрай за ней. И получил бригадир пенькаря пониже живота и плевков в рожу.

— Ну погоди, сука! — пригрозил бригадир.

...Из района ее направили в Уфу на курсы военных медсестер. После обучения попала на фронт, в полевой эвакогоспиталь. И она, в великоватой для нее гимнастерке с погонами младшего сержанта на плечах, появилась в расположении полевого госпиталя в лесу где-то под Смоленском. И предстала перед добрыми глазами главного хирурга, майора Михаила Леонидовича Рудина, который взял девушку к себе операционной сестрой.

Пока тяжелых боев не было, полки припухали в обороне, в госпитале тоже шла ленивая прифронтовая жизнь. Потом загрохотало, и началось. И в больших брезентовых палатках кровоточила, стонала и пахла порванная металлом, обожженная человеческая плоть. Часто оперировали ночью, вздремнуть хоть часок не было времени. С ног валились от усталости. Но Галима, привычная к труду колхозная девушка, оказалась выносливой фронтовичкой.

Она еще во время обучения заметила: увидев в уфимском тыловом госпитале раны, кровь, слыша стоны, не бледнеет, как некоторые. А здесь, в полевом госпитале, когда началось наступление, сорокалетний санитар дядя Жора трудно переносил страдания раненых, потому что где-то воевал и его сын, — если вот так же и он... Галима тоже представляла иногда: привозят раненого, кладут на операционный стол, а это он, ее Фархат...

Однажды из нейрохирургической палаты прибежала санитарка Надя.

— Галя, раненый очень просит, чтобы ты подошла к нему.

— Какой раненый?

— Федотов.

Федотова оперировали вчера. Михаил Леонидович вытащил из его черепа осколок снаряда. Двадцатилетний солдат был обречен. Лето, жара, лекарства не спасали, раненых добивала инфекция.

Когда Галима села на краешек топчана, Федотов холодной рукой взял ее руку и сказал:

— Сестрица, Галя, наклонись лицом близко ко мне... Какая ты красивая! Я, наверно, вижу в последний раз такую красивую девушку.

— Федотов, не говори так, выздоравливай.

— Нет, — произнес солдат слабым голосом и отпустил ее руку. Через день он умер.

После слов Федотова Галима впервые мимолетно подумала, что, быть может, она действительно красива, хоть никогда не считала себя красавицей. В ее родной деревне таких, как она, был целый табун. А она лишь одна из них, выросших в душистом воздухе среди хлебных полей. Но она не могла даже вскользь подумать о том, что сорокалетний майор Рудин, который тоже однажды обронил слово о ее красоте, относится к ней так тепло лишь из-за ее молодости. Скорее, хирург ценил ее толковость и расторопность в операционной. Все-таки он, как бы шутя, поинтересовался однажды:

— Галя, у вас в Татарии все девушки такие красивые?

— Михаил Леонидович, я из Башкирии, — ответила Галима.

Потом взгляд добрых глаз майора становился все внимательнее и нежнее, смущая девушку. К тому же хирург добился у госпитального начальства, чтобы Галиме присвоили звание офицера медицинской службы. Так Галима стала лейтенантом. И душа ее взмыла в гордости. Она, девчонка из деревеньки Яик, — офицер! И, пока не привыкла к кусочкам сукна с двумя звездочками на плечах, она ощущала их как крылья: побеги — и полетишь...

Не пристало лейтенанту ходить в мешковатой гимнастерке и шинели не по росту. Из хозяйства, которое шло за фронтом вместе с эвакогоспиталем, пришел портной и снял мерку. И вскоре принесли гимнастерку, юбку из защитного шевиота и шинель по росту. Нашлись у завхоза и сапожки. И Галима стала выглядеть шикарным

лейтенантом. Знай наших! Даже ее подруга из нейрохирургического заговорила с Галимой «на вы».

Стояли где-то в Литве. Говорили, что до Вильнюса всего десять километров. Три солдата из команды выздоравливающих сбегали в Вильнюс и, вернувшись, рассказывали, похохатывая, как ходили к бабам и платили советскими рублями. Заграница...

Фронт притих. Видно, ненадолго. Вечера чужеземной осени были задумчивы, как в мирные дни. Раненых не было.

Однажды после операции единственного раненого (чистил автомат и нечаянно выстрелил себе в ногу) майор Рудин проводил Галиму до палатки, где жил женский медперсонал. Осторожно тронув ее талию, хирург неожиданно произнес:

— Галя, я с женой давно в разводе... После войны я помог бы вам поступить в медицинский институт... Вы поняли меня? — договорил он дрогнувшим голосом.

— Да, я поняла вас, — ответила Галима и, добавив: — Спасибо, что проводили, — заспешила к палатке.

Вечером она шепнула подруге, ленинградке Верке, что Михаил Леонидович сделал ей предложение.

— Ты согласилась?

— Ты что, Вера?!

— Значит, упустила свое счастье.

— Нет! Ты же знаешь...

— Ой, Галя! У нас в Ленинграде говорят: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе!» Такой хороший человек... Если бы мне сделал...

— Замолчи, Вера! А то мы с тобой поссоримся!

В утреннюю рань, когда все еще спали нефронтовым сном, Галима толкнула подругу:

— Вера, я ухожу.

— Как уходишь, куда?

— Куда? На войну. Знаешь, я ему не отказала, не хотела обидеть. Теперь мне будет очень неудобно сказать ему прямо «нет». Лучше я уйду.

— Куда уйдешь-то?

— За лесом стоит какой-то полк. Видно, в резерве.

— Галя, ты же в армии! Дезертирство пришьют!

— Пусть! Дальше передовой не пошлют... Может, Фархата встречу в окопах...

— Ой, Галя! Какая ты отчаянная!

Вера проводила ее до опушки леса. Дальше за полем и шоссе расположилась воинская часть. Постояли на опушке.

— Береги себя, подружка... После войны обязательно встретимся... Приедешь ко мне в Ленинград...

— Ты к нам приезжай... У нас красиво, горы!..

Подруги обнялись и расплакались.

В Польше, на подступах к реке Нарев, фронт настороженно заглох. Из окопов и замаскированных огневых точек немцы не стреляли. Чтобы обнаружить и подавить огневые точки, решено было произвести разведку боем. Такие приказы по телефону, тем более по рации, не дают. Пришла депеша от комполка генерала Кротова. Приказано было батальону майора Афанасьева прощупать немецкую оборону. И в прохладную ночь чужеземного предзимья, рассчитывая на то, что немцы еще в предутреннем сне, что, может, удастся захватить окопы и закрепиться в них, батальон без единого выстрела побежал вперед. Но, когда до немецких окопов оставалось не более ста шагов, немцы изо всех огневых точек перед батальоном Афанасьева открыли шквальный огонь. И батальон, оставляя в поле раненых и убитых, откатился назад. Зато огневые точки засекли и нанесли на карту-трехверстку.

Солдаты, polegшие перед немецкими окопами для того, чтобы жили и воевали остальные, солдаты, среди которых немало было молодежи из нового пополнения, для комбата, потерявшего за войну тысячи своих подчиненных, не имели особого значения, но остался в поле командир третьей роты капитан Долидзе, вместе с которым Афанасьев воевал с самого Сталинграда. Комбат приказал санитару дяде Саше, который в свои сорок лет считался уже стариком, и рядовому Онучкину вынести с поля боя капитана. Солдаты замешкались.

— Товарищ майор, они нас к нему не пропустят, — проговорил дядя Саша.

— Я приказы не повторяю! — негромко произнес майор.

Санинструктору батальона лейтенанту Гале Аминовой жалко было дядю Сашу, такого же колхозника, как и она сама, потому что она не сомневалась в том, что немцы их уложат. И она вскользь наивно подумала: ведь у немецких солдат, сидящих в окопе, тоже есть мамы, жены, дети, и они, наверное, тоже деревенские.

— Товарищ майор, разрешите, я пойду! — выступила Галима.

Майор Афанасьев, чуть помолчав, ответил:

— Лейтенант, если тебя убьют, это будет всю жизнь на моей совести...

Захватив санитарную сумку, она поднялась на бруствер и шагнула за черту...

За ней пошли дядя Саша и еще двое. От расположения батальона до немецких окопов было не более пятисот метров. Майор Афанасьев видел в бинокль, а остальные и без бинокля, как капитан Долидзе поднимал и опускал руку, — значит, жив.

Галиме казалось, что она бежит по бескрайнему полю и бесконечно долго. А когда добежали до раненого, были видны высывающиеся немецкие головы в касках. И слышно было, как что-то кричали немцы и даже смеялись.

Под капитаном еще зеленая, но уже в тонкой пороше зазимок травка была окрашена кровью... Капитана переложили на плащ-палатку и тяжело понесли к своим окопам — беззащитные, они не могли ни бежать, ни даже пригнуться. Но немцы почему-то не стреляли, а что-то кричали вслед, как будто озоруя.

Артподготовка, грохотавшая целый час, вздыбила над немецкими окопами черный прах до низких облаков. Потом, когда шли по перепаханной немецкой обороне, Галима увидела краешком глаза высунувшуюся из земли мертвую человеческую руку...

После форсирования реки оставшихся в живых солдат и офицеров представили к наградам. В списке награжденных была и батальонный санинструктор Галима Аминова. Майор Афанасьев хотел наградить отчаянную татарку орденом Красной Звезды (он считал эту красивую девушку татаркой), но замполит батальона капитан Губайдуллин настоял на ордене Отечественной войны первой степени.

После победы лейтенант медицины Аминова еще год служила в госпитале в городе Виттенберге, что на Эльбе. Служила бы и дальше, если бы не письмо матери из деревни: та писала, что хворает и боится умереть, не дождавшись дочки. Демобилизовавшись, Галима пустилась в дальний путь.

В чемодане, купленном в виттенбергском универмаге, поместились все ее трофеи — дешевые немецкие тряпки, разная пустышная мелочь, несколько тетрадей и цветные карандаши... Доехав до своего района на попутной бортовушке, она пришла на районный базар (было воскресенье) в надежде встретить попутчика из деревни. Никто не обратил особого внимания на женщину в военной форме. Привыкли за годы войны. Среди бедно одетых людей, которые почему-то казались ей малорослыми и разговаривали на местном языке, от которого она малость отвыкла, она тоже не узнала никого. Наконец заметила старика, лицо которого показалось ей знакомым. Подошла и, с удовольствием произнеся типтярские слова, спросила, не из Яика ли дедушка.

— Вот ведь, думал, марья подошла, а оказалась наша! — удивился дед.

— Я дочь Аминова Загира. Домой возвращаюсь, — сказала Галима. — А я вас помню, вы дедушка Галиулла, наш сосед.

— Молодец, не забыла. Мама твоя говорила, что дочка возвращается... Я уже не помню, какая ты была до войны. Вспомнил бы — узнал бы. Айда, поедем, порадуем твою маму.

Вышли к коновязи, где ждала их колхозная телега; на такой телеге, неспешной и дрыгающей, Галима приезжала с отцом на базар в отрочестве. Подложив под себя шинель, которую из-за жары носила на руке, и поместив рядом чемодан, Галима села, свесив ноги по-деревенски, и они поехали.

Долго ехали молча. Галима вдыхала полузабытые запахи деревни — пахло лошадьё, телегой, дегтем, от старика шел родственный приятный запах. Узнавала знакомые с детства холмы, березняки на склонах. И тревожно думала о том, что ее ждет в деревне. Застать мать больной она была готова, но она думала о нем, о парне ее юности, для которого она берегла себя все эти лихие годы и который уже несколько отдалился в ее памяти. Быть может, он вовсе не погиб, а подлечив раны, вернулся. Ведь Галима знала, что некоторые тяжелораненые, без ноги, без руки или ослепшие, не хотели возвращаться домой калеками, не работниками, не добытчиками. Разве они нужны довоенным невестам, симпатиям или молодым женам, которые, быть может, уже нашли здоровых мужей или хахалей в тылу... Она воображала себе Фархата и знала, что была бы рядом с ним всю жизнь. Но могло быть и другое: он уже женат... И у деда спросить она не могла...

Проехав половину пути, дед вдруг заговорил:

— Я вижу, дочка, у тебя командирские погоны. Командиром была, что ли?

— Нет, дедушка. В госпитале раненых солдат лечила.

— Понятно. Врач, значит.

— Нет, дедушка. Я была медсестрой. Потом санитаркой на передовой, выносила раненых.

— Небось страшно было молоденькой?

— Страшно, дедушка, на войне страшно.

— Да, война не женское дело.

— Она и не мужское дело. Какие парни гибли, жить еще не начали, а уже в могилу.

У многих и могил-то нету.

— Да-а, у нас в деревне война, может, была страшнее вашей войны. Там солдат убивала пуля, а в деревне — голод, болезни. Врачей нам не присылали, покойников хоронить было некому. Хромой Салимьян в правлении болтал: «Гитлера победили мы, колхозники». Победить-то победили, а нам за это не дали ни чинов, ни орденов... Н-но, уснула, что ли, животино!

У въезда на деревенскую улицу, поблагодарив деда, Галима слезла и сказала ему, чтобы, если встретит ее маму, сообщил ей, что дочка возвращается. И пошла задворками, чтобы не проезжать по улице мимо окон Фархата Зулькарнаева. А спросить у дедушки Галиуллы, вернулся ли Фархат с войны, ей было неловко...

Пройдя огородам, она появилась во дворе так неожиданно, что матери с крыльца показалось, будто спрыгнула с крыши сарая, куда любила взбираться когда-то маленькая Галима. Увидев во дворе какую-то женщину в военной форме, мать испугалась.

— Мама! — крикнула Галима.

— Галима! Дочка! Только по голосу узнала...

Мать и дочь порывисто обнялись и заплакали...

Потом, когда пили чай с каймаком, блинами и купленными по дороге домой московскими конфетами, Галима осторожно расспрашивала мать о том, кто еще вернулся. В ответе не упоминался Фархат. Быть может, мать забыла. А переспросить Галима не решилась.

Вечером спросила:

— Мама, где мои довоенные платья?

— В сундуке. Зачем они? Ты из них уже выросла.

— Может, какое подойдет. Так хочется надеть довоенное платье.

— Походи в военном. Покажись людям.

— Неудобно, мама.

— Чего тут неудобного-то? Гордиться надо.

— Война кончилась, мама!

Небывалая засуха недвижно стояла на Южном Урале.

В ослепительно синем небе — ни клочка облака, голое солнце с восхода до заката жжет и корезит землю. Обмелели реки, высохли родники, в полях и на дорогах знойный ветер поднимал пыль и веретеном крутил черные смерчи. «Ахрызаман, — повторяли старухи, — это за грехи наши».

Бывший колхозник, теперь безработный грешник, гнал самогон в предбаннике. Выпив кружку «первача», он не понял, отчего ему так жарко...

Сосновая древесина полыхала, как солома. Горячий юный ветер раздул огонь и погнал его по тому порядку, что со стороны реки. Пожарки в деревне не было. Колхозная пожарная машина за ненадобностью давно ржавела в сарае. То ли оттого, что при колхозах не было ни одного пожара, то ли оттого, что некому и нечем было платить за горючее и пожарнику, но о ней забыли.

Когда огненный язык лизнул дом и подворье Сагадатовых, люди заполошно стали выносить домашний скарб и утварь, нажитые многолетним трудом, и складывать у противоположного порядка. Трудно было выносить холодильники, у кого они были, и старые громадные телевизоры. Ревя и стреляя газовыми баллонами, огонь испепелил дома Гадельшиных, Зайнуллиных и уже стал пожирать новый дом Хуснуллиных. То ли в шоковом оцепенении, то ли сознав свое бессилие, люди смотрели на свои сгорающие дома как-то отрешенно, соседи, родичи как будто стали чужими и не узнавали друг друга...

Выплывывая черный дым, огненное чудовище приблизилось к дому Хромого Салимьяна. Дальше, еще через два дома, — магазин. В магазине — бытовая химия, водка и еще какие-то горючие товары. За магазином, через проулок, — снова улица. Если вспыхнет магазин и пламя достанет домик старика Лутфуллы, огненная беда пойдет гулять дальше по деревне...

Галима вынесла, как она считала, самое необходимое: сундук с одеждой, гимнастерку с орденом и, вернувшись и подойдя к дому, стояла у ворот и смотрела на пожар. Огонь достиг дома Талгата Зайнуллина, лучшего дома на аймаке. Талгат, расторопный, мастеровитый человек, обустроился на зависть соседям. Кроме того что построил высокий дом с балконом на фронтоне, с верандой, выходящей в палисадник, он обнес двор высоким забором и соорудил хлев на мху из сосны и вместительный сеновал под кровлей. Избу Галимы от двора Талгата отделял теперь лишь высокий забор.

Сожрав дом и подворье брата Талгата Рауфа, гонимый знойным ветром огонь со злобным ревом стал вгрызаться в забор Талгата и пытался через забор дотянуться до чердака, где лежало прошлогоднее сено...

Талгат сидел против палисадника соседа Апуша и спокойно и как будто равнодушно курил. Металась только его жена Сахиба, то вбегая во двор, то убегая на улицу.

Галима все еще стояла у ворот и смотрела на пожар.

— Мама, уходи! — кричал Фархшат от ворот тетки Рашиды.

Подошел Салимьян и крикнул ей, как глухой:

— Чего стоишь?! Сейчас из района пожарные приедут!

Галима не ответила. Стояла неподвижно и смотрела в ту сторону, откуда

надвигался огонь. Салимьяну показалось, что жена смотрит не на пожар, а куда-то мимо или сквозь пламя.

Перемахнув через забор, огонь наползал на кровлю хлева, захватил баньку.

— Мама, уходи! — кричал Фархшат.

Снова подошел Салимьян:

— Чего стала? Жить надоело?!

Галима не ответила. Продолжала стоять. Хотя у ее ворот уже было жарко.

Стены Талгатова хлева лизнуло пламя. Скоро доберется до кровли. Кровля, правда, железная, но пламя доберется до сеновала снизу.

Затарахтел мотор. Это Вадим, студент на каникулах, пригнал старый колхозный, сейчас никому не нужный бульдозер.

— Вадим, назад! — кричали с улицы.

Бульдозер попятился назад, студент выпрыгнул из кабины. Рвался подняться в кабину пьяненький мужик Жаудат, но его жена, тоже пьяненькая, вцепилась в него и оттащила.

Озадаченный Салимьян подошел к своей предпоследней жене Нажии — и так смиренно:

— Нажия, кажется, Галима сошла с ума, стоит как вкопанная и молчит. Если дом сгорит и жену положат в психушку, можно, я вернусь к тебе?

Нажия ответила:

— Вот когда твой дом сгорит и жену твою положат в психушку, тогда я подумаю.

В кабину взобралась Галима и повернула машину во двор Талгата, охваченный дымом и пламенем.

Люди стояли и смотрели, как бульдозер, проломив дверцу хлева, вползает под кровлю, где загорелось сухое сено. Из хлева вылетали с воплями куры и пытались перелететь через высокий забор во двор Галимы. Люди смотрели и что-то кричали, но из-за рева пламени и шума ветра плохо были слышны их голоса. А когда Галима на бульдозере вломилась под кровлю, ошарашенные люди замолчали. Громко плакал только Фархшат, и, воздев руки, кричал Салимьян:

— Она сумашедшая, она сумашедшая!

А когда послышалось рычание бульдозера, развернувшегося на огороде, люди оцепенели, представив, как сейчас раскаленная кровля накроет бульдозер с женщиной в кабине. Но тут, проломив еще половину хлева, бульдозер выполз во двор, и одновременно с грохотом рухнула кровля. Стали слышны голоса. Галима спрыгнула на землю и заспешила в свой дом.

Сожрав дом и подворье плотника Талгата, пожар вздохнул то ли от усталости, то ли с сожалением и смирился. Из райцентра приехали две пожарные машины и стали поливать все еще дымящееся пепелище с обгоревшими остатками разного хлама.

Назавтра в районной газете появилась заметка о том, как районные пожарники смогли спасти деревню от пожара.

А где вспыхнул огонь или кто виноват, никого не интересовало. Говорили, что загорелся мусор.

Потом о пожаре напоминала только зарастающая бурьяном шербина между уцелевшими домами, через которую, как через распахнутые ворота, видны были пойма, заречная урема и Уральские горы.

Приземистый и большерукий Фархшат ни лицом, ни статью не был похож на Салимьяна. Скорее был в деда Загира. Он был рожден для работы на земле или под землей, в рудничном шурфе или в шахте, как дед-старатель.

В школе он особых способностей не проявил. Хотя математика давалась ему легко. Такие парни нравятся девушкам, которые чувствуют в них мужскую силу и надежность.

Однажды, листая альбом с фотографиями, Фархшат сказал:

— Мама, какая ты была красивая!

— Была? А сейчас я уродина?

— Я говорю о военной форме, — поправился сын. — Надень сейчас форму с орденом, покажись людям — ахнут.

— Зачем? Форму носят в армии и на войне.

— Ты же была офицером.

— Да, лейтенантом медицинской службы. Не генералом же...

Когда Фархшата провожали в армию, Салимьян удивил Галиму тем, что заплакал. Как будто предчувствовал, что больше не увидит сына.

Так и вышло. У него была застарелая чахотка. Он много курил. Может, оттого притаившийся в молодости недуг дал о себе знать.

Угасал Салимьян долго и мучительно. Его кашель и выхаркивание по ночам не давали Галиме спать. Когда она пыталась лечь отдельно, муж кричал:

— Ложись рядом!

— С тобой я не отдыхаю. Можно, я лягу на диван?

— Сказал, ложись на свое место, пэпэже, твою...! — хрипел Салимьян. Ненадолго засыпал и, очнувшись, ощупывал жену.

— Думаешь, убегу.

— Кто тебя знает. Ибрай за забором.

Когда Салимьян помер, Галима поняла мужа и пожалела его. Рос сиротой. Колченогий с детства. Жил с прозвищем то Хромой, то Придурак. Если бы не война, не нашел бы себе пару. Но в войну, оставшись единственным мужиком в деревне, пытался утвердить свою полноценность мужским достоинством, однако счастья не нашел. Только женившись на Галиме, обрел семейную гордость и покой...

На похороны отца приехал Фархшат. Он вытянулся. И мать не могла налюбоваться на своего мальчишка в военной форме.

На мусульманских поминках водку не пьют. После поминок дружок по детским играм, уже отслуживший в армии, пригласил Фархшата к себе. Пили что-то. Фархшат вернулся домой не просто выпивши, а еле держась на ногах. На вопрос «Что пил?» ответил:

— Не знаю, пахло спиртом.

Галима догадалась — технический спирт, или «самопал», которым травятся в деревне. В Германии по пути наступления часто попадались спиртовые заводы. И солдаты этой пахнувшей спиртом жидкостью заполняли свои фляги. Травились, слепли, умирали. Так что Галиме уже приходилось откачивать этих горе-выпивох. Откачала она и сына, а дружок его Едеган, который хлебнул больше, умер в больнице...

Провожая сына после похоронного отпуска, Галима напутствовала его:

— Сынок, слушай меня. Отслужишь армию — в деревню не возвращайся.

— А как же, мама, ты?

— Я — как-нибудь. А ты куда-нибудь завербуйся. А что будешь делать в деревне? Колхоза нет, работы нет. Спиваются, лезут в петлю. Пока ты служил, повесилось семь человек! Разве за эту жизнь мы кровь проливали?

Проводив сына, она стала жить жизнью одинокой вдовы. У нее была корова по кличке Марта — почти подруга: узнавала Галиму и радовалась, возвращаясь с пастбища. Но пришлось расстаться и с этим существом. Молока для чая давала ей теперь двоюродная сестра.

Остались только куры и петух, который кричал по утрам: «Вставать пора!»

После нескольких армейских писем Фархшат написал из Нижневартовска. Писал, что работает в Уренгое вахтовиком, что в его жизни все хорошо. Было бы еще лучше, если бы не скучал по деревне. Еще через год написал, что женился на татарке

из Тюмени и скоро поедут к родителям. Потом — о рождении сына, потом — все реже и реже... Перепелиный выводок отдалялся от материнского гнезда.

Галима как участница войны получала хорошую для деревни пенсию и ни в чем не нуждалась. Она давала в долг, но не все ей возвращали: дескать, зачем ей, одинокой, деньги? Некоторые говорили: «За что ей такая пенсия?» Ее бедой и бедностью было одиночество. Особенно когда люди ее возраста стали умирать. Не с кем стало перекинуться словом, даже не с кем поругаться, когда умер сосед Ибрай.

Окончательно спившись, умерли двоюродная сестра с мужем. Для молодых она была всего лишь одинокой старухой, задержавшейся в жизни лишние годы...

Иногда клала перед собой толстый альбом с фотографиями и листала, и эти картонные листы, на которые были наклеены фотокарточки, казались ей годами прожитой жизни, от которых остались только тени. Тени были тусклы и стерты на тех снимках, которые кто-то наклеил очень давно. Четки и узнаваемы были недавние любительские, которые снимал сын. Даже и берлинский снимок, где лейтенант Аминова Галя рядом с комбатом Афанасьевым и политруком Губайдуллиным, стал тускнеть. Живы ли они сами? В альбоме не было тени Фархата. Может, и сам Фархат был всего лишь тенью...

Когда она пыталась вообразить жизнь с Фархатом, рядом возникал хромой Салимьян. А от Фархата в памяти ничего не осталось, как будто его вовсе и не было. А от прошлого, как еще не выгоревший цветной фотоснимок, остались только война, не госпиталь, а батальон, окопы, гул наступления, Германия, развалины Берлина, Виттенберг и чистенькие улицы с цветочными клумбами...

Иногда ей казалось, что она осталась в деревне совсем одна. Выходила на улицу и шла по деревне. Чудилось, что сейчас встретит кого-нибудь из старых знакомых или кто-нибудь выйдет из ворот. Но никто не выходил.

Никто в деревне уже не помнил, в каком году впервые Девятое мая отметили как «Праздник со слезами на глазах». Наверное, в Белокаменной большой начальник вспомнил, что мы ведь победили, и прослезился от гордости.

Поскольку в деревне не было Красной площади, местное руководство решило провести праздник перед сельсоветом на недавно заасфальтированной площадке. Вынесли из клуба три длинные скамьи, и ветераны, тогда еще не старые, с медалями и орденами на поношенных пиджаках, расселись на скамьях. Сколько их было тогда на трибуне, тоже никто уже не помнит. Наверное, в сельсоветских бумагах что-нибудь сохранилось.

С речью перед ветеранами выступал либо сам председатель сельсовета, либо кто-нибудь из учителей. Слова, написанные на бумаге о том, что советский народ победил фашизм и спас мир от коричневой чумы, оставались неизменными из года в год. После доклада был парад. Школьники разных классов в пионерских галстуках под звуки горна и барабана проходили перед ветеранами, затем показывали свои таланты: пели, плясали под баян. После парада ветераны шли в школьную столовую, пили сто грамм «наркомовской» водки и ели колхозную шурпу с бараниной.

Это повторялось каждой весной девятого мая. Сменялись только люди. Школьники, окончив школу, уходили во взрослую жизнь. Не менялись длинные скамейки из клуба, правда, теперь на площадь их выносили всего две...

Школьники, марширующие парадным шагом, теперь были без галстуков и в сшитой для праздника униформе. Это уже были внуки ветеранов и даже ученики-первоклашки — правнуки. Великая Отечественная для них была всего лишь историей из учебника и преданьем старины полузабытой, как Отечественная война двенадцатого года. Военруком теперь был демобилизованный прапорщик.

В юбилейный год ветеранам вручали медали. На старых пиджаках рядом с

фронтowymi наградами заблестели новенькие мирные. Для ветеранов, вернувшихся без наград, они были запоздалой гордостью.

С тех пор как ревнивый Салимьян запретил Галиме ходить на встречу ветеранов, она ни разу не была на площади со скамейками. Хотя каждый год девятого мая в ее почтовый ящик опускали приглашение. Потом перестали. Наверное, о ней забыли...

С годами на площадь стали выносить только одну скамейку, на ней сидело всего человек пять-шесть. За год до большого юбилея их осталось только двое: Буранбаев Рахматулла и Юмагужин Хайбулла. Буранбаеву было за девяносто, Юмагужину под девяносто. Буранбаев был награжден орденом Суворова второй степени. Говорил, что Суворов был башкир, что его настоящая фамилия Сабуров. Он помог бабе-царице поймать Пугача, и за это баба-царица присвоила ему генеральский чин и послала бить французов. И Буранбаев, и Юмагужин войну помнили вживую. Они оба не могли смотреть по телевизору кино про войну. Буранбаев говорил: «У артистов рожи сытые, как на сабантуе, и глаза не так смотрят».

Военрук, демобилизованный прапорщик Шаймарданов, решил провести юбилейный парад на высшем уровне. Это будет последний парад последних окопников, прощальный парад. А дальше — кино про войну...

Два дня он муштровал на школьном плацу ребят старших и младших классов, как сержант-зануда, уча их парадному шагу, чтобы старики смотрели и умилялись тому, что в армейском строю и в окопе их место займут достойные потомки.

И вот девятое мая, день выдался теплый, без майских ветров.

Еще вчера опустили в почтовые ящики Буранбаева и Юмагужина приглашения на праздник. Но утром узнали, что позавчера старика Юмагужина увезли в районную больницу. Значит, последний парад — в честь самого старшего и единственного ветерана, чудом дожившего до наших дней...

Внесли на площадь единственную скамейку из клуба и обитую кумачом дощатую трибуну, с которой в клубе говорило речи начальство, рядом на стол поставили радио и запустили громкую музыку. И в школьном дворе выстроились ребята в праздничной униформе. И стали ждать единственного ветерана Буранбаева Рахматуллу.

Рахматулла жил недалеко от площади. Как дисциплинированный солдат, в пиджаке с орденом и медалями, он обычно появлялся из калитки и, добредя до площади, поздоровавшись с ветеранами за руку, садился на скамью.

Но сегодня старик не появился. Подождав, послали за ним школьника. Школьник вернулся и сообщил:

— Дед лежит больной и не разговаривает.

Огорченное начальство, не зная, что делать, продолжило топтаться возле трибуны, озадаченный прапорщик уже был готов вернуться на школьный двор и скомандовать: «Парад отменяется, разойдись!..»

Но тут люди заметили, что на скамье кто-то сидит. Присмотрелись: женщина, старуха в военной форме.

На старухе мешковато сидела военная гимнастерка, перетянутая в талии широким ремнем, на груди сиял орден, на седых волосах молодежато держалась пилотка, а на худеньких старушечьих плечах были лейтенантские погоны...

Инна Кабыш

Имя её — неуют

* * *

Это небо набухло, как вымя,
и висит над моей головой,
и по-волчьи хотела бы выть я
и чтоб кто-нибудь слышал мой вой.
Эх ты, родина, горе-злосчастье,
ты в кого уродилась такой?
И за домом — сплошное ненастье,
и в дому — лишь один непокой,
и в душе. . .
Но об этом уж слишком —
лучше я о душе помолчу:
не понять ни умом,
ни умишком
этот замысел.
Эту свечу.

Сыну

Я помню: август, девяносто первый,
и слово неожиданное *путч*,
и помню путь (плохое слово *нервный*,
неточное),
я помню этот путь —
в Москву на переделкинской газели
и свой — пока невидимый — живот.
Я помню, как в молчании глазели
в окно все те, кто ехал.
Весь народ.

И как навстречу танки шли по Минке,
и это всё была моя страна —
все катафалки, все её поминки,
и вечный бунт, и вечная война.
И помню, что подумала тогда я,
хотя прошли не годы, а года, —
беременная, злая, молодая, —
и что тебе сказала я тогда:
у нерождённых — никакого шанса
в том месте, что зовётся вечный бой,
а стало быть, чего уж там — решайся,
рождайся, сын,
прорвёмся.
Я с тобой...

* * *

Лето сводит в счастливые пары —
им под каждым листком стол и дом —
и гитары звучат, и фанфары,
и салют,
и фонтан,
но потом
все кончается —
сразу,
внезапно,
в одночасье кончается вдруг:
было лето сегодня, а завтра —
снег по пояс,
и где ты, мой друг?
Завтра мы разбежимся по норам —
разгребать этот гибельный снег
(было счастье весёлым и скорым,
словно поезд,
кибитка,
ковчег),
вспоминая июльские грозы и в пуху тополином кровать...
А напрасно: чем крепче морозы,
тем друг друга нужней согревать.

* * *

Как я раньше боялась распада,
как боялась! —
что твой Дориан.
А теперь понимаю — не надо:
красота и порядок — обман.
И вот это вот листьев паденье,
этот рвущийся интернет,
неуют,
увяданье,
гниенье —

это всё не пейзаж, а портрет.
И старенье —
смиренье всего лишь
(бедный мальчик,
обманутый Грей!),
это осень,
а с ней не поспоришь
и с её беспорядком вещей.

* * *

Не сбивай меня с этой волны —
где нас мало, нас, может быть, трое —
в вашем мире так много войны,
в вашем мире так мало покоя.
И с моей ты меня не сбивай:
не сули золотые мне горы,
возвращенный потерянный рай
и в нагрузку — родные просторы.
Слишком знаю я цену им всем:
то потухнут они,
то погаснут.
Отчего это с ними, не вем,
только ты не сбивай понапрасну.
Жизнь, конечно, главней красоты,
как ребёнок главней Рафаэля,
только всё ж не мани меня ты
в эту жизнь —
мне другая милее.

Сон

...И в какие-то двери звоню я,
понимая, куда я звоню,
и стоит середина июня,
и мальчишки играют в войну.
И хотя открывают мне двери,
я шагнуть не могу за порог
(то ли мало ещё во мне веры.
то ли вся моя вера не впрок):
всюду люди — и мама в халате
(помню байковый этот халат,
что тянул от зарплаты к зарплате
из невидимых миру заплат!).
«Ты чего, — говорю, — как кулёма?
Здесь же люди и, в общем, тот свет...»
«Ничего, — говорит, — я ведь дома.
Дома я,
это ты ещё нет».

* * *

Марине Кудимовой

... ибо яблок в году этом столько,
что и куры уже не клюют.
Жизнь прекрасна,
хотя и жестока,
то-то имя её — неуют.
И любимые стёжки-дорожки,
не вишнёвый, а всё-таки сад:
ну помедли ещё хоть немножко,
отмотай эту ленту назад.
Не дели ты меня на участки,
погоди — и сама я умру.
Ох, как часто, как часто, как часто
задыхаюсь уже поутру.
Разбери: хорошо или плохо
то, что с нами творится сейчас...
Знаю: кончилась наша эпоха,
и никто не вступился за нас.
И антоновка бьётся о крышу,
словно кто-то стучит топором —
и я всё это вижу и слышу,
но спасти не сумею пером.

Инна Кабыш

«Как это "солнышко поёт"?..»

Детские выступления на сцене-столе
были моими первыми стихами:
свои первые стихи я писала ногами.
Впрочем нет: ногами я писала уже «вторые»,
а первые... чем-то другим,
потому что в свои пять просто не умела писать
(теперь-то я точно знаю, что стихи — дело нерукотворное):

Небо голубое,
а под небом лёд,
солнышко родное
светит и поёт.

«Как это “солнышко поёт”?» — строго спросил отец.
(Отец, как все взрослые, был инженером.)
Я виновато молчала.
«Солнышко поёт! — не унимался отец и вдруг,
сморщив лоб, изрек: — Светит на народ.
Так гораздо реалистичнее».
И с чувством глубокого удовлетворения продекламировал:

Небо голубое,
а под небом лёд,
солнышко родное
светит на народ.

(Моим первым — и последним! — цензором был отец, именно он привил
моим стихам гражданственность.)

...Когда отца хоронили, мне было шесть и стоял декабрь.
Снежинки падали на его лицо и не таяли.
Мама беспомощно оглядывалась вокруг, как бы чего-то ища,
и не переставая плакала.
И тогда я подошла к ней и сказала:
«Не плачь, мама, я вырасту, рожу мальчика
и назову его Александром...»
И мама подняла на меня глаза и перестала плакать.

Зачем человеку искусство?
Будучи шестилетней, я поняла,
Что, если нельзя вернуть человека, можно повторить *ИМЯ*.
Слово заполняет образовавшуюся брешь.
Я потому и стихи стала писать:
всё время сквозило из мироздания.

Номо sapiens, рисующий на стене бизона,
ребёнок, рисующий карту придуманной им страны,
поэт, ищущий слова в столбик, —
удваивают мир,
затем, что мир, данный нам изначально, слишком тонкий,
а где тонко, там и рвётся.

Когда хоронили маму, мне было тридцать один,
как отцу, когда его хоронили, и стоял июнь:

бабочки садились на мамино лицо и тут же улетали.
Теперь я знаю, что смерть —

это, когда снежинки не тают,
а бабочки улетают.

А искусство —
это когда смерть теряет своё жало.

Алексей Иванов

ОПЫТ № 1918

Роман

Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли.

Пс. 103.30

Глава 1

Кончилось время империи. Все, что дальше происходило с нею, шло ей во вред. Войска, притекавшие на фронт, были разложены большевистской пропагандой и ядовитыми, отравляющими ручейками вливались в здоровое, пахнущее порохом, человеческим и конским потом тело воюющей армии, вызывая гангрену, распад, косноязычные митинги, пьянство, воровство, шатание от русских окопов к немецким с фальшивыми обьятиями и странным, пьянящим чувством куража в головах.

А Петроград, столица империи, продолжал свою шальную жизнь. Вспыхивали электрические вывески и фейерверки над Невой, катились на Острова ландо, кареты, модные выезды, шикарные авто с шофферами, запаянными в кожу. Шляпки стали оригинальнее, вырезы на платьях смелее, мужчины вовсе укоротили купальники и небрежно похаживали по пляжам в Терийоках обнаженными до пояса. Гимназистки бегали смотреть на смельчаков издали, матери возмущались и прикрывались зонтиками. Модные поэты, подчернив глаза и напудрив щеки, сражались на поэтических дуэлях, не замечая накокаиненных поклонниц, мечтавших уйти из этой жизни вместе с кумирами. Нервный, призрачный город ощутил близкое дыхание Свободы. Поэты звали к Свободе, призывая Свободу вторгнуться в искусство и разрушить все правила, вдохнуть в него новый дух. Что это за дух — никто не знал, но все жаждали прогресса. Слово «прогресс» обладало таким же гипнотическим действием, как и «свобода».

Но силы истекали из империи. Это обнаружили даже те, кто на этом празднике жизни были не приглашенными, а хозяевами. И как свойственно это русским, попытались победить болезнь, не установив ее диагноз. Усугубляя, решено было: чем хуже, тем лучше! Что тоже очень по-русски.

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор трех романов, нескольких повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живет в Москве.

Последняя публикация в «ДН» — рассказ «Остров мертвых», 2017, № 2.

Журнальный вариант.

Империя, недавно стоявшая неколебимо, как битюг Паоло Трубецкого под императором Александром III, почувствовала слабость в мощных, столбообразных ногах.

Не привыкшая хворать, не чувствуя смертельной болезни, страна не поняла, что Время отворило вены битюгу и оставалось лишь смотреть со стороны, когда наступит момент катастрофы великого государства.

Время изменило прежним героям и разлюбило их. Этого не почувствовал никто. Ни умные, пусть даже задним умом, ни талантливые. Кое-кого спасло чутье, например, торговцев, к удивлению — не самых крупных. Они сумели мимикрировать, спрятаться, уехать, раствориться в желеобразной массе разлагающейся империи. Кто-то дерзко, с открытым забралом выступил на борьбу, не понимая с кем (или с чем?), не сознавая, кто с ним рядом, и был сражен: кто — белыми, кто — красными, кто — тифозной вошью и испанкой. Умирили, не понимая, что вышли воевать со Временем.

Нынешнего отказа Времени от своих героев никто не ощутил.

Может быть поэтому гибель их, predeterminedенная и прописанная, была так мучительна.

Петроград, еще недавно столица империи, умирал. Царские выезды, марши гвардейских полков, офицерские фуражки и эполеты сменили красные флаги, банты, криво и неграмотно написанные лозунги. Появились странные люди, стоящие на ящиках-приступочках: они кричали, неистово убеждая в чем-то десяток баб, лужающих семечки, и мальчишек, слушающих от безделья и любопытства. Шелуха от семечек неожиданно и быстро стала покрывать улицы и неухоженные тротуары. В театрах, вчера еще дышавших французскими духами, потянуло махрой, солдатскими сапогами. Блестящие капельдинеры в старой, сияющей форме выметали груды окурков и шелухи. Погасли огни, роскошные витрины ослепли и смотрели бельмами фанерных и дощатых щитов, темные окна покрылись неживой грязью, распахнулись недавно еще торжественные парадные подъезды, зияя беззубыми провалами и чернотой выломанных каминов. Мелькнули первые женщины с окраин в красных платочках. Запах нечистот вырвался наружу вместе с крысами из взломанных и залитых водой подвалов. Жалкие старорежимные старухи потянулись к Сенной, опираясь на рукоятки зонтов: на Сенной, говорят, дают самые высокие цены. И меняют вещи на еду.

На трамвайных подножках повисли гроздьями невесть откуда взявшиеся беспризорники. Они появились на рынках, в пустых домах, за распахнутыми воротами небруанных скверов. Грязные, веселые, плачущие, завшивленные, они шарили по карманам, торговали, носились с газетами, спали прямо на улице и побирались, выставляя наружу ниточки рук и ног, съеденные голодом и покрытые язвами. Взвыли по дворам шарманки, зазвенели детские голоса, подтягивающие им, и мальчишки спешили собрать жалкую мелочь, завернутую в обрывки газет, которую им бросали сверху.

Город умирал, съеживался, впуская в свои великолепные кварталы новых «жильцов». Так теперь назывались те, кого власть переселяла в барские квартиры. Реже стали ходить в гости, голод сузил интересы до примитивных: раздобыть, купить, поменять... Появилось слово с таинственным смыслом: «достать». Его произносили с почтением. Обнаружились и люди, которые могли что-то «достать».

И город сдался, капитулировал, сломленный страхом, голодом, расстрелами, тифом. Кто-то успел бежать через финскую, эстонскую границу, уйти на последних кораблях к шведским берегам, но их счет шел на сотни и десятки... Десятки из трех миллионов населения столицы...

Надвигалась зима семнадцатого. Ранняя, холодная, бесснежная. Со злобными вьюгами, промерзшими подъездами, патрулями и голодом, голодом, голодом... Первая зима после переворота, о котором жители узнали из газет, пачкавших руки типографской

краской, из листовок — их швыряли прямо в толпу с грузовиков, из декретов, расклеенных на стенах поблекших и разом постаревших домов.

Пайка, поданная рукою власти, поставила город на колени.

И никакие вести о мирных переговорах в Брест-Литовске, об успехах на переговорах правительственных делегаций, о братаниях на русско-германском фронте, о сибирских дивизиях и свежих частях, способных опрокинуть немцев, никакие слухи о генерале Корнилове, готовом ради спасения Родины стать военным диктатором, о казачьих частях Краснова и Каледина уже не могли заставить город подняться с колен.

Город, сломленный голодом, рухнул и так, со склоненной головой, встречал новый, тысяча девятьсот восемнадцатый.

* * *

— Может быть, господа-товарищи барышень желают-с? — склонился к Микуличу ласковый банщик-татарин. — Мы из своих можем-с. Можем-с, по желанию-с, из благородных.

Помещение в Казачьих банях, где в свое время пировал Распутин, особой роскошью не отличалось. Но чистоту и порядок, несмотря на все революционные вихри, старые банщики держали твердо.

Старший банщик лично открыл несколько бутылок пива: зная, что Микулич, почетный гость, любит только темное. «И охлаждено в плепорцию, как вы любите!» Затейливые бутылки, похожие на многогранные пирамиды, покрылись легкой испариной.

— Пиво, заметьте-с, настоящий «Английский портер» от Дурдина. Завод, сами знаете-с, закрыт, но для своих...

— Я ихний портер, — Микулич, укутанный в мохнатое полотенце, был похож на актера, играющего римского патриция, — лю-люблю! — Он икнул. — Откуда берут, жульманы, — не признаются. Что от Дурдина — врут. Но бутылки — ихние, Дурдинские. И вкус — не отличишь! А ребрышки свиные делают — за уши не оттянешь. И поверх горчицы, не поверишь, медом, подлецы, мажут. Для вкуса!

— Из закусок что будете-с? Как всегда-с? — Татарин расплылся в улыбке. — Ребрышки свиные или бараньи на уголечках? Это-с, правда, минуток шесть-восемь подождать придется. А вот сосисочки наши, казачьи, с сыром и с беконом, тоже на уголечках, можем мигом-с. И ушки с сыром?

— Давай и ушки! — Микулич налил пиво в литровую жестяную кружку, закрыл глаза и медленно выпил. По тому, как двигался кадык на толстой, жилистой шее, было видно, что пьет он с удовольствием.

— Сегодня, Сеславинский, за твой счет гуляем, — Микулич поставил кружку на столик, поданный татаринном. — Деятельность твою в Угро толком не обмывали, а обмыть не грех. Вовремя соскочил ты из Чека! — Он увидел, что Сеславинский рассматривает кружку. — Особое, брат, удовольствие, портер из этой жестянки пить. С Петровских, говорят, времен правило идет. Англичане их привезли, — он повертел кружку, рассматривая гравированный английский текст. — Портер английский без такой посуды — ничто. Nihil!

* * *

Сеславинского с Микуличем свела зубная боль. Коренной зуб вдруг стал чувствовать горячее и холодное. Странно, за три года войны зубы ни разу не беспокоили. А тут — едва прибыл в Петроград — и на тебе!

Всезнающие тетушки Сеславинского немедленно отправили его к знаменитому Ивану Алексеевичу Пашутину, товарищу их старшего брата еще по Военно-Медицинской академии. Сейчас Иван Алексеевич всего лишь консультант в бывшей своей же клинике на Невском, но тетушки немедленно позвонят (телефонируют!)

ему, и он непременно примет племянника. В коридоре бывшей Пашутинской клиники он и повстречал Микулича. По правде говоря, в корпусе они практически не встречались. Микулич был тремя классами старше и к «мелкоте» не присматривался.

Из клиники «бывш. Пашутина» они вышли почти друзьями.

— Рад, рад, — Микулич держал Сеславинского под руку. — По нынешним временам встречаешь человека из нашего корпуса как родного! Давно ли с фронта, здоровье как?

Пока Сеславинский рассказывал, как после ранения отсиживался, отлеживался и отъедался в бывшем своем имении в Ярославской, они прошли почти весь Невский, перешли Полицейский мост и свернули на Большую Морскую.

— Рад, что планов у тебя нету! Нам люди с твоим опытом позарез нужны!

— А ты-то где, что я все по себя да про себя!

— Я? — Микулич обернулся, словно хотел проверить, не подслушивает ли кто. — Я в Чеке!

Только тут Сеславинский заметил, что Микулич в чекистской комиссарской кожанке и кожаной же фуражке. И сам как-то заматерел, возмужал, окреп. На фоне худосочных и бледноватых прохожих можно было бы даже сказать «размордел».

— Что, брат, испугался? — Микулич уловил секундную растерянность Сеславинского. — Не ты один пугаешься, — он ободряюще пожал Сеславинскому локоть. — Кто-то должен порядок в городе держать? Миллион людей! А после р-революционной (он прорычал) амнистии Временного правительства вся мразь, вся нечисть в столицу стекается! И местных бандитов со счетов не сбрасывай! Грабежи, кокаин, проституция — все пышным цветом расцвело. Не будем бороться — бандитизм и спекуляция любую революцию задушат! — Он раскурил папиросу на ходу. — Ты ведь, сколько помню, всегда был левых взглядов?

Откуда он мог знать, каких Сеславинский был взглядов, — неясно, они за все время в корпусе и перекинулись-то двумя-тремя фразами. Корнеты (старшие), к которым принадлежал тогда Микулич, со зверями (младшими) общались редко.

— Ты нам сейчас как нельзя кстати! Боевой офицер, Георгиевский кавалер...

— С чего ты взял, что я Георгиевский кавалер? — удивился Сеславинский.

— Да это я так, в шутку! — Они свернули на Гороховую и прошли какими-то дворами, подворотнями, сторонясь проезжающих мимо крытых грузовиков.

Микулич отворил неприметную дверь, поднялись на второй, прокуренный этаж. На лестничной площадке хохотали и хлопали друг друга по плечам и спинам несколько мужчин. Чекисты, судя по кожаным курткам. Они поздоровались с Микуличем и без любопытства скользнули взорами по его спутнику.

— Микулич, — остановил его один из парней, — в Одессе у Мары Исаковны спрашивают: «Что вы предпочитаете, Мара Исаковна, горячий чай или горячего мужчину?» — «Та мене усе равно, абы хорошо пропотеть!»

— Сам на месте? — Микулич под веселое ржанье шагнул в коридор с канцелярскими стульями, стоящими вдоль стен.

Одна из дверей была распахнута. В кабинете, заваленном картонными и ледериновыми папками с надписью «Дело №...», сидел за огромным столом красного дерева молодой человек с черным, вьющимся чубом, разговаривал по телефону и курил, стряхивая пепел в чугунную пепельницу, набитую окурками. Папироса из роскошной пачки «Добрый молодец» была засунута чугунному коню в зубы.

Молодой человек держал трубку на некотором расстоянии от уха и морщился. Разговор, судя по всему, не складывался. Он буркнул что-то, положил трубку и закатил глаза к потолку.

— Горький, — пояснил он, глядя на Микулича усталыми глазами. — Максим. Кого-то из ихних мы, говорит, забрали. Раз забрали, — он пожал плечами, — значит надо!

— Хочу представить соученика моего, Александра Николаевича Сеславинского, боевого командира. После ранения под Казанью лечился в госпитале, отдохнул чуток у родителей в деревне и сейчас — свободен. Хотел бы рекомендовать...

Молодой человек привстал из кресла и протянул вялую руку.

— Барановский! — Он глянул неожиданно быстрым взором, будто ожидая реакции на свою фамилию. — Биографию пусть напишет, — это уже Микуличу, — если подойдет, возьмешь в свой отдел. — И снова быстро взглянул на Сеславинского: — Как с нервами у тебя? Порядок? А то у нас здесь все какие-то нервные собрались. Вчера, слышал, — опять Микуличу, — латыш наш, Зикман, вошел в камеру и ну из винтаря палить! — Барановский усмехнулся. — Едва унять смогли! Нервы! — пояснил он Сеславинскому. — Наш контингент кого хочешь до Пряжки доведет.

— Ну и спирт, конечно, — хмыкнул Микулич.

— Пьют, пьют, как черти, — вздохнул Барановский. — Тоже ведь от нервов.

— Надо зайти к Урицкому, — Микулич повел Сеславинского по коридору в парадные помещения.

— Неужели в кабинете самого Трепова сидит? — Сеславинскому вспомнилось, как еще в начальных классах корпуса их водили на экскурсию в парадный кабинет петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова. Того самого, в которого стреляла революционерка Засулич.

— Нет, — засмеялся Микулич, — в том кабинете только Держинский заседать любил. Дворянская кровь разыграла. Шановне паньство! — не без яду шепнул Микулич.

Свернули в еще один коридор с электрическими плафонами и дорожкой и через секретаря с набриолиненной головой и модным косым пробором попали к Урицкому.

Тот оказался неожиданно низкорослым, с круглой спиной и бритым лицом.

— Рекомендуешь? — Он с прищуром снизу смотрел на могучего Микулича. — Тебя из Пажеского корпуса выгнали — это тебе в плюс. А друга твоего? Тоже выгнали?

— Я выпустился в Финляндский полк...

— О! — сказал Урицкий. — А у нас здесь работка нелегкая, это не в караулах у спален фрейлинских стоять!

— Боевой командир... — понизил голос Микулич, — под Казанью был ранен...

— Под Казанью? Там ведь Троцкий главкомом был?

— От окопа до главкома не дотянуться, — сказал Сеславинский. — Однажды видел его и слышал. На митинге.

— И как? — спросил Урицкий странноватым, скрипучим голосом. — Я лично, как бы Ленин умен ни был, — проговорил он, не слушая Сеславинского, — военный гений Троцкого ставлю на голову выше! На голову! — Начальник Чека повернулся к Микуличу: — А что Барановский по его поводу, — он ткнул пальцем в Сеславинского, — сказал? За? Одобрил? Ну, так оформляйте! — и сделал знак Микуличу. — Оставайтесь!

В секретарском предбаннике возле юнца с набриолиненным пробором Сеславинский чувствовал себя неловко. Дух был как в дамской парикмахерской. Сеславинский вышел в коридор, стараясь прогнать из памяти не к месту всплывающие подробности экскурсии к градоначальнику. Утреннее волнение — возьмут ли? Построение на плацу и строгое лицо старшего офицера — начальника курса. Сияющие, начищенные со всей ученической старательностью пуговицы, бляхи, ботинки. И четкий строй, единый шаг и единое дыхание на Невском. Глухие удары сотен подошв по деревянным торцам мостовой. Восхищенные взгляды дам. Офицеры, берущие под козырек, кареты и авто, пропускающие курсантов, и знаменитое, столько раз упоминавшееся офицерами-воспитателями чувство локтя. Когда ты в одном строю со всеми, когда вы — единый организм с четким, глухим шагом, общим дыханием и начальником курса в парадной форме впереди. А потом — строгое здание градоначальника, благоговейная тишина, вышколенные чиновники с неслышной на красных дорожках

походкой, лощенные офицеры, одобрительно посматривающие на курсантов — «пажей». И сам воздух, ощутимо, физически наполненный значительностью всего, что происходит в этом старинном здании. Тогда кадетов провели по тому самому коридору, в который сейчас вышел Сеславинский, в зал приемов, ослепивший светом, сверканием позолоты и высоких хрустальных торшеров, замерших рядом с камердинерами возле парадных дверей, из которых должен был выйти градоначальник.

— Это дело надо перекурить, — Микулич по-дружески похлопал Сеславинского по плечу. — Какая скотина, а? — он бросил на пол спичку, от которой прикуривал. — Видит, что я за тебя горой, так вместо пяти упаковок взял, скотина, десять!

— Каких упаковок? — не понял Сеславинский.

— Да кокаина! — оглянувшись, засмеялся Микулич. — Тут кому хочешь на ноздри внимательно взгляни — и все поймешь!

Они вышли на парадную лестницу, все еще с ковровой дорожкой, но не красной уже, а затоптанной до черноты и усеянной окурками. Микулич поздоровался с двумя крепкими, мордатými блондинами. Те в ответ на приветствие Микулича молча кивнули.

— Латыши, — доверительно склонился Микулич к Сеславинскому. — С фронта, сам знаешь, дезертировали, окопались в Питере. Красные банты понацепляли — все веселее в столице-то, при винтовках да бабах, чем в окопах вшей кормить. Вот их за особое рвение и взяли. Сначала в охрану правительства, потом — в Чеку, — и склонился еще ближе: — Звери! Некоторые по-русски — ни бельмеса, но люту-уют! — Он с дружеской улыбкой кивнул еще одному блондину. — Ладно, бывай, — Микулич протянул руку. — Завтра жду в девять, без опозданий, к кабинету Урицкого. Будем оформлять!

А в роскошном парадном вестибюле бывшей канцелярии петербургского градоначальника, через который проводил Сеславинского на выход Микулич, стояли два пулемета, тупорыло уставившись в золоченые настенные канделябры.

* * *

— Задремал? — полуголый Микулич хрустел зажаристыми сырными «ушками». — Закуска к черному пиву — дивная.

— Позвольте-с ребрышки подавать? — возник из-за высокой спинки деревянного дивана улыбчивый татарин.

— И пивка добавь! — Микулич уже заметно «поплыл». — А потом — барышень! — заговорщицки подмигнул Сеславинскому. — Попробуй парилочку! Сказка! — он поманил пальцем банщика, который появлялся из-за высокой спинки дивана всякий раз, стоило Микуличу повернуться в его сторону. — Парщика дай ему хорошего! Пусть в раю побывает!

Парная, и верно, была хороша. Сухой пар, в меру горячий, с легким запахом каких-то полевых трав и густым, резковатым настоем березовых веников.

— Желаете погорячее? — парщик был голым по пояс, в кожаном фартуке, в холщовых портках до колен и двух войлочных тубетейках на голове.

И едва Сеславинский кивнул, он черпаком на длинной ручке швырнул в черный каменный зев полчерпака воды. Зев замер, словно подавившись, но через мгновение загудел и со звоном выдохнул едва видимый раскаленный пар. Сеславинский лишь почувствовал, как горячее облако охватывает его, заставляя все тело покрыться мурашками.

— Наверх залазь, наверх! — с ударением на первом слоге прокричал парщик, чувствуя себя хозяином.

Наверху было жарко невыносимо. Пришлось пригнуться. А парщик швырнул еще воды в зев печи, встряхнул два веника и мигом взлетел на полок.

— Ложись! — Он расстелил невесть откуда взявшееся полотенце, толкнул гостя

на лавку и быстрыми тычками-ударами заставил принять нужное положение. Одну из тубетеек он надел Сеславинскому на голову и взмахнул вениками. Только тут Сеславинский понял, что такое настоящий банщик. Веники легко подгоняли сухой жар, трепеща по спине, ногам, отдельно по плечам. Снова, уже сильнее, гнали жар и сильнее шлепали по телу, которое отзывалось каким-то внутренним стоном. Оно словно освобождалось от гнусной памяти окопов, запаха сырой и мерзлой земли, крови и гниющего под бинтами человеческого тела, дерьма, в которое вляпываешься на каждом шагу, вшей, заставляющих неудержимо чесаться, вшей, коркой покрывавших трупы сброшенных в воронку солдат, еще час назад бывших солдатами твоего взвода.

Парщик, хлюпая босыми ногами, скатился вниз, поддал еще пару с запахом не то календулы, не то тмина и снова оказался наверху. Сеславинский, почувствовав сильный, страшный жар, попробовал было сопротивляться, но парщик ловко притиснул его коленом к скамье и резко, несколькими взмахами, заставил сломаться, смириться. Один из веников шлепнулся на поясницу, прожаривая тело вглубь, второй — парщик встал коленом на поясницу несчастного — впечатался между лопаток, чуть выше, и жег, жег, прижимаемый крепкими руками мучителя. Через секунды жар ослаб, парщик соскочил на полок, снова взмахнул вениками, но они уже несли не жар, а спасительную влагу, стряхивая ее на красное, как бы припухшее тело. К раненой ноге парщик отнесся наособь, по-своему. После двух-трех резких взмахов прижал накрепко веники к изувеченному бедру, и Сеславинский едва не взвыл от жара и боли, но веники с какой-то женской нежностью скользнули по трем рубцам, рассекавшим ногу, и стали массировать, растирать разорванное и сшитое кое-как, наспех, тело, растягивая и давая блаженное успокоение нервам, жилам, связкам, всему тому живому мясу, которое собрал, слепил и зашил, очистив от грязи, полупьяный от бессонницы и спирта хирург в палатке, украшенной громадным красным крестом. Чтобы немецкие авиаторы, недавно прибывшие в австрийскую армию, могли сверху и издали рассмотреть полевой лазарет. Авиаторы знаки видели, однако бомбы бросали, хотя и неточно. Но промахивались, скорее по неумению, чем по нежеланию добить раненых.

Следующая порция воды, следующие запахи: луг, сад, весенний лес, терпкий дух дубовой осенней прели, снова липа и молодые-молодые елки со сросшимися с травой лапами, под которыми он мальчишкой собирал мерные, чуть более пятиалтынного, рыжики.

Парщик сменил веники на еловые, их уколы тело уже не хотело чувствовать, потом были дубовые, прошлого сезона, листья которых расправились в кипятке и шлепали по спине и бокам, как детские ладошки.

Сеславинский поначалу почти не почувствовал, как парщик ловко вывернул ему руку, затем вторую, и вскрикнул, только когда тот, оседлав распластанное тело, стал проходиться вдоль позвоночника локтями и коленями. Но сил сопротивляться уже не было. Хотя бы потому, что боль нарастала и отступала волнами, оставляя сладкую легкость в суставах.

— Охлаждаться будем? — едва расслышал Сеславинский и кивнул.

Парщик заботливо, как тяжело раненного, поднял его и помог на ватных ногах спуститься с полка в блаженную прохладу.

— А охлаждаться? — удивился парщик, увидев, что гость собирается присесть. И показал на громадный чан, к которому вела лесенка. — Сюда, сюда пожалуйста! — Парщик, держа за руку, помог подняться к краю чана и чуть подтолкнул, не дав задержаться на приступочке.

Сеславинский ахнул в ледяную воду (натуральный лед плавал по поверхности), поначалу решив, что его бросили в кипяток. Но крепкие руки парщика трижды окунули его с головой и только после этого позволили вылезти наружу. Наверх, на спасительный полок, он бежал уже сам. Подгоняемый парщиком, который успел подбросить в жерло печи еще один черпак.

После второй полной обработки Сеславинский и парщик присели на одной из средних ступенек полка, связанные общим нелегким делом.

— В первый раз вы у нас, — сказал парщик. — Навпервой, может, и достанет. Подремлете с полчасика, силы вернуться, а там — как Бог даст!

Они вышли из парной, Сеславинского завернули в тяжелую махровую простыню и, поддерживая под локоток, отвели в «кабинет» с водой, ледяным квасом и широкой лежанкой.

Едва улегшись, Сеславинский провалился в небытие, из которого вышел, услышав, как маменька зовет: «Сашенька, Алекса-андр!» Ему казалось, что он лежит на спине среди разнотравья на широком заливном лугу и смотрит в небо. Оно бесконечно далеко, бледно-голубое, с легкими прочерками облаков. Если бы не эти белые облачка, небо можно было бы принять за чисто белое. Эта высь, эта гладь, благодать и тишина так манили, что казалось, будто он потерял вес, стал легким, как пушинка из маменькиной подушки. И как пушинка, чуть раскачиваясь от теплого и нежного духа, исходящего от земли, травы, раскачиваясь от звона кузнечиков, наперегонки стрекочущих что-то, он сначала чуть-чуть, потом все более и более стал отделяться от земли, подниматься медленно к высокому чистому небу, слыша торжественный и удаляющийся стрекот.

«Сашенька-а, Алекса-андр!» — звучал зовущий маменькин голос. Сеславинский открыл глаза. Его осторожно, нежно тряс за плечо банщик-татарин.

— Беда, барин, беда приключилась, — он поднял Сеславинского и, поддерживая сзади, вывел в зал, где они прежде сидели с Микуличем.

Микулич сидел на деревянном диване, завернутый в простыню. Голова была откинута. Челюсть отвисла. Если бы не цвет лица, можно было бы принять его за глубоко спящего человека. Сеславинский сразу понял — Микулич мертв. А подойдя ближе, увидел: в его горле морской кортик, всаженный по рукоять. И рядом бьется в истерике женщина в черной шляпке-таблетке с вуалью, легкой накидке и нитяных перчатках.

— Она? — почему-то шепотом спросил Сеславинский.

— Да, — кивнул татарин.

— Женщину убрать! — Сеславинский почувствовал себя, как раньше, командиром разведки.

— Кровь сейчас сотрем, следов не будет, — зашептал ему в ухо татарин. — Тельце (почему-то он назвал труп «тельцем»), тельце в Семеновский Введенский храм, что против Царскосельского вокзала, по-тихому доставим, дальше уж сами решайте, можем по-тихому и похоронить.

— Да вы что, он же из Чеки! — Сеславинский, глядя как уводят рыдающую женщину, подумал о том, что татарин хотел «повесить» убийство на него. — Откуда она? — женщина не была похожа на проститутку.

— Новенькая-с, не наша-с, из благородных будет, как и просили... — Банщик быстро взглянул на Микулича, как бы намекая, что тот и сам отчасти виноват. Из благородных, видишь ли, захотелось. А с ними, благородными, всегда хлопоты.

— Кто привел?

— Из наших один, из татар. Дворником служит. Домовладение бывшее Левидовых. Недалеко. В двух шагах. На уголочке Гороховой и нашего, Казачьего переулка.

— Дворнику своему скажи, адрес ее и имя — мне! А дальше, — чтоб забыл! Понял?

— Так точно! — вдруг по-военному ответил татарин.

— Что возникнет, — Сеславинский смотрел прямо в глаза старому банщику. — Что возникнет, — повторил он, — виноват будет, не виноват... я его в царской водке растворю! И тебя с ним — на пару!

Сеславинский и сам не знал, почему обещал растворить дворника в царской

водке. Вряд ли старик-татарин знал о таком «напитке». Но обещание принял к сведению.

Татарин покосился на Сеславинского:

— Надо бы, господин, на расходы... Расходы большие будут...

Вот когда пригодился особый, «командирский» голос и интонация, которым так долго учил подопечных командир курса граф Кричевский.

— Одно слово, — Сеславинский проговорил это грозным свистящим шепотом (граф Кричевский гордился бы выпускником!), — одно слово, и расходы будут еще большими! Во сто крат! — и, сбросив простыню, зашагал, чуть оседа на раненую ногу, к загородке, где они оставили одежду.

Оттуда уже улыбался ему и приветливо кивал молодой банщик.

Глава 2

Сеславинский, конечно же, сразу вспомнил Микулича, еще при их первой встрече, на Невском. Изгнание «корнета»-старшекурсника из Пажеского корпуса было делом из ряда вон выходящим. И разбирал его сам великий князь Николай Николаевич.

В Красносельских лагерях, где перед выпуском последние дни в корпусе проводили корнеты, к Микуличу подошел один из «зверей», польский граф малыш Чарторыжский. По прозвищу Графинчик. И по простоте графской души поинтересовался, к польской ли ветви Микуличей, с которой Графинчик хорошо знаком, относится уважаемый корнет, или к австрийской. Принадлежать к австрийской в момент патриотического подъема было как минимум не почетно. Но ходили среди корнетов упорные слухи, особо разошедшиеся по корпусу после скандала, что Микулич вообще не из дворян: якобы, будучи однофамильцем, а то и бывшим крепостным Микуличей, он выправил фальшивые документы, убавив год и приписав себя к «польскому паньству».

«Звереныш» Чарторыжский об этом не знал и наивно решил, что нашел хорошую тему для разговора со старшим, «корнетом». Однако Микулич неожиданно вспылил, грязно выругался и плюнул в лицо Графинчику. Тот, несмотря на природную мелкость, вообще-то не свойственную Чарторыжским, бросился на обидчика и успел не только ударить врага, но и вцепиться ему зубами в ухо. На крики ошалевшего от боли Микулича прибежал наряд во главе с дежурным офицером, скандал вышел наружу и получил развитие. Впервые в истории Пажеского корпуса один из «пажей» плюнул в лицо другому, и, кроме того, Графинчик, не стерпев оскорбления, вызвал Микулича на дуэль. Дуэль, разумеется, не допустили, Микулича с позором выперли, списав по четвертому разряду унтером в армейский полк, а скандал летописцы корпуса занесли в анналы.

Шагая по Казачьему переулку, Сеславинский припоминал подробности этой истории и вдруг лопатками почувствовал опасность. Словно кто-то буровил его взглядом сзади. Это странное и таинственное чувство не раз выручало его в разведке. И сейчас, ходко шагая по пустому Казачьему переулку, он спиной ощутил этот фронтовой холодок. Сеславинский остановился, прикуривая, и прислушался к шагам, гулко отдававшимся в ночном переулке. Шаги сзади — а он слышал, слышал их! — стихли. Наружка! Меня ведут! Сеславинский свернул за угол, перебежал на другую сторону переулка и нырнул во двор. Слева — парадная. Ни света, ни дворника с начала переворота, конечно, нет. Отлично! Можно даже не прятаться за тяжелую резную дверь. Первое, что сделает агент, потеряв его, — забежит во двор. Второе — заглянет в ближайшую парадную. В подворотне прогремели шаги, замерли возле парадной и с едва слышным шарканьем стали приближаться. Сеславинский спрятал револьвер, почувствовал по манере — новичок. Агент приотворил дверь, сделал шаг вперед,

пытаясь хоть что-то рассмотреть в темноте, и был мгновенно скручен Сеславинским. Вот теперь револьвер понадобился. Сеславинский без церемоний сунул дуло немецкого «Люгера» в чесночную пасть агента.

— Тихо, не рыпайся! — Агент куклой повис у него на руках. — Кто руководит операцией? Не рыпайся! Никто не узнает. Быстро! Кто руководит?

Агент замычал что-то.

— Кто? Не понял? Бокий, сам?! — Агент только хрипел и кивал изо всех сил. — Микулича свои грохнули? Быстро говори! Свои?! — тот кивал утвердительно. — Татарин — наш агент? Да?! — Для убедительности пришлось засунуть ствол револьвера поглубже. — Да?! — и получив утвердительный кивок, Сеславинский отпустил агента. — Скажешь, что потерял меня! Все! — он рывком поднял кукольно-вялое тело. В отблеске луны стало видно: мальчишка. Гимназического вида. Попадался в столовой Чека. — Повтори, что должен сказать!

— Что я вас потерял...

— Все! Иди! — и вытолкнул его из парадной.

Сам же через соседний двор вышел в переулок и бегом вернулся в баню.

Поднявшись наверх, Сеславинский чуть приоткрыл дверь в «класс». Татары сидели за низеньким столиком, уставленным пирамидками чак-чака, и пили чай, как работники, хорошо выполнившие свое дело. За их спинами виден был труп Микулича. Он сидел в той же позе, даже кортик из шеи не был вынут. Видимо, вызвали по телефону кого-то из Чека и теперь ждали. Попивая чай.

Сеславинский деловитой походкой человека, участвующего в деле, вошел в «класс» и пальцем поманил старого татарина. Тот резво подбежал, чуть кланяясь на ходу.

— Женщина где?

— Как договаривались, отпустили. Она не наша!

Сеславинский, глядя в узкие, немигающие глаза татарина, понял вдруг, что это он и убил Микулича. Никакая женщина не могла бы так ловко прирезать здорового мужика.

— В Чеку звонили уже? — прищурился Сеславинский.

— Точно так! — опять по-военному отозвался старик. — Мигом должны приехать!

— Ладно, бывай! — по-свойски сказал Сеславинский и вышел, не взглянув на Микулича.

Теперь, перед тем, как идти на Гороховую, надо было понять, кто и зачем убил Микулича: *Qui prodest, qui prodest*, — кому это выгодно? Из-за Урицкого? Не зря меня вызвали в морг как эксперта по убийству Урицкого. Сеславинский обнаружил в морге, что затылка у Моисея Соломоновича просто не было: его разнесла пуля, вошедшая между глаз. А никакая пуля из револьвера, даже знаменитая «дум-дум», разворачивающаяся в розанчик при попадании в тело, таких повреждений крепкому черепу председателя Петроградской Чека исполнить не могла. Здесь пахло выстрелом из винтовки с ударной разрывной пулей. Скорее всего немецкой, Маузер *Gewehr 98/17*, калибра 7,9. Это было видно даже непрофессионалу. А уж Сеславинскому — тем более: в снайперском деле он был дока еще со времен Корпуса. И Козырева, правую руку Бокия, который, посмотрев на страшные раны, записал в протоколе: «...входное отверстие предположительно от оружия системы Браунинг, выходное соответствует входному...», он не понял. Увидев, как Сеславинский задумался, подписывать ли протокол, Козырев по-свойски сморщился и шепнул: «Пустое, формальность!». «Зачем вы привлекли меня как эксперта? Своих что ли нет?» — Сеславинский тоже почему-то стал говорить шепотом. «Эксперт должен быть со стороны, — наклонился к Сеславинскому Козырев, — а вас рекомендовал Микулич!» Сеславинский все еще смотрел на корявую скоропись: «входное отверстие... системы Браунинг... выходное соответствует входному...» Здесь все, все вранье... «Пустое, формальность! — повторил,

как заклинание, Козырев. — Это распоряжение оттуда...» — он поднял глаза вверх. И, заметив очевидную тупость Сеславинского, добавил едва слышно, Сеславинский скорее разобрал это по губам: «Бокий, Глеб Иванович!»

И вдруг, как часто бывало с ним на фронте в минуты опасности, все неожиданно выстроилось и просветлилось в голове: Москва — вот в чем дело! 30 августа! Грохнули не только Урицкого. Было еще и покушение на Ленина! Вот откуда вся таинственность Микулича и его «подпольщина», как сам он называл непривычную для него осторожность. Появился в Питере, соблюдая конспирацию, по-чекистски «замазывая» следы. Вызвал на встречу чужим звонком (говорила в трубку посторонняя женщина) и даже в бане, Сеславинский отметил это, не расставался с револьвером, замаскировав его махровой простыней. Неужели и московское покушение — их рук дело? Он вспомнил обращение Свердлова: «Всем, всем, всем... Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина. По выходе с митинга тов. Ленин был ранен. Двое стрелявших задержаны. Их личности выясняются. Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, наймитов англичан и французов». Значит, Микулич зазвал меня в баню, чтобы убрать как свидетеля их питерских дел, а убрали его! По ошибке? Или, в очередной раз, легкий взмах крыла Провидения?

Сеславинский резко свернул с Гороховой и рванул проходными дворами вдоль Апраксина и Мучного переулков, стараясь держаться возле стен. Не хватало, чтобы пристрелили или прирезали здесь, свои же. Да какие они свои! Одно дело — погибнуть на фронте. Ужас, но ужас привычный. Один для всех. И другое — здесь, как Микулич. Сидя рядом с банщиками, жующими чак-чак, в махровой простыне, как в тоге римского патриция. И с кортиком в горле.

Глава 3

Осень 1917-го была в Петрограде голодной (осьмушка хлеба — подарок!), холодной, мокрой, со снежными зарядами. Но зато как стало хорошо жить всему семейству Сеславинских, едва только Сашенька определился со службой! Постоянный паек, обеды из служебной столовой, а не белесая пшенная «баланда», выдаваемая в общественной по талонам, и, наконец, — штаны! Сеславинский смог поменять продраные и штопаные офицерские бриджи на вполне приличные штаны. Хотя склад, где он получал эти брюки, произвел угнетающее впечатление: гимнастический зал старинной гимназии на Казанской был завален мешками с конфискованной одеждой. Между ними, отделенные барьером, бродили какие-то люди, которым было поручено выдавать кому брюки, кому валенки с калошами, кому пальто. И выдающие, и получающие были люди с разных планет: одни имели право выдать тебе что-то, другие обязаны были выстаивать очередь, ожидая, когда те, первые, перебросят через барьер то, что было прописано в ордере. Выданное обратно уже не принималось. Даже если не подходило получавшему вовсе. За три человека до Сеславинского благообразному старику с профессорской бородкой и прононсом парижанина выдали вместо мужского — женское пальто. Старик попытался что-то объяснить выдававшему, но тот спокойно забрал пальто обратно, швырнул его в кучу и посмотрел на следующего в очереди так, словно старика и не было. Старик забормотал что-то, но его оттерли от барьера.

— Стоять! — неожиданно для себя рявкнул Сеславинский своим «командирским» голосом. — Выдать немедленно гражданину все, что положено! — Сеславинский чувствовал в голове звенящую легкость, как во время первых кавалерийских атак. Браунинг, сам собою оказавшийся в руке, определил скорость, с которой выдававший

подбежал к другому узлу, вытащил зимнее пальто с каракулевым воротником и бегом же принес старику.

Впрочем, на выходе к Сеславинскому подошли двое молодых людей с задумчивыми лицами: «Тихо! Пройдемте!» — и подтолкнули к боковой двери.

Мандат Чека подействовал магнетически. Хотя и не на всех. Командир охраны склада, сидевший в раздевалке «для дам», скривился на мандат и сказал с резким прибалтийским акцентом: «Здесь, товарищ, порядок определяем мы. И никому размахивать револьвером не позволим. Времена анархии прошли, если кто-то до сих пор этого не понял!»

А в вестибюле бывшей гимназии Сеславинского дожидался старик, успевший уже натянуть на себя драповое (так он аттестовал его) пальто и даже каракулевою шапочку-пирожок, обнаруженную в кармане.

— Искренне вам благодарен, — кивал старик, — искренне. Знаете ли, мы с супругой ни черта не смыслим в нынешней жизни. Сначала нас ограбили дочиста, а теперь выдают отнятое у кого-то по ордерам! Абсолютный бред! Кстати, почему «ордер»? Сколько я понимаю, ордер по латыни — это... Простите, не представился. Иваницкий, Павел Герасимович. Историк. Я, знаете ли, полжизни в этой вот самой гимназии преподавал историю, латынь, греческий... И в голову не могло прийти, что буду сюда ходить с неким «ордером» за пальто!

Тетушкам Сеславинский почему-то сказал, что нанялся на работу в милицию. В сыскной отдел.

Наталья Францевна оторвалась от пасьянса:

— В сыскной полиции?

— Зизи, вы помните Сергея Гавриловича Филиппова? Он, говорят, влюбился в гимназистку и хотел ее похитить?

— Но у нее же был жених, Натали!

— Да, там была какая-то история, чуть ли не дуэль. Но я не об этом. Представьте, старший брат этого шалопаю был очень приличный человек. Действительный статский советник. И возглавлял Петроградский сыск. Кажется, его звали Владимир Гаврилович. Да-да, — она снова вернулась к картам. — Именно Владимир, Владимир Гаврилович Филиппов.

— Но мне кажется, — Зинаида Францевна любила оставить за собой последнее слово, — уже после него был Аркадий Кирпичников. Кажется, он учился с одним из Бергов. Но тот пошел в науку, а Аркадий даже не в юриспруденцию, а прямо в сыск!

Глава 4

На совещание к Урицкому идти никто не хотел. Чекисты, зная болтливость своего шефа, толпились на узкой лестнице, шедшей со двора от Гороховой, курили и травили анекдоты. Для Урицкого самым страшным грехом был «грех засыпания» на его совещаниях. Этого он не прощал никому. И сейчас хохочущие и балагурящие чекисты тянули время. Тем более что повод для совещания, как донесла разведка, был чепуховый: кто-то из красногвардейцев выстрелил в протоиерея. И попал. Что особенно веселило чекистов: красногвардеец — и попал! Да еще прямо в рот кричащему попику. Это было символично и смешно. А распоясавшиеся попы во главе с митрополитом Вениамином и протоиереем Философом Орнатским, настоятелем Казанского собора, устроили крестный ход от Лавры по Невскому до самого Казанского собора. С особым толковищем на площади перед ним.

Оттягивать дольше было нельзя — за курильщиками на лестницу явился адъютант Урицкого, казавшийся со своей кадетской выучкой, бритой синевою лица и набриолиненным пробором попавшим в это веселое сборище случайно.

Пока рассаживались, Барановский, заместитель Урицкого, раздал размноженное на гектографе воззвание патриарха Тихона. Чекисты читали его, пересмеиваясь, или просто прятали в карман.

— Пока Моисей Соломонович задерживается, — начал Барановский, косясь на мрачного, желтолицего Бокия, — есть предложение начать, товарищи. Вы не против, Глеб Иванович? — Барановский уважал и поддерживал субординацию.

Бокий, даже не покосившись в его сторону, молча моргнул.

— Для короткого сообщения слово предоставляется товарищу Кобзарю. Хочу сделать только одно вводное замечание. Это для тех, — посуровел Барановский, — кто пришел на совещание похихикать. Положение дел в той области, о которой пойдет речь, о борьбе с церковниками, очень серьезно. Настолько серьезно, что ЦК партии и ВЦИК требуют обратить на работу с церковниками особое внимание, — он кивнул Кобзарю. — Давай!

— Коротко давай, — крикнули от двери.

— Коротко! — начал Кобзарь. — 14 января по поручению комиссара по делам призрения товарищ Коллонтай в Александро-Невскую Лавру прибыл отряд красногвардейцев...

— Матросов! — поправил кто-то из угла.

— Красногвардейцев и матросов, — кивнул Кобзарь, — чтобы, согласно Декрету, занять митрополичьи покои и разместить там приют для детей рабочих Московско-Нарвской заставы...

— Да всем известно, как их выставили! — шутники все еще никак не могли успокоиться.

— Еще раз перебьете докладчика, — поднял голову Барановский, — и придется совещание вести мне. А нарушители будут дожидаться меня за дверью. Для получения наряда вне очереди.

— После переговоров со встретившим команду священником представители комиссара Иловайского попытались пройти в митрополичьи покои. Однако собравшаяся на набатный колокол толпа оттеснила их.

— Там одни бабы были! — пояснил кто-то из зала.

— Бабы не бабы, — продолжил Кобзарь, — а пришлось вызывать из Смольного подмогу. Прибыли матросы. На грузовике с пулеметом. Раз-другой резанули повыше голов, по колокольне. Но в митрополичьих покоях, куда команда с трудом, прямо скажем, пробилась, отряд был встречен священником, как позднее выяснилось, протоиереем Петром Скипетровым. Он принялся всячески поносить и оскорблять людей, выполняющих волю комиссара по делам призрения товарищ Коллонтай. У кого-то из команды не выдержали нервы от этих оскорблений, и он выстрелил. И попал в священника.

— Прямо в рот! — засмеялись в зале.

— Да, именно в рот, — подтвердил Кобзарь. — Отчего данный священник скончался.

— Волей Божией помре! — опять хохотнули в зале.

— Можно и так, — поправил очки Кобзарь. — Но из-за этого несчастного выстрела поднялась целая буча.

Бокий, смежив веки — со стороны казалось, что он дремлет, — сидел за столом, утвердив на столешнице локти и упершись подбородком в ладони. Смуглолицый, с темными обводами вокруг глаз, он был похож на таинственную больную птицу. Но он не подремывал, а напротив, внимательно наблюдал за залом, привычно и незаметно анализируя каждого. Странная это была компания: матросы, все еще не желающие скинуть бушлаты и бескозырки, гимназисты, пребывающие в возбуждении, будто им удалось сбежать с занятий и не попасться инспектору гимназии, какие-то мятые жизнью личности, — опытный глаз Бокия легко определил в них бывших платных

агентов охраны, разнокалиберный люд со стертymi, смазанными лицами и редкими, сразу приметными фигурами бывших офицеров и интеллигентов.

Что их привело сюда, в Чека? Бокий прекрасно знал прежнюю, старую систему правопорядка, основанную на служебном рвении, на особом как бы противостоянии: общество к жандармам и тайным службам относилось с легким пренебрежением и даже презрением. В ответ и сексоты, и филеры, и жандармские чины служили с особым усердием, доказывая нужность и высокую значимость всех своих видимых и невидимых дел. И наслаждались (слаб человек!) доступом к пружинкам человеческих страстишек и пороков, возможностью нажать когда-нибудь на эти пружинки, увидеть порядочного, уважаемого в обществе человека растерянным, потерявшимся от выставленных неожиданно на всеобщее обозрение его тайных и мерзких слабостей.

А эти? Этих что привело? Что объединяет? Кроме желания властвовать? Все или почти все — из провинции, из дальних губерний, всплыли там и прибились к власти. А власть может быть только здесь, в столице. Почему самые светлые революционные идеи, едва начав реализовываться, тут же превращаются в полную свою противоположность и притягивают к себе все отребье, таящееся на дне невзбаламученного общества?

Из двери, ведущей во внутренние помещения, быстрым и решительным шагом вышел Урицкий, проговорив на ходу:

— Можно не вставать! — хотя вставать никто и не собирался. Исключая, разве, Барановского, сидевшего на председательском месте.

— Я перебыю докладчика, — Урицкий не стал садиться на место, уступленное ему Барановским. — Я знаю суть проблемы, слышал, что говорил докладчик. Что это за беззубые разговоры? Какой-то церковник смеет противостоять указаниям комиссара? То бишь указаниям государства, всего трудового народа? И выступает от имени этого якобы народа, одурманенного церковными проповедями? Мало этого, они организуют не только похороны крикуна-священника на своем кладбище в Лавре, но и целые крестные ходы. Мне доложили, что крестные ходы шли к Лавре от Стеклянного завода, от Обуховского, с Охты, от Московско-Нарвской заставы. И от Лавры, это я уже видел сам, перекрыв движение, прошагали по Невскому до самого Казанского собора. С иконами, хоругвями, с лозунгами, позорящими Советскую власть. Я хотел бы узнать, — Урицкий «по-ленински» заложил руку в карман жилетки, — хотел бы узнать, где были наши доблестные чекисты? Может быть, товарищ Барановский доложит нам? Или Кобзарь? Нет, они не доложат, потому что ни одного чекиста на месте этой чудовищной вакханалии и позора для Советов — не было! Я вынужден сейчас буду поднимать буквально с насиженных мест начальников подразделений и прямо, в упор, что называется глаза в глаза спрашивать: а где были в это время вы и ваши сотрудники, дорогой товарищ?

Сотрудники, привыкшие к выступлениям Урицкого, поудобнее расположились в деревянных креслах, понимая, что меньше часа его выступление не продлится. Однако они ошиблись. Урицкий выкрикнул еще несколько фраз, покосился на хлыща-адъютанта, который что-то шепнул ему на ухо, достал из жилетного кармана часы и щелчком отворил крышку. В тишине зала послышалась, как на музыкальной шкатулке, исполняемая мелодия «Коль славен наш Господь в Сионе».

— Вызывают в Смольный, — Урицкий зашелкнул брегет, — на прощание скажу несколько слов. Для тех особенно, кто еще не осознал всю серьезность положения. Вам, я вижу, уже раздали гнусное послание патриарха Тихона. Так вот это самое послание было размножено и распространено по всем Петроградским церковным... — он вдруг запнулся.

— Приходам, — подсказал Козырев.

— Да, приходам! — Урицкий победно блеснул стеклами пенсне. — В тот же день,

когда это послание было передано по телеграфу в редакцию одной из питерских газет! И сделал это никто иной, как настоятель Казанского собора...

— Философ Орнатский! — снова подсказал Кобзарь.

— Это его что, зовут так — Философ? — удивленно спросил Урицкий и, не дожидаясь ответа: — Так вот этот самый Философ, который, кстати, приходил в наш Петросовет и умолял оградить его от каких-то «экспроприаций», распространил подлое и гнусное послание и, мало того, собрался, как донес нам агент, строить под Казанским собором подземный храм, в котором собирается «увековечить», видите ли, «невинно убиенных»! А мы, я имею в виду и себя, но прежде всего Глеба Ивановича Бокия, который убедил Бонч-Бруевича не предпринимать никаких мер по пресечению этого... — Урицкий махнул рукой, подыскивая слово, — этого черносотенного шестивия... Мы не просто бездействовали, но раздавали патрулям памятки, чтобы они не препятствовали, не противодействовали силой... Движение транспорта было остановлено!

— По нашей информации в крестных ходах, — негромко сказал в паузе Бокий, — участвовало от двухсот тысяч до полумиллиона верующих.

— Безоружных верующих, — погрозил кулаком Урицкий. — Безоружных! А я что-то безоружных патрулей и разъездов не встречал! — он замолчал, словно ожидая возражений. — Продолжайте! — и снова растворился во внутренних покоях бывшей квартиры градоначальника.

— Товарищи, я коротко! — Кобзарь попытался урезонить молодежь. — Дайте же закончить!

— Барановский, а что это у вас за кабак на совещании? — Бокий чуть повернулся к Барановскому и проговорил это совсем тихо, но зал сразу, будто услышав команду, затих.

— Коротко! — воспользовался паузой Кобзарь. — Есть мнение создать специальный подотдел в нашей Чеке по работе, а точнее, по борьбе с религиозными организациями. И возглавить этот подотдел на первом, так сказать, организационном этапе поручено мне. Всё у меня!

— Кстати, — Бокий остановил Кобзаря в дверях, когда они выходили после совещания. — Дайте-ка мне адресочек этого вашего церковного агента. Он мне понравился. У него хороший стиль.

Глава 5

Исаак Моисеевич Бакман шел домой пешком. Не то чтобы у него не было денег на извозчика, по деньгам он мог бы разъезжать по всем своим делам на моторе, но сегодня он шел домой пешком. Потому что именно сегодня идти домой особенно не хотелось. Даже обед в еврейском ресторанчике на Разъезжей у старого знакомого Шлёмы Рубинчика не исправил настроения. И не в еде дело, еда, как всегда у Шлёмы, была отменная. Конечно, на вкус Исаака Моисеевича в форшмаке могло бы быть побольше селедки и поменьше булки. Так он и сказал Шлёме, когда тот высунулся с вопросом — а как тебе форшмак? Что ты высовываешься с вопросом про форшмак, когда у гостя есть о чем подумать? Это современная молодежь! Его папа, Борух Рубинчик, дай ему Бог устроиться в Америке так, как он устраивался везде, никогда бы не полез спрашивать гостя про форшмак, когда тот думает о крупном. Да, представьте, можно размышлять о большом деле, поглядывая, как плывет между столиков подавальщица Роза. Конечно, еще лучше, когда с кухни выглянет ее младшая сестрица, Шейла. У этого Шлёмы губа не дура. Шейлу он не зря называет шельмой. Видно, есть за что. С другой стороны, а как не быть шельмой, когда у тебя такая задница? И титьки прыгают, будто их кто-то подбрасывает? Ясно, кто их

подбрасывает и колыхает, и волнуется, и заставляет до соблазнительной половины показываться из форменного платьица. Ясно, что бес. Но бес — бесом, форшмак — форшмаком, а дело, тем более крупное, — делом. И дело надо обдумать. В старые времена (Боже, Боже, какие же это старые, это буквально вчера было, а уже старые!), так вот, в старые времена было с кем посоветоваться. Где теперь все эти головастые евреи? Они все там, где надо, при своих деньгах. Потому что умные евреи ни в какую еврейскую революцию не поверили, хоть их и убеждали всякие бундовские посланцы, что революция освободит евреев. Но умные знали: евреев освободят только их деньги. Это так же просто, как то, что в хороший форшмак надо класть хорошую селедку. А не то, что кладет туда этот Шлёма Рубинчик, думая, что если ты смотришь на задницу Шейлы, так ты уже ничего не соображаешь.

А посоветоваться с умным евреем было о чем. У Исаака Моисеевича было свое дело, свой кооператив. Конечно, большое спасибо большевикам, с этими социально близкими они попали в самую точку. Еще если бы фининспектором не сделали бы Изю Шлёнского, который все напрашивался в родственники (избави Бог от таких родственничков!), а как стал фининспектором, задрал нос так, будто жилетку ему сшили из Сарриной юбки! Другие хоть берут по-человечески, а Изя, не тем будь помянут, берет по-родственному, чуть не вдвое. Говорит, что у него двое детей. Так я ему детей не заказывал, почему я должен платить? А если он на этом не остановится? Конечно, грех жаловаться, кооператив кормит. Потому что Исаак Моисеевич — это вам не просто «керосинки чинить, кастрюли лудить, самовары паять». У Исаака Моисеевича контора экспорт-импорт, если вы ничего не имеете против. Кому надо, тот знает, другие обойдутся — у Исаака Моисеевича троюродный племянник осел в Риге. Послушался своего ребе, тот сказал: «Мойше, что тебе делать в столичном городе Петрограде с твоим кривым носом? Не думай, что тебя там ждут. Умный еврей никогда не живет на виду. Умный живет на окраине. В большой империи всегда найдется хорошая окраина для еврея!» И таки нашлась. Мойше приехал в Ригу, удачно женился и вот уже несколько лет поставляет в Петроград кильку, копченую салаку, невкусные латышские сласти, разноцветные мармеладки и еще кое-что, о чем в приличном обществе не говорят, но все этим пользуются. Это совсем не то, о чем вы подумали, это всего лишь презервативы. А что же вы хотели? Революции — революциями, а жизнь идет дальше, можно сказать — пока не слышит Чека, — жизнь идет, невзирая на революции.

Так вот, умный Мойше, удачно женившись, стал полным латышом (отдельная выгода!), и теперь он Михаил Бахманис, латышский коммерсант. И этот коммерсант Бахманис предлагает выгодный бизнес: чтобы Исаак Моисеевич занялся сбором и отправкой в Ригу металлолома. И желательно — цветного. Медь, латунь, бронза. Отдельно свинец, отдельно — то, что скажет тебе при встрече посланец из Риги. Транспорт коммерсант Бахманис обеспечит, поскольку существуют договоренности между каким-то «Красным крестом» чуть ли не из Швейцарии (где мы и где эта Швейцария?) о поставках цветного металлолома из России в обмен на лекарства. А Исааку Моисеевичу надо только собрать этот самый цветной металлолом.

Конечно, сидя там, в тихой Риге и будучи латышским коммерсантом Бахманисом, легко рассуждать: тебе, дядя, надо только, представьте себе, только и всего, собрать и отправить в Ригу этот проклятый металлолом. А то, что весь металлолом уже собирают айсоры, на это им, в Риге, наплевать. И уж если идет государственный обмен лекарства — на металлолом, то без Чеки здесь не обойдется. Впрочем, умный Мойше Бахманис на это и сам намекнул. Не впрямую, но дал понять. Как он это всегда умел.

И вот теперь Исаак Моисеевич шел домой пешком, так и не сумев ни обдумать толком, ни посоветоваться с умным человеком по предложению Бахманиса. Не говоря о том, что племянник уже как бы решил все за него: с ним вскоре должен связаться посланник из Риги.

Как вам это нравится? Жил себе Исаак Моисеевич — жил спокойно, и вот — на тебе. Металлолом, посланник из Риги, лекарства из Швейцарии — с ума можно сойти. И ко всему — Ревекка Марковна, Бэба по-домашнему.

История Ревекки Марковны и Исаака Моисеевича проста, как украинский малосольный огурец. Начнем с того, что Ревекка Марковна — из богатой семьи. Ну, не из совсем богатой, скажем, а так... Бывали в Екатеринославе люди и побогаче... Не будем, конечно, про банкира Кирнеса, про хлебных оптовиков и металлургических королей, не наше это дело, но у папы с мамой Ревекки Марковны имелся небольшой капиталец. Не сказать, чтобы совсем небольшой, но если бы не революции, не белые, красные, зеленые, гетманы и батьки всех оттенков, то детям и внукам вполне хватило бы... И даже, слава Богу, можно было бы всех выучить в Берлине и Париже. Конечно, не так выучить, как Бэбу. Тихая, домашняя девочка уехала в Берлин учиться музыке, а вернулась уже с таким животом, что никакая виолончель его спрятать не могла. И даже паршивый Яник, сын булочника, который глаза поднять боялся на Ревеккину маму, сказал как будто бы не ей, но так, чтобы она слышала: «Сдается мне, что она не тот инструмент между ног держала!» Ему, паршивцу, гицелю, видите ли, сдается! Пришлось срочно искать жениха. Хорошо, что всегда на этот случай у евреев найдется свой Исаак Моисеевич. Тогда, конечно, он был никакой не Исаак Моисеевич, а просто Ицик Бакман, которого вытащили из местечка, где он окончил после хедера реальное училище и работал клерком в банке, которым руководил партнер Ревеккиного папы. Ицика Бакмана срочно отправили на стажировку в Берлин (Хде же смогли познакомиться ваши дети? Исаак, я слышала, из местечка... Хде, хде! У Берлине, конечно же... Так полюбились, шо... сами знаете, шо есть сейчас молодежь... Нам бы с вами... Да мы просто умерли бы шесть раз, прежде чем появиться перед родителями!) Ицика спровадили, быстро же вернули, посадив на должность помощника управляющего в банке, которым руководил опять же все тот же папин партнер. Но! — уже в Екатеринославе. А за помощника управляющего банком уже можно было (с натяжкой, с натяжкой и родительскими слезами) выдавать Ревекку Марковну. Которая тоже еще не была Ревеккой Марковной, а просто Ривкой, хотя игриво называла себя на немецкий манер Бекки и, несмотря на стремительно растущий живот, все еще подавала надежды на гастроли по Германии.

Исаак Моисеевич дошел до Пяти углов, прислушиваясь, даст ли отрыжку Шлёмин форшмак. Форшмак отрыжку не давал, но воспоминания о нем были не из лучших. Исаак Моисеевич, будь он в хорошем расположении духа, мог бы пройти по Чернышёву переулку, повстречать там кое-кого из знакомых людей и только потом выйти на Фонтанку. Но сейчас встречаться со знакомыми не хотелось. Он уже представлял, что скажет по поводу предложения Мойши Бахманиса Ревекка Марковна, и было не до встреч и разговоров со знакомыми. Он свернул на Троицкую улицу и пошел по четной стороне, поглядывая на лавки конкурентов. Собственно, конкурентами они не были. Надо отдать должное Бахманису (плевать на его латышское подданство), мозги у него были еврейские. Кто-то может подумать, что, живя в тихой Риге, нет ничего проще, чем придумать поставки в Петроград килек, шпрот и копченой салаки. Кому они еще нужны, кроме как в России? Но — вы подумали о доставке? Что весь Финский залив, не говоря уже о Маркизовой луже, нашпигован минами, как клетками — куриный суп? А о таможне что вы думаете? О грузчиках в Петроградском порту, которые без денег не оторвут задницы, и ваш прекрасный пароход, нанятый в Эстонии (так дешевле), будет простаивать у причала, пока вам не надоест платить сумасшедшие штрафы порту и неустойку хозяину парохода. Но есть еще бандиты, которым тоже надо платить, — ты же кооператор, делиться надо. Кое-кто из слишком умных хотел было нанять своих бандитов, подешевле, но за портовыми стояла Чека, что и решило дело. Так вот, попробуйте доставить кильку из Риги! А Бахманис смог! И как? Да через тупоумных американцев! Кто-то им надул в уши, что негры в Африке слишком быстро

размножаются и через некоторое время размножатся так, что белому человеку буквально некуда будет плюнуть! Казалось бы, что тебе до негров в Африке? Плюй себе в Америке! Но американцам до всего есть дело. И через ихний Красный крест, или как он там по-американски, они решают отправить в Африку миллионы презервативов. А в ихнем Красном кресте или как он там, сидит кто? Сидит кто? Вы будете смеяться! Сидит Борух Рубинчик, отец Шлёмы, хозяина еврейского рестораника на Разъезжей! Но! — он еще к тому же троюродный или еще какой брат латышского коммерсанта Бахманиса! Ну, не будем считаться, и четвероюродный же брат Исаака Моисеевича, что, впрочем, к делу отношения не имеет. Борух телеграфирует Бахманису, тот отправляет неграм свою кильку (мог бы и шпроты, и салаку, но — жара!), а миллионы презервативов плывут в Ригу! Вот это комбинация! А то, что презервативы черного цвета, так это только придает им шарму. Многие дамы предпочитают... Так сказать, экзотика. Негры в восторге: Бахманис от широкой еврейской души шлет им еще и латышские народные игрушки и поделки, которые валялись на складах со времен императора Александра III, — тот все пытался развивать национальный вкус. И чем же расплачивается Бахманис с жуликами на своей таможне? Вы уже догадались — черненькими. А Исаак Моисеевич с местными бандитами? Тоже догадались? Причем берет за черненькие вдвое дороже! Ну, и как он должен смотреть на своих конкурентов, идя по четной стороне Троицкой? Это немного подняло настроение Исаака Моисеевича, он свернул к Толстовскому дому, степенно вошел в высоченную арку, приподнял котелок, раскланиваясь с дворником, и пошел дворами к Фонтанке. Конечно, кто бы здесь не хотел жить! Этаже на третьем в девятикомнатной квартире с кухней в тридцать метров, отдельной гардеробной и комнатой для прислуги возле кухни? Можно даже не говорить про ванную с окном и туалетом таким, словно вы собираетесь провести в нем остаток жизни. Конечно, Бэба могла бы блистать и устраивать здесь свои журфиксы. «Ах, у нас журфикс по четвергам, приезжайте без приглашения!» А теперь скажите, есть у вас гарантия, что вас не «уплотнят», как уплотнили всех «социально не близких»: дворян, священников, офицерство, купцов побогаче и попримечнее? И вместо девяти комнат у вас останется одна. Или даже, допустим, две. Если вас вообще не выселят к чертовой бабушке на Шемиловку, к Еврейскому кладбищу. Вы это понимаете? А как это объяснить Бэбе? Когда у Шимановичей — простите, у кого-кого? — у Соньки Шиманович журфиксы, а я должна сидеть в твоём вонючем доме 50 на Фонтанке со входом со двора и смотреть в окно на твою постыльную Фонтанку?! А она мне обрыдла! В Берлине — Шпрее, в Екатеринославе — Днипро, а тут... — тьфу, Фонтанка без фонтанов.

Исаак Моисеевич свернул под арку (а вход, между прочим, есть не только со двора, но и из-под арки!), поднялся на третий этаж и открыл дверь.

— Что, гисель, крадешься? — вылетела в прихожую Бэба. — Иди, иди, полюбуйся! Посмотри на плоды твоего воспитания! Чтoб от твоего воспитания все вымерли к черту до седьмого колена!

Исаак Моисеевич снял калоши, отдал пальто и котелок прислуге и заглянул в распахнутую дверь столовой. За большим дубовым столом (вся мебель и утварь остались от прежних хозяев) сидели дочка Мара и какая-то девочка. Девочка была рыжая, с красным от веснушек лицом. Она сопела и не поднимала головы от стола.

— Мара, что за девочка? — строго спросил Исаак Моисеевич.

— Она н-н-на улице, — Мара стала заикаться, как всегда при волнении, — ей жить негде... Она из деревни...

— Как тебе нравится? Еще одну сволочь не вырастили, теперь и эту тащить на горбу!

— Как тебя зовут? — Исаак Моисеевич посмотрел на девочку. — Не понял? Маша, Даша, Наташа?...

— Лариса, — она подняла глаза. — Лариса Холмогорцева. Я из Пскова. У нас очень голодно, и все вымерли. И мама отослала меня в люди.

— Побираться! — Ревекка Марковна даже уперла руки в бока. — Это ж надо такую мать иметь! Выставить девчонку из дому!

— Я старшая, я могу на подаяние прожить, — тихо сказала девочка.

— Значит, ты просить будешь, а кто-то на тебя горбатиться?!

— Бэба, уйми свои вопли, — негромко сказал Исаак Моисеевич.

— Я всю жизнь Бэба, и всю жизнь положила на тебя и эту стерву!

Стерва Мара хлопнула носом.

— Бэба, тебе чего-то не хватает? — поинтересовался Исаак Моисеевич.

— Мне жизни не хватает, вы мою жизнь пожрали! Я могла бы с гастролями всю Европу объездить, а я езжу с кухни в столовую и обратно! А теперь еще эта гадюка!

Девочка приникла к столу, было видно, как затряслись ее плечи. Мара обхватила ее и заревела в голос.

— Вот, — будто обрадовалась Ревекка Марковна, — теперь эти стервы будут донимать меня вдвоем!

— Маня, — Исаак Моисеевич повернулся к вошедшей прислуге. — Принеси девочкам второе. У нас есть лишние котлетки? Вот и принеси.

— Ты что, думаешь, что я с этой засранкой буду мыться в одной ванной? И ходить на один горшок, ты так думаешь?

— Бэба, я ничего не думаю. Когда ты кричишь, думать невозможно! Если ты не Эйнштейн.

— Ха-ха, — снова обрадовалась Бэба, — Эйнштейн — это голова! А ты — жопа! — Бэба вылетела из столовой, хлопнув дверью так, что старинные картины, тоже оставшиеся от прежних хозяев, вздрогнули и покривились.

«Может быть я и жопа, — подумал Исаак Моисеевич, поглядывая на девочку, — но не такая, как ты думаешь! С жопой Мойше Бахманис не стал бы иметь дела».

— Пора прекращать плакать, — он подошел и погладил рыдающих девочек по головам. — Надо есть котлеты и успокаиваться!

И отправился в спальню, где Бэба рыдала на кровати, приговаривая сквозь слезы: «Всю жизнь мою заел, скотина! Всю жизнь! А я, идиотка, могла бы всю Европу объехать, всю Европу».

«Представляю, как бы ты обрыдала эту Европу», — подумал Исаак Моисеевич и сказал:

— Кстати, Бэба, Мойше таки предложил дело с металлоломом!

Глава 6

Глеб Иванович Бокий не знал, что такое похмелье. Сколько и какую бы дрянь он ни пил, — на следующий день голова была чистой и свежей. Насколько свежей и чистой могла быть голова секретаря Петроградского комитета РСДРП(б) в 1918 году. Да еще и отвечающего за разведку и безопасность. И сидящего под началом Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича.

Правительство республики, испугавшись немецкого наступления на Питер, только что перебралось в Москву. Бокию пришлось организовывать переезд и отвечать за безопасность поезда, регулярно развлекавая Бонч-Бруевича оперативной информацией. Бонч окопался в 75-й комнате Смольного, изображая нечто среднее между главой охраны и начальником фронтовой разведки. Ни в разведке, ни тем более в охранных делах бедняга Бонч не смыслил ничего, но пыжился, напрягая по тысяче мелочей Глеба Бокия.

— Интеллигентный еврей во власти — это уже опасно, — философствовал Бокий,

развалившись в кресле у доктора Мокиевского. — А если ему дать возможность казнить и миловать...

Мокиевский, рассматривая на свет мензурки, — он разводил спирт — сверкнул стеклами пенсне в сторону Бокия.

— Говорят, он хороший организатор.

— Да-да, — иронически подтвердил Бокий, — особенно в части обеспечения себя и своего патрона. У Ильича слабость — икорка, огурчики... «А что-то, Бонч, у нас икогка всего тгех согтов, — передразнил он Ленина. — Пгидется вас гасстгелять, как саботажника!»

— На фоне питерской голодухи это уже неплохо...

— Его максимум — оборудовать квартиру для хозяина, — Бокий покосился на молодую женщину, внесшую в кабинет жареного кролика. — Теплый сортир и лифт со второго этажа на третий. И то не догадался шахту лифта хотя бы обшить досками.

— Они так боятся даже в своем Смольном?

— Они боятся даже в своем собственном сортире...

— Чего?

— Что войдет кто-нибудь и скажет: «Ты что здесь делаешь?»

— Любите вы их, Глеб Иванович!

— Я их знаю, а люблю только спирт, когда именно вы его разводите, запах жареного кролика и перспективу поехать с вами на Острова...

— Конечно, вы ведь уверены, что спирт, который я вам налью, — не метиловый, кролик — хоть и жертва научных экспериментов, но не инфицирован сибирской язвой...

— Зато компанию на Островах я вам обеспечиваю! И почти полная гарантия от гонореи!

— Так зовите и своего дружка Бонча, раз уж гарантии!

— У него, знаете, такая постная рожа, — Бокий взял с подноса большую водочную рюмку, понюхал и поставил ее обратно, — что любое развлечение становится равно веселым, как ихняя зауряд-лекция по марксизму. Я на днях по обязанности сидел на одной. Бр-р... — Бокий поднял рюмку. — А в целом, — он выпил, закатил глаза, изображая особое удовольствие, и шумно выдохнул. — В целом, боюсь, что в хороший дом в Англии его управляющим не взяли бы!

— Вы же марксист, — Мокиевский тоже выпил и захрустел кроличьей лапкой. — Революционная деятельность, которой вы так увлекались, вам обошлась в десяток посадок...

— Двенадцать! И почти полтора года в одиночке.

— Это суммарно?

— Конечно! Выдержать полтора года одиночки мог только наш Феликс! Нормальный человек сходит с ума...

— Мне кажется, его это не миновало! — ухмыльнулся Мокиевский. — Так вот, вам ваши увлечения Марксом обошлись в десять посадок...

— Двенадцать!

— А мне — в небольшую сумму, — Мокиевский налил еще спирта. — Один только залог за судебный процесс «Сорока четырех» мне обошелся в три тысячи. Что по тем временам были деньги немаленькие! Плюс...

— Желаете вернуть?

— Деньги? Нет! Но должок — да!

Бокий поднял брови, изображая непонимание.

— Вы же теперь у власти! Точнее — сама власть! — Мокиевский взялся за рюмку, они чокнулись и выпили. — Я слышал, вы выдали какую-то охранную грамоту Сергею Федоровичу Ольденбургу.

— Это Луначарский обтяпал!

- Неважно — кто. Важно — власть!
- Резонно!
- Помните Гринёвский заячий тулупчик в «Капитанской дочке»?
- Жалованный Пугачеву?
- Подаренный. Литературные сюжеты живут-с!

«Охранную грамоту» доктору Мокиевскому и его патрону академику Бехтереву привезли уже на следующий день. Когда Мокиевский еще лежал дома, завязав мокрым полотенцем разламывающуюся голову, и размышлял, стоит ли похмелиться сейчас или сначала выпить кофе. И решил — сейчас. Потому что кофе из сушеной морковки и цикория, собранного прислугой на Сиверской, был ужасен.

Грамота была подписана заместителем председателя Петроградского Чека Глеб-бом Бокием. Вступившим в должность в этот день.

Мистик, гипнотизер, теософ и ученый-авантюрист Павел Васильевич Мокиевский любил играть в покер, то блефуя, то поступая в соответствии с математической логикой, но дьявол, с которым он решил сыграть тогда, выиграл.

Впрочем, может быть, он выиграл еще раньше.

* * *

Февраль 1918 года в Петрограде выдался особенно лютой. Нерасчищенные улицы быстро заросли сугробами, тропинки, натоптанные между ними, исчезали под гонявшимися друг за другом струями снежной замяти, так что ходить стало почти невозможно. Но голод гнал на улицы. Кутаясь в шали, башлыки, шаркали по темным ледяным тропкам теплыми ботами и шли, шли в надежде раздобыть какую-нибудь еду. Шли, пряча в карманах муфт, в которых прежде держали саше и духи, то, что осталось от прежних, совсем еще недавних времен: фамильное золото, броши с бриллиантами, фрейлинские вензеля... Петроград выживал, не веря в ужасный конец и стараясь понять, как же можно приспособиться к этой новой жизни. Обрушившейся на них так, как у нерадивых дворников рушатся наледи с крыш знаменитых особняков, реквизированных революцией.

К числу таких зданий относился и дворец великого князя Николая Николаевича, только что полученный академиком Бехтеревым для организованного им Института по изучению мозга и психической деятельности.

— А одного здания, выходящего на набережную, нам мало будет, — Владимир Михайлович в расстегнутой генеральской шинели шел впереди шупленького комиссара, выделенного Бонч-Бруевичем для передачи особняка. Тяжелая прядь волос то и дело падала на глаза.

— Там еще здание и целый корпус — службы-с, — их сопровождал, служивший еще у великого князя, швейцар, до смешного схожий с Бехтеревым. Тоже был в генеральских лампасах.

— Оба здания нас вполне устроят! — напористый Бехтерев почувствовал азарт. — Зато всю эту красоту, — они вошли в основной корпус великокняжеского дворца, — можете забрать себе, — он обвел рукой вестибюль и парадную лестницу дворца. — Нам ни картины, ни ковры не нужны. И золоченую мебель забирайте. У нас своя, попроще. (Не отдал, впрочем, и тем самым сохранил коллекцию старинного русского стекла и фарфора — увлечение супруги Николая Николаевича Анастасии (Станы) Черногорской.)

Напротив красавицы-двери дворца остановился автомобиль, присланный Бокием. Мокиевский через приотворенную «шоффэром» в кожанке дверцу взобрался в промерзлое нутро.

Автомобиль, включив фары, двинулся, пробивая желтоватым светом снежную муть, со свистом, различимым даже в авто, несущуюся в сумасшедшем, завихряющемся танце.

Мокиевский корил себя за то, что поддался уговорам Бокия, но с другой стороны, унылые девицы, которых Бехтерев притащил из Женского института, где в просветительском раже читал лекции, смертельно надоели. Им обязательно требовались высокие чувства, страсти, стихи и прочая чушь, которой, как полагал Мокиевский, не осталось уже и в провинции. Но, видно, романы Чарской и стихи Бальмонта все еще не выветрились из их бедных голов, хотя они с уверенностью рассуждали о свободной любви и носили платья с разрезом до колена. И даже выше. Правда, скрывая «тайны», прячущиеся выше, вставочками из ажурных кружавчиков. Мокиевский тяжело вздохнул. Да-с, вечные проблемы с этими девицами. Слезы, истерики, идиотская ревность... Какая, к черту, может быть ревность, когда ты отдаешься на лабораторном столе? Да еще после того, как тебя оприходовал Владимир Михайлович! Он в этой части был так же неутомим, как и в науке. И как в науке, стремился к новым и новым идеям. «Правда, — ухмыльнулся про себя Мокиевский, — старика со временем все больше тянет "на клубничку"». От этой мысли Мокиевский развеселился и игриво взглянул на шофера, пошутив по поводу петроградской погоды. Но шофер, жуя во рту папиросу «Зефир», на шутку не откликнулся. Он был чем-то похож на Бокия: смуглый, в темноте кабины лицо едва можно было разглядеть, сумрачный и молчаливый. Мокиевский отметил, что когда он неуклюже сел в автомобиль, подбирая полы профессорской лисьей шубы, шофер, оставив на миг баранку руля, подхватил с сиденья револьвер и сунул его в карман кожанки.

Только сейчас, когда они переехали мост через Малую Невку и свернули к дачам, Мокиевский понял, почему Бокий прислал за ним авто, сказав, что сам он не найдет этого особняка. «Почему?» — удивился Мокиевский. Он неплохо знал Каменный остров, часто бывал по вызовам богатых клиентов, да и Владимир Михайлович жил там, так что...

На одном из поворотов, плохо различимых в темноте и летящих косо струях снега, авто остановил патруль, жужжа динамо-фонарем, внимательно изучил мандат, предъявленный шофером, и, козырнув, молча пропустил. И таких патрулей было еще не то два, не то три. Чего не бывало даже во времена самого гнусного 1905 года.

Зато когда они въехали за ажурную решетку особняка и Павел Васильевич вошел в вестибюль, дохнувший теплом, духами, пачулями, запахом свежих печений и настоящего кофе, Мокиевский простил Глебу Ивановичу все: и длинную дорогу с мрачным шофером, и колыт на сиденье, и ноги, схваченные морозом даже в ботах.

Гостей встречала дама-распорядительница с вырезом на платье, не оставлявшим никаких сомнений.

— Прощу, прошу вас в ваши комнаты, — сияла дама, — приведите себя в порядок — и к нам. Все уже собрались! Лили, — она кивнула красотке с ярко накрашенными губами, — проводите профессора!

Лили была так хороша и соблазнительна, что Мокиевский не удержался и прямо в коридоре шлепнул ее по крепкой заднице. Та только засмеялась, оглянувшись через плечо. В комнате, перегороденной китайской ширмой, были лишь старинный гардероб красного дерева, роскошная белая с золотом кровать, закрытая персидскими шальями, и небольшая прикроватная тумбочка. Потрепав Лили по щечке, Мокиевский отпустил ее и заглянул за ширму. Там обнаружилось все, что полагалось в хорошем публичном доме: таз для умывания, кувшины с горячей и холодной водой, французский расписной умывальник.

«Боже, — подумал Мокиевский, садясь на кровать, — как будто время вернулось назад! Не верю, не верю!»

Но еще более он не поверил своим глазам, войдя в «зало», куда его проводила все та же улыбающаяся Лили.

На маленькой сцене три юные особы играли на скрипочках что-то изумительно знакомое и веселое. Четвертая, с копной рыжих, заколотых вверх волос, брэнчала на

рояле и пела. На девицах из одежды были только туфли, ярко-красные чулки в сеточку, черные подвязки и какие-то сверкающие побрякушки на груди и интимном месте. Примерно так же были одеты и женщины, сидящие за сервированными столиками. Красавицы с бокалами шампанского обнимали слегка смущающихся мужчин в партикулярном платье.

В зал вошел Бокий, которого Мокиевский поначалу и не признал. Бокий был одет в костюм какого-то восточного князька — шикарный, с красным шитьем и золотом, расстегнутый наполовину, — в распахнутые полы виднелась волосатая грудь. «Уже пьян», — отметил Мокиевский, и это было почти последнее, что он отметил и что ему хотелось отмечать.

— Клара Филипповна, — Бокий подошел совсем близко к Мокиевскому, но как бы не замечая и не узнавая его, — что ж вы не просветили гостей: у нас сегодня вечер в восточном духе! Дамы, прошу помочь мужчинам переодеться!

И вечер тут помчал, полетел, закружил, заставляя мужчин вслед за дамами пускаться в какие-то дикие «восточные» танцы, полы пестрых халатов распахивались, кавказские одежды с газырями летели на пол, скрипки заливались так, что хотелось петь, плакать, любить всех и танцевать, танцевать, ощущая рядом очаровательные и прелестные в своей доступности юные тела, обнимающие и ласкающие тебя, соседа-толстяка, еще кого-то, поймавшего одалиску и пытающегося унести ее. Рыжая пианистка вдруг оказалась в объятиях Мокиевского и так смотрела обведенными чернотой глазами, что ему захотелось впитаться в соблазнительный алый рот, но Бокий, переодетый уже в другой костюм, вдруг объявил: «Открылась турецкая баня, господа! Дамы, проводите!».

Мокиевский не был уверен, турецкая ли то была баня, но что на входе в нее (пришлось идти прохладным переходом с зимним садом) надобно было раздеться — это точно! Дамы слегка повизгивали, снимая чулочки и еще кой-какую мелочь, мужчины стаскивали с себя восточные одежды, не отпуская своих дам. Кто-то оставил из одежды лишь тюрбан на голове и, танцуя, направился к дверям парной, откуда были слышны дамские вскрики, визги, хохот и плеск воды.

Признаться, такого Мокиевский не встречал не только в жизни, но даже в сказках Шахерезады. Не в тех, детских, с дивными рисунками Билибина, а в запретных, тайных, предназначенных для чтения мужчинами. Рыжая пианистка (ах, как Мокиевский любил рыженьких!) оказалась такой искусницей в любви, что Мокиевский только стонал и скрипел зубами. А пианистка, не отпуская Мокиевского, обняла какого-то волосатого мужика: «Иди к нам!» И тот бухнулся на пол, устланный полотенцами, увлекая за собой еще какую-то девицу. Та легла голой грудью на Мокиевского, посмотрела сумасшедшими глазами и вдруг схватила его за лицо: «Как я люблю мужчин с усами! Ну, целуй меня, усатик!» — и впиалась ему в губы.

Не иначе как Бокий намешал кокаин в вино — гости без удержу орали, пели, пили, лапали и целовали всех подряд. А на закуску, когда все уже едва держались на ногах, на сцене был устроен театр теней: две пары за полупрозрачным занавесом предавались тонкой и изысканной любви. В зале потух свет, и зрители, возбужденные живыми и страстными тенями, ласкали тех, кто был под рукою, натываясь в темноте иной раз и на ищущую мужскую руку. Но и тут устроители вечера все предусмотрели: женщин было едва ли не вдвое больше мужчин. И они были бесконечно молоды, бесконечно хороши и соблазнительны, как соблазнительны лишь сирены и гурии.

...Мокиевский снова намочил полотенце, туго перетянул голову и принял два порошка аспирина. Осталось полежать, закрыв глаза, расслабиться, сбросить напряжение, сконцентрировавшееся в правой височной доле. Он представил сначала муляж мозга, затем мысленно превратил его в собственный мозг, выделил горячее пятно на височной доле и принялся нежно, но уверенно массировать пульсирующее

пятно. Боль то отдалялась, то накатывала вновь, слабея с каждой приливной волной. Вряд ли Бокий использовал метиловый спирт — от него эта головная боль, локализующаяся в затылочной части. Нет, это, конечно, кокаин, вызвавший потерю контроля, что придало вчерашнему событию форму неприличного разгула. Мокиевский припомнил двух или даже трех совсем маленьких девочек, принимавших участие в оргии. Вообще все всплывало частями, отдельными эпизодами. Мокиевский, даже сосредоточившись, не мог восстановить, как он добрался до дома. Чего с ним давненько не случалось. Бокий, судя по организации... скажем, мероприятия... знал свое дело. Хорошо бы только, чтобы этот жрец Астарты и Таммуза не снял все события вечера на киноаппарат. В чем Мокиевский был совершенно не уверен. Впрочем, плевать! Плохо другое. В одном из мутноватых эпизодов, восстановившихся в памяти фрагментарно, Мокиевский рассказывал Бокию, лежавшему в объятиях совсем юных одалисок («балетные, в них особая прелесть!»), о слабостях своего патрона. Быть может, спьяну чуть преувеличивая эту сторону жизни гения...

И все же восточные практики в сочетании с двумя порошками аспирина привели Мокиевского в порядок. Настолько, что на стук прислуги он бодро ответил: «Да-да!» и с любопытством всмотрелся в широкие, мохнатые брови над серыми, широко расставленными глазами. Девица была нанята недавно.

— Подойди ко мне, — сказал он красотке. Это была школа Бехтерева: «Некрасивые женщины мешают работе». — Ближе, — Мокиевский поднял руки, ладонями к прислуге. — Сядь в кресло, — сказал он поставленным голосом гипнотизера. — Тебе хорошо, ты видишь луг, поле, речку... Ты дома... сеновал... ты спишь... спишь... И забываешь все, что видела вчера... Спишь и тебе хорошо, спокойно...

Пусть поспит. Надо стереть в памяти все, что она могла видеть ночью. Он сделал несколько пассов, чуть толкнул ее пальцем в лоб — голова откинулась, возле пухлых губ блеснула капелька слюны.

— Тебе хорошо, спокойно... Ты ничего не помнишь... Голова свободна и пуста... Пуста и свободна...

Глава 7

Прошлогодний Февральский переворот, как и все перевороты в России, прошел незамеченным. Просто чаще стали раскатывать по булыжникам автомобили с солдатами, все вдруг украсили себя красными бантами и впали в детскую эйфорию: все можно, все дозволено. Как обезумевший от нечаянной свободы гимназический класс, в который не пришел по болезни учитель, вырвались на улицы студенты, курсистки, мелкие чиновники; вырвались, ожидая строгого окрика надзирателя, — но окрика нет! И хмель ударил в головы — так ударяет впервые выпитое подростком шампанское: свобода, свобода, свобода! Бабахнули где-то вдалеке совершенно нестрашные выстрелы, промчались, весело дребезжа, на стареньком «Рено» солдаты с бантами, винтовками и пулеметом на грузовой платформе, затакал возле моста через Обводный пулемет из башни углового дома, толпа шарахнулась было, и тут же побежала навстречу нестрашным выстрелам: убить, немедленно убить того, кто стрелял! Развернули грузовичок с пулеметом, но не успели пристроиться и открыть по злодею огонь, как вдруг мелькнуло что-то в мансардной выси дома, что-то блеснуло, и тряпичной куклой из окна вывалился человек. Толпа ахнула, взвыла от восторга и побежала смотреть: кто, кто это? Человек, выпавший (выброшенный?) из окна, на злодея похож не был. Был он в аккуратных бороде и усах, почему-то без пальто, в визитке, при галстукке и даже в калошах, отлетевших прочь от удара о мостовую. Лицо медленно покрывалось бледностью, из-под темных волос потянулась струйка крови. Что этот человек делал там, наверху? Почему стрелял из пулемета? И по кому стрелял?

И откуда взял пулемет? Да и он ли стрелял? Толпа застыла в недоумении, плотнее окружая первый увиденный ими в дни переворота труп, сзади давили, напирали от нетерпения: убили, убили того, кто палил вдоль Забалканского! Передние придвигались к трупу неохотно: смерть, как всякая смерть, пока еще внушала уважение. Будь их воля, стоявшие первыми подались бы прочь от страшного тела. Тут выскочил непонятно откуда мужичонка в рванине, шапка на одно ухо, глаза дикие от сивухи: «Братцы, да это ж городской, я ж его знаю! Городовой это! Ишь, приоделся, как быдто на свадьбу!», и, схватив покойника за ногу (башмак при этом соскочил с ноги), поволок его к набережной Обводного. «Городовой!» — возликовала толпа, радуясь более всего, что наконец-то появилась ясность: «Городовой!» Как сразу-то не поняли, кто ж еще мог по проспекту, полному людей, палить? Ясно, что городской! И тут же нашлись помощники, подтянули, оттискивая толпу, тело к набережной да и скатили вниз, по крутому откосу, к мутно-желтой мартовской воде.

Что делать дальше, никто в толпе не знал. Вид поплывшего спиной вверх трупа тоже не радовал, но вдруг кто-то из стоявших сзади взметнул небольшие красные флаги, и студенты из Техноложки запели что-то по-французски. «Марсельеза», «Марсельеза!» — загомонили знатоки, но «Марсельеза» тоже как-то увяла, и толпа потихоньку начала расходиться. Потихоньку, будто все ощутили чувство вины: то ли перед этим человеком, сброшенным зачем-то в канал, то ли друг перед другом, — с чего это сорвались вдруг и побежали толпою, сами не понимая, куда и зачем?

И только мальчишки неслись через мост, по широкому мошеному проспекту с криками: «Городового убили! Городового убили!» И умолкли только, когда, добравшись до трактира «Новгород», получили хорошие щелбаны от половых, вышедших на проспект. Что там у вас в городе ни происходит, а у нас в трактире порядок, раз и навсегда установленный. Пить — запрещено, пьяным появляться — не моги, выкинут на улицу и костей не соберешь, подпевать оркестру или певцам — можно. Но лучше сидеть тихо, порядок соблюдать за чаем и смотреть, как вдоль стены бегают натуральный паровозик с игрушечными вагонами, пытит натуральным же паром и даже гудит время от времени, как на большой железке.

Глава 8

Из окна кабинета Бокию видно было Адмиралтейство, заснеженный, заледеневший Александровский сад, правее, за негустыми по-зимнему деревьями сада угадывалась ржаво-красная сквозь снежный туман громада Зимнего. Он смотрел в окно, «отпустив мысли на волю». Так он расслаблялся, ожидая, когда мозг по одним ему понятным законам заработает как всегда: быстро, четко и, как любил говорить о его «голове» сам Бехтерев, — нестандартно. Для этого нужно только расслабиться, погрузить себя в гипнотическое состояние: ты спокоен, мысли текут медленно и плавно, как кучевые облака на голубом небе... на голубом высоком-высоком небе, и ты лежишь на скошенном поле, пахнет свежим сеном, и облака, подсвеченные солнцем, плывут, плывут, плывут... Расслабиться и отключиться от действительности с первого раза не удалось. Что и понятно, огромное перенапряжение... Иметь дело с психом Урицким... Не будем об этом... Я иду по летнему теплому лесу, мягкий мох под ногами, голова свободна и пуста, мыслей нет, только ощущение свободы, полета, легкости в теле... Ты спокоен, свободен, тебе легко, свободно думается, можно лечь на мягкий мох, мягкие иголочки чуть покалывают тело... Можно представить темный, темный омут, черная вода... Сбрасываем туда все мысли, все, и ждем, пока из сотен, тысяч мыслей, встреч, разговоров появится и сформулируется одна, та самая нужная мысль, одна из глубины омота...

Телефонный звонок вернул его в прокурорный, уставленный шкафами кабинет. Не вовремя позвонили. Он поднял трубку:

— Бокий!

— Глеб Иванович, справки по убийствам и грабежам почему у меня нет?

Урицкий, как всегда, ни здравствуете, ни спасибо.

— Справка передана вчера вашему адъютанту в шестнадцать ноль пять! — Бокий с удовольствием выговаривал эти «шестнадцать ноль пять», чтобы этот «юрист», как он любил себя называть, почувствовал, с кем имеет дело. — Дополнительные сведения и предложения по организации нашей работы переданы ему же сегодня.

Урицкий положил трубку, а Бокий представил, как он морщится и корчит рожи. «Вставить перо», как говаривал Бехтерев, не удалось. Однако блаженное состояние, когда голова начинала работать, исчезло. Бокий снова попробовал сосредоточиться, глядя на деревья с качающимися на ветру ветвями. Он представил, каково сейчас на улице — ветер, мороз, сырая поземка, налипающая на черные стволы деревьев. На улице быстро темнело, в черно-фиолетовом небе еще чуть светилась игла Адмиралтейства. Что за страна! Даже самый красивый в России, европейски прекрасный город — совершенно не предназначен для житья! Страшные зимы, чахоточные вёсны, короткое, блеклое, как финское небо, лето и опять — промозглая, с быстрыми, секущими дождями осень, когда ветер дует в лицо, в какой бы переулок ты ни свернул. Разве что короткое время белых ночей... от белесых сумерек которых ничего, кроме нервных расстройств у барышень... Боже мой, нет, это не Франция, в которой каждое дерево — на месте, камень возле дороги, облако, плывущее над полем, — все, все это чудесно уравновешено, с изяществом брошено великим художником на холст, чтобы последующие поколения любовались... Франция всегда похожа на женщину, прелестную и ветреную, собирающуюся в театр, на любовное свидание, — обольстительную, причесанную, прибранную... А любимая наша Россия — лохматая бабища с похмелья, с синяком под глазом и соломой в грязных патлах... А вот поди ж ты, тянет и тянет всех к этой бабище, что за прелесть особая в ней... Ведь слова «ностальгия» никто, кроме русских, не знает...

Бокий сел в кресло, снова сосредоточился, всматриваясь в темный, страшный омут, и вдруг откуда-то вынырнуло слово: «попы». И следом — «религия». Эти слова еще не успели прокрутиться в голове, еще Бокий не понял точно, что они должны означать, но он уже поднял трубку и вызвал Кобзаря.

— Вы слышали, что в Москве создали отдел по работе с религиозными организациями? Нет? Жаль! Я сам рекомендовал туда очень толкового человека. Тучков, Евгений Александрович. Попрошу вызвать его сюда. И срочно! — Бокий смотрел на своего заместителя, пытаясь понять, то ли он слишком много пьет, то ли... Это «то ли» могло быть и похуже рядового пьянства. Может быть, работает тайно на кого-то? На кого? Уж слишком честно смотрит в глаза...

«Выцарапывать» Тучкова пришлось из Уфы, куда его загнали для наведения порядка среди тамошних крестьян, недовольных изъятием хлеба. Понадобилось даже звонить Дзержинскому. Феликс, люто ненавидевший церковников, пришел в восторг от идеи Бокия.

— Гениально! — это была невиданная оценка обычно сдержанного Феликса. — Как вы сказали, Глеб Иванович, «государство в государстве»? Гениально! Я сегодня встречусь с Ильичом, привлеку его к этому делу. Там, вы правильно сказали, ценности сумасшедшие сосредоточены, миллионы награблены у народа! Надо тряхнуть этих церковников!

— Хочу напомнить, Феликс Эдмундович, — мягко остановил воодушевившегося председателя ВЧК Бокий, — мной уже организован подотдел по работе с церковью при Московской Чека. И начальника я подобрал подходящего...

— Из церковников?

— Из крестьян, но толковый и сообразительный. Я вам пришло подробности в телеграмме. Но из общего отдела его направили к башкирцам, в Уфу. Надо срочно оттуда вытащить!

И напрасно думал Бокий, что особый энтузиазм Держинского вызван лишним порошком кокаина, которым Феликс поддерживал силы. В кокаиновой «ажитации» он мог кое-что и забыть. Но — нет. Через неделю Тучков собственной персоной сидел перед Бокием, внимательно склонив голову набок.

Среднего роста, крепкий, головастый, аккуратно стриженный и бритый. Глаза посажены глубоко, чуть близковато к переносице: внутренняя сосредоточенность и упорство — так говорит физиогномика.

— Нам с вами, Евгений Александрович, — Бокий свернул папироску и предложил свой любимый турецкий табак и специальную, турецкую же, бумагу Тучкову. Тот отказался. — Предстоит великое дело... Великое дело... Наша партия, — Бокий, гипнотизируя, сосредоточил взгляд на переносице Тучкова, — имея несколько десятков человек, совершила исторический социальный переворот. Первую в мире социальную революцию. Но! — Бокий чиркнул спичкой, поднял ее и замолчал, глядя на желтоватый огонек. Тучков, как и предполагалось, тоже перевел внимание на огонь, подрагивающий в руке Бокия. Это давало дополнительное влияние на мозг пациента. А Тучков в этот момент и был именно пациентом Бокия. — Но в падающем, разваливающемся, гниющем государстве осталась сила, которая способна возродить его и, таким образом, отбросить назад все наши усилия. Что это за сила? — грозно спросил Бокий, привстав и как бы нависая над столом в сторону Тучкова. — Что это за сила, я спрашиваю?! — он прочитал легкий туман в глазах Тучкова, туман, после которого внушения гипнотизера будут, как учил его Бехтерев, восприниматься «без перевода». — Эта сила — церковь, православная церковь. Это государство в государстве, — ему и самому нравилась эта формулировка — и мы с вами должны разрушить ее, эту силу, это церковное государство. Разрушить и ограбить! Вы слышите меня? Ограбить и разрушить! Поставить на колени, заставить служить нам, большевикам! Согласен, веришь?

— Да! — истоиво кивнул Тучков. — Верую!

— Вот и хорошо, — Бокий откинулся назад, сел в кресло и пыхнул сигаретой. — Будем работать вместе.

— Четыре класса образования у нас... — неуверенно сказал Тучков.

— Образование нам хватит! — засмеялся Бокий. — Надо привлечь церковников. Среди них есть много недовольных. Белое и черное духовенство. Монашествующие. Перекрывают белому возможности продвижения вверх. Это раз. Есть искренне заблуждающиеся — считают, что церковь нуждается в обновлении, не соответствует духу времени, отстала от современной науки, — он хохотнул, вспомнив беседы о Боге с Мокиевским. Тот был убежден (а еще ученик и сотрудник Бехтерева!), что Бога нет. А если Бога нет, то и дьявола, выходит, нет?

— Работать надо начинать прямо сейчас. Я уже говорил с отцом Александром Введенским. Свяжитесь с ним, у него в храме есть телефон. А пока что... — Бокий поднял папку со стола, — вот материалы, которые я подготовил. По ним составьте план работы хотя бы... — он задумался. — Хотя бы на год. Не перебивайте меня, — он увидел, как у Тучкова дернулись брови. — Там идей хватит больше, чем на год, — Бокий похлопал ладонью по коричневой коже солидной папки и открыл ее. В папке лежало несколько листочков, отпечатанных на машинке с фиолетово-красной лентой. Отчего странички показались Тучкову напечатанными кровью. — Все шифруйте! Все — абсолютно секретно! Шифрам обучитесь. Самый простой — на первой страничке, — Бокий захлопнул папку. — А здесь видите, что написано? Начальник 6-го отдела Вэчека Тучков Евгений Александрович! А знаете, почему шестой отдел?

— Н-нет! — Тучков «ел глазами» начальство.

— Потому что мы с вами — шестерки, половые у нашей партии. Мы — на подхвате! Мы — принеси-подай! Но без полового гости будут сидеть в ресторане голодными, верно? Мы незаметны, но — всегда рядом. Мы готовы обслужить, но — не забываем и свой интерес, нам нужны чаевые, а? — Бокий любил разного рода совпадения. Хоть числовые, вроде 6-го отдела, хоть именные... Старые заключенные Соловков все, как один, долго еще будут вспоминать, как высокий московский чекист и организатор СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения) Глеб Бокий приплывал на остров на корабле «Глеб Бокий».

— Да! — просветлел лицом Тучков.

— Нравятся чаевые? — хмыкнул Бокий и встал. — Три дня здесь. Гостиница «Астория», талоны на обеды в нашей столовой и... — Бокий перегнулся через стол, глядя на разбитые ботинки Тучкова. — И мандат на одежду! Все — от куртки до сапог! И все — новенькое!

Глава 9

Сеславинскому снился запах яблок. Снился совершенно явственно, и Сеславинскому не хотелось открывать глаза. Какое наслаждение вот так отчетливо слышать тончайший, нежнейший запах... Он, по-прежнему не открывая глаз, вспомнил, уже проснувшись, как плюхнувшись на мокрую землю и вжавшись в нее в ожидании очередного разрыва, увидел однажды прямо перед своим носом яркую, спелую ягоду земляники. Это было странно и поражало каким-то чудовищным несоответствием: едкая вонь сгоревшего пороха, запах свежесывороченной снарядом земли, раскаленного металла, осколки которого с шипением крутились в развороченной торфяной жиже, и огромная ягода земляники. Он повернулся набок, со стоном протянул раненую и кое-как перевязанную руку — непослушные пальцы никак не могли поймать ягоду. Наконец она попалась и, слегка раздавленная, была отправлена в рот. Вкуса он не ощутил никакого. Кроме металлического привкуса крови, сочащейся из разбитого час назад носа. Но зато увидел еще ягоду, и еще, и хотя они тоже не имели вкуса, он пополз к ним, от одной к другой, обретая неожиданно смысл в этом смертельном безумии. Еще, еще ягода — он полз, опираясь на локти, вскрикивая от боли в руке, полз, следуя хоть какому-то, пусть эфемерному, смыслу. Немецкие мины ложились так кучно, что казалось — на всей земле уже нет ничего человеческого, и только эти ягоды, присыпанные землей, давали ощущение другой, отброшенной омерзительным воем мин, жизни.

— Поручик, вы живы? — услышал он сквозь разрывы голос Тоцкого, тоже выпускника Корпуса. — Ползите сюда, у меня роскошная воронка. На двоих! — Тоцкий никогда не терял оптимизма. — Что вы молчите?

— Я ем землянику! — шипло ответил Сеславинский, не узнавая своего голоса.

— Что-что? — не понял Тоцкий. — Где вы, поручик?!

— Я ем землянику! — крикнул Сеславинский, и этой фразой вошел в историю полка.

В рассказах Тоцкого, неоднократно повторенных потом при самых разных обстоятельствах и даже дошедших до высоких командиров, Сеславинский представлял человеком, который под рев снарядов собирал землянику на полянке и лакомился ею. Позже это едва не стало полковым анекдотом. Но и помогло Сеславинскому: когда лихой подполковник Грач отбирал «достоинейших из достойных», как он сказал, в полковую разведку, мнимое хладнокровие Сеславинского сыграло роль, и он оказался среди отчаянных удалцов. Может быть, это и спасло ему жизнь — полк, почти в полном составе, так и не вышел из бескрайнего галицийского болота.

И все-таки запах яблок... Между тяжелых портьер пробивался узкий солнечный

луч, высветивший темно-янтарные дощечки паркета. В луче, словно дымящемся, светящемся внутренней силой, плавали, кружились и плясали, вспыхивая и тут же угасая, пылинки. И запах... да это же не яблоки, это запах ванили, запах пирогов, детства...

С водворением Сеславинского в небольшую квартирку на Екатерининском канале жизнь его тетушек, Татьяны и Зинаиды, приобрела потерянный в революционных перипетиях смысл. Тетушки были небогаты: старшая, Татьяна, жила на пенсию, назначенную ей государем за отца — генерала, погибшего в японскую кампанию, и была активисткой Общества трезвости, Зинаида преподавала частным образом пение. И как ни странно, учеников и учениц за время переворота у нее не убавилось. Что в связи с прекращением выплаты пенсии очень было кстати. Смысл же, обретенный тетушками, как утверждал Сеславинский, состоял в том, чтобы накормить, точнее — «откормить» своего племянника.

Из комнаты тетушек доносился неспешный разговор, сопровождаемый или даже прерываемый иногда тихой (чтобы не разбудить его!) и какой-то особенно нежной игрой на фортепьяно Зинаиды. Она обожала Шопена и часто, разговаривая с сестрой, наигрывала что-то «шопеновское», как говорила Татьяна.

Сеславинский, стараясь не замечать запахов, доносившихся с кухни, шмыгнул в ванную. И — о чудо! Чугунная дровяная колонка была протоплена и полыхала жаром угольев, в ванной было тепло, дивно пахло мылом и духами. Ах, тетушки! Сеславинский налил в таз горячей воды и принялся мыться. Конечно, принимать ванну сейчас в Петрограде было немыслимой роскошью, но вот так помыться настоящей горячей водой, когда можно ее не экономить, — это было счастьем!

Он по закону Корпуса («Ополаскивайся холодной водой — не будешь знать простуды!») вылил на себя полтаза холодной воды и, завернувшись в широкое полотенце, выбрался из ванной. И только тут заметил розовую открыточку, стоявшую на стеклянной полке возле запотевшего зеркала: «Дорогой Саша, с Днем Ангела! Твои тетушки Т и З».

В последний раз день ангела Сеславинский отмечал в эшелоне, на котором пробивались из Пскова в Петроград. И так надрызгались неизвестно откуда взявшимся денатуратом, что даже и вспоминать не хотелось.

Тетушки встретили его веселыми возгласами и маршем из «Аиды». И началось настоящее пиршество, которое увенчал пирог с яблоками. Раскрасневшаяся горничная Настя подала его, повторяя свое обычное: «Уж как получилось, не обессудьте, старались мы!» Сеславинский помнил это «старались мы!» с детства. Так было заведено почему-то говорить у них дома, в ярославском имении. Настя, родом из Рождествено, имения Сеславинских, была, наверное, возраста тетушек, и с девчонок, вот уже лет двадцать пять, жила у Татьяны Францевны, росла и старилась в их семье.

Сеславинский пил чай, хрустел сушками, помалкивал, поглядывая на тетушек. Рядом с ними, стоило закрыть глаза, он погружался в старый-старый мир, где было все спокойно, уютно, по-домашнему. И даже «революционеры», появившиеся время от времени у старшей сестры Даши во флигельке, были симпатичными, забавными и остроумными. Сеславинский до сих пор помнил немца с какой-то сложной фамилией — не то Раушенбах, не то Раушенбаум, который удивительно ловко показывал карточные фокусы, приговаривая, что научился им в тюрьме. Но и загадочная тюрьма тоже казалась весьма романтической и даже интересной — там можно было выучиться фокусам.

Скорость, с которой обрушились прежняя жизнь, прежний быт, рухнули родственные и служебные отношения, мораль, представления о мире, смерти, войне была дьявольской. Все, все, чем жили миллионы людей в империи, было вышвырнуто на обочину. Все валялось в пыли, грязи, потеряв прежний вид и даже свою вещественную принадлежность: все стало прахом. И люди, выброшенные безумным временем, даже

те, кто, как Сеславинские, сохраняли хотя бы прежний вид, на самом деле оказались на обочине, задыхаясь от пыли, смрада и грязи проходящих мимо полков. Таких же жалких и растерянных.

А страшная, невидимая и неуправляемая сила тащила и тащила, волокла изможденных, измученных, растерянных и растерзанных людей дальше и дальше, не давая им поднять голову, ухватиться за что-нибудь, еще не потерявшее твердости и прежнего своего предназначения, глуша невесть откуда взявшимися визгливыми гармошками, песнями вроде «Вы жертвою пали» и залпами расстрелов, расстрелов, расстрелов...

— Марья Кузьминична пришли, — появилась в дверях горничная.

— Проси, проси, Настя, — Татьяна Францевна поднялась из-за стола навстречу приятельнице.

— Здравствуйте, дорогие, — сияющая Марья Кузьминична вошла, развязывая ленты под подбородком и снимая шляпу. — Александр Николаич, рада вас видеть. Наконец-то! А то Таша с Зиной все рассказывают о вас, а я помню вас только кадетиком...

Собственно, с Марьей Кузьминичной Россомахиной тетушки сблизилась не так уж и давно. Их отцы, Кузя Россомахин и Франц Либих учились в одном классе гимназии в Ярославле, потом пути разошлись: Франца Либиха, по традиции, отправили в кадетский корпус, а Кузю Россомахина — тоже по традиции — в коммерческое училище. Но детская дружба осталась, перешла к семьям, детям, чуть слабая, конечно. Тем более что Кузьма Ильич Россомахин изрядно разбогател, прикупил дом в Петербурге, а Либих, хоть и дослужился до генерала, богатства не нажил, да так и сложил голову где-то в Маньчжурии, верно, как детскую дружбу, храня любовь к царю и Отечеству.

Кузьма же Россомахин, овдовев, женился неожиданно на молоденькой актрисе, завел себе шикарный выезд, стал театралом и меценатом, но ум и хватку ярославцев сохранил: после первых же наших неудач на германском фронте, будто предвидя грядущие события, перевел все капиталы в Англию, рассчитался с партнерами и кредиторами — и стал лондонским банкиром. Оставил часть капитала дочке — Марье Кузьминичне. Правда, управлять им, от греха подальше, поручил молодому родственнику своему по жениной линии. Тоже из ярославских купчишек. Хоть рангом и пониже. Родственника этого Кузьма Ильич на собственные деньги выучил в Англии, чтобы было кому в старости передать так называемые бразды. Передать, правда, пришлось быстрее, чем Кузьма Ильич рассчитывал. Да и родственничек в отсутствии хозяйского ока осмелел, и когда Марья Кузьминична вернулась в мае семнадцатого года из Италии, отметив купаниями в горячих сицилийских источниках окончание очередного романа (все ее романы начинались и заканчивались в Италии, так она говорила), оказалось, что образованный родственник со всеми ее капиталами уже высаживался с теплохода «Дж. Вашингтон» неподалеку от статуи Свободы. В далекой Америке.

Неунывающая Марья Кузьминична сначала хотела продать свою роскошную квартиру на Большой Морской, но не смогла — опоздала. Потом так же не продала мебель, фарфор, картины (многие были ей, красавице, подарены), и сейчас ее выселяли из квартиры как представительницу чуждого класса.

Несчастья не испортили характера Марьи Кузьминичны, но сблизили ее с тетушками Сеславинского — несчастья-то были общими. И тетушки были рады — Марья Кузьминична, Мари по-домашнему, все еще была светской дамой и театралкой.

— Едва сумела к вам пройти, — Марья Кузьминична уютно устроилась за столом, положив на соседний стул сумочку и доставая из нее папиросочницу. Она была завзятая курильщица. — Представьте, Александр Николаич, все деньги трачу на папиросы! Впору научиться вертеть козью ножку и переходить на махорку!

Настя подала ей пепельницу, пошептала с Зинаидой Францевной и вышла в коридор. Настя Марью Кузьминичну недолюбливала, полагая (не без оснований), что та повадилась ходить в гости, непременно подгадывая к обеду. Тетушки тоже видели это, посмеивались, но жалели Марью Кузьминичну.

— Опять крестный ход к Казанскому, — Марья Кузьминична изящно (так даже рисовал ее когда-то сам Михаил Ларионов!) держала папиросу двумя пальцами. — Немыслимое количество народу. И митрополит Вениамин впереди. Вы знаете, Александр Николаевич, — она кивнула Насте, та принесла ей омлет из американского яичного порошка и овсяную кашу, — в прошлый раз меня просто втащили в Казанский, столько было народу! И я не пожалела. Владыка произнес дивную проповедь! Половина храма рыдала! Вы же знаете, Александр Николаич, об этом ужасном декрете?

— О каком, Мари? — Татьяна Францевна отвлеклась от разливания чая. — О том, что вы прежде говорили?

— Ну да! Об отделении церкви от государства!

— Саша, ты знаешь о декрете? — повернулась к нему и Зинаида.

— Конечно, — кивнул Сеславинский. Урицкий проводил отдельное совещание по этому поводу, предупреждал о возможных беспорядках и даже создал специальную комиссию. В которую Сеславинский, по счастью, не входил. — Это старая тема, тетушка. Большевики — они же марксисты, а Маркс, их бог, был атеист. Стало быть, теперь вся Россия должна стать безбожной.

— Вот напасть! — Марья Кузьминична перекрестилась. — Чем же им Господь-то не угодил?

— Они материалисты, Господь им не нужен. Мешает. Лишний.

— Зизи, объясни мне, дуре, что такое материалисты?

— Они хотят построить Царство Божие на земле, так я поняла, — сказала Зинаида Францевна, глядя на Сеславинского, — верно, Саша?

— Пока что рушат все, что вокруг. И даже не рушат, а крушат! Настенька, дивный омлет! — Марья Кузьминична повернулась к вошедшей Насте. — Грешу в Великий пост! Вчера билась час, полпачки порошка извела, а результат — тьфу, стыдно рассказывать. Но — съела! С голоду! Господь, надеюсь, простит! — она перекрестилась и развела руками, демонстрируя безвыходность положения. — Съела!.. О пироге — не говорю! Полнейшее впечатление, что он из свежих яблок!

— Это Настенькино варенье просто божественное, наши летние заготовки, — Зинаида быстро взглянула на сестру. Та не любила вспоминать прошлогоднюю поездку в Воронино: единственное, что осталось от ярославской усадьбы Лихахов, — старый яблоневый сад да еще пруд, который, впрочем, тоже успели загадить. Знаменитых либаховских шортгорнов, английских коров красной масти и невиданных в России размеров, растащили по дворам и тут же прирезали: так закончилась полувековая эпопея переселения этих мясных британцев в Россию. Хотя только в 1913 году знаменитый журнал «Journal of the Royal Agricultural Society of England» писал о небывалых успехах в разведении шортгорнов в Ярославской губернии, недостижимых ни в Северо-Американских штатах, ни в Австралии. А вот кирпичные коровники, гордость Лихахов, разобрать на кирпичи не удалось, их просто разграбили и сожгли.

— Настя приготовила это варенье каким-то необычным способом, почти без варки. Яблоки засахариваются и сохраняют дивный вкус...

За праздничным столом обсуждали намечающийся вечер поэтов в бывшем доме Елисея. Главным должен быть Блок, который, по сведениям тетушек, приболел, и его участие было под вопросом, но зато непременно будет Гумилёв. А если уж Гумилёв, то с ним несомненно и Ахматова... И удобно ли проводить вечер, а главное, идти на него в Страстную пятницу.

— Вчера приехала из Москвы актриса Стрекалова, — Марья Кузьминична

состроила миленькую гримаску, как бы давая понять, что не во всем можно доверять актрисе (и ее подруге) Стрекаловой, — рассказывала ужасные вещи про ихний праздник.

— А что за праздник? Вот это — Первое мая? А что в нем ужасного? Вы помните, Зизи, мы в свое время бегали на маевки. Это даже было модно.

— Да праздник-то, Бог с ним, а устроили они его в Великую Среду!

— Ну, не они устроили, — поправила Татьяна Францевна, — так уж он выпал...

— Не знаю подробностей, — сморщила носик Марья Кузьминична, — Лида Стрекалова рассказывала, что ее... словом, ее друг пошел на Красную площадь, он художник и принимал участие в оформлении площади... — Марья Кузьминична наклонилась и понизила голос, словно собираясь сообщить какую-то тайну. — Они эту площадь затянули красным полотном, ну в буквальном смысле сделали красной... И вот представьте, в самый торжественный момент полотнище на Никольских воротах вдруг как рванет! С треском! И в огромной прорехе — образ святителя Николая! Чудо! Кто на колени, кто просто крестится, весь ихний праздник, говорят, прахом пошел!

— Да уж и газеты об этом написали, — Зинаида Францевна потянулась к стопке газет, лежащих на столике для рукоделья. — Говорят, сам патриарх Тихон просил особых торжеств не устраивать, Страстная неделя все-таки...

— Стрекалова рассказывала, будто целые делегации от рабочих к комиссарам ходили...

— Железная дорога, — вставила Зинаида Францевна, — Викжель...

— ...так комиссары эти вроде бы даже назло еще больше народу пригнали! И все с оркестрами, все поют что-то...

— А вот пишут, — Зинаида Францевна сняла, как всегда при чтении, очки и держала их на отлете. — «По телеграфу из Москвы. Как сообщают нам, чудо явления святителя Николая на Красной площади заставило толпы москвичей прийти в тот же день к Никольским воротам Кремля. Возбуждение толпы было таким, что охрана из красноармейцев, выставленная возле ворот, едва сдерживала напор верующих. В какой-то момент охрана даже открыла стрельбу поверх голов, желая остановить людей. Однако это вызвало лишь обратную реакцию: толпа смяла охрану и устремилась к святыне. Многие зачем-то стали стучать в ворота Кремля, которые кремлевские служащие быстро закрыли...»

— Что вы скажете на это, Александр Николаич? — Марья Кузьминична не без кокетства повернулась к Сеславинскому.

— А что тут скажешь? Они пришли в государство со своими порядками, со своими праздниками, песнями... Значит или принимать все это, или не принимать...

Сеславинский откланялся и вышел в коридор. На вешалке висела модная каракулевая шубка Марьи Кузьминичны. Сеславинский зачем-то взял в руки лежащую на столике под зеркалом маленькую каракулевую муфточку, отделанную горностаем, и поднес к лицу. «Запах дорогой женщины», — усмехнулся он, снимая с вешалки свою шинель.

«Надо бы в храм зайти, день ангела все-таки», — Сеславинский пересек узенький двор (тетушки переехали из «большой», как она называлась в семье, квартиры с видом на Екатерининский канал («канаву», как они все еще говорили) во флигель, свернул было налево, к Казанскому собору, но тут же повернул назад. Казанский он не очень любил: холодноватый каменный храм походил, как ему казалось, на католический. Да и гигантские своды, гулкие пространства не давали возможности сосредоточиться.

Вода в канале как-то не по-весеннему почернела, ртутные проблески только подчеркивали ее темноту и непрозрачность. Мокрые перила решеток, мокрый тротуар вдоль парапета набережной, мокрая, нечистая, не выметенная дворниками мостовая. Порывами налетающий ветер ухитрялся дуть сразу со всех сторон. Вода в канале каким-то неестественным путем выгнулась, вспучилась, нарушая законы физики, а

мокрые дома стали клониться к ней, словно пытаясь своими каменными усилиями сохранить природные законы. Им это плохо удавалось: ветер, нагоняющий воду в Неву и каналы, швырял в окна подвалов и нижних этажей грязь, брызги, съезжившиеся, будто обугленные листья, заставляя дома еще сильнее горбиться и вглядываться в ртутную воду, поднимающуюся медленными всплесками все выше и выше.

Возле угла Гороховой Сеславинский неожиданно натолкнулся на старичка со странной низенькой коляской, груженной дровами. Вместо колес у нее были шарикоподшипники. Старик остановился и приветственно махнул Сеславинскому рукой.

— Рад повстречать, — он поднял каракулевую шапочку-пирожок, и Сеславинский узнал его. Учитель-историк из гимназии. — Я вижу, вы меня не узнаете! — старик еще раз приподнял шапочку. — Иваницкий, Павел Герасимович. Вы поспособствовали пальто вот это получить...

— Я помню, — Сеславинский, уже отучившийся «kozyрять», приподнял фуражку за козырек.

— Чрезвычайно вам благодарен, — старик, тащивший коляску, должно быть, решил передохнуть. — Ведь с нашего с вами знакомства у меня, не побоюсь сглазить, началась полоса удач! Представьте, предложили читать лекции в Зубовском институте! Я и в лучшие времена мечтать не мог об этом, но! — старик изумленно вскинул мохнатые брови, — за мою мечту мне еще и платят! Правда, не деньгами, но дают роскошный паек. Академический! Мы ожили!

— Рад, сердечно рад, — Сеславинский понял, что придется помочь старику дотащить коляску, которую тот притормозил специальной рукояткой, чтобы она не катилась по наклонной возле моста набережной. — Позвольте, Павел Герасимович! — и несмотря на слабое сопротивление старика, взялся за разлохмаченные веревки. — Вы в сторону Садовой? Вот и я туда же. Пойдемте! Единственно, — Сеславинский огляделся, — придется перейти на ту сторону улицы. Там, мне кажется, тротуар получше.

— Смею вас уверить, у этого экипажа невероятная проходимость!

По дороге говорили о культуре. Видимо, это была любимая тема Иваницкого. Во всяком случае, за те полкилометра, что Сеславинский прокатил коляску по скользким плитам тротуара, выложенного пудожским камнем, он полностью узнал взгляд «не только мой, стариковский, но и молодежи, вполне прогрессивной молодежи, оказавшейся за бортом жизни из-за радикального крушения культуры!»

— Представьте, — Иваницкий остановился, слегка задохнувшись, — оказывается в гимназиях отменяют изучение латыни и древнегреческого! Как вам это нравится?

— Я в Корпусе обучался...

— Куда же без латыни? Как можно Рим, Италию изучать без латыни? Без подлинных текстов? А Грецию? Греческую философию? Весь сонм богов? Тоже без греческого? А каким образом вы тогда к Библии доберетесь? К мировому искусству?

— Я слышал, и Библию отменяют и вообще Закон Божий перестанут преподавать.

— Я тоже слышал, хоть и не верю.

— Отделение церкви от государства...

— Да знаю я этот ваш закон! — в раздражении перебил Сеславинского старик. — Знаю, но не верил, что они, власти эти, до такого идиотизма дойдут! Русский народ без церкви, без храма, без Бога жить не может! Кто этого не понял — политический тупица!

— Я видел храмы, — он припомнил разгромленный и загаженный храм в имении Либаров, — разграбленные нашим великим русским народом без всякой надобности. Без всякой нужды, просто от дикой злобы, выплеснутой наружу. И батюшка, которому вчера еще поклоны били, благословления испрашивали, едва ноги унес...

— Так и я о том же! — не унимался Иваницкий. — Власть посылает толпе сигнал: культура не нужна! А вся культура-то вышла из веры, из Божьего Слова...

— Прошу прощения, Павел...

— Герасимович!

— Павел Герасимович, — улыбнулся Сеславинский, — мне бы не хотелось дискутировать о вере и культуре на улице, волоча вязанку дров! Это уж типично русская ситуация!

— Простите, Бога ради, не к месту, конечно, — он приподнял шапочку-пирожок и попытался отобрать у Сеславинского колясочные «вожжи». — Скажу только, что на культуре и только на ней, — он снова вскинул брови и даже стал значительным, — строится все! И государство, и общественные институты, и демократия, и наука — все, все, что составляет и жизнь человека, и самого человека! Простите, я вас с панталыку сбил. Вы же куда-то идти предполагали.

— Я вас провожу! Замечательная у вас коляска! Легко катится и даже с тормозом!

— Мне без нее просто гибель! Смотрите, — он пальцем пересчитал метровые поленья на коляске. — Пять штук! А я ведь их от самой Невы везу!

— А разве здесь, на Фонтанке, на Екатерининском не продают?

— Продают! Но цены — вы себе представить не можете! Сумасшедшие! А на Неве, на плашкоуте — совершенно другое дело! Какие они вылавливают бревна, загляденье!

— Очень уж сырые, — оценил дрова Сеславинский.

— Вот что меня совершенно не пугает! — Иваницкий заметно оживился. — У меня же целая метода разработана!

Пока он рассказывал о легкости распиловки именно сырых бревен и поэтапного перетаскивания их к печке и плите, Сеславинский рассматривал его коляску.

— Любуетесь? — Иваницкий подвигал рукоятку тормоза. — Гениальная вещь! Это мой ученик ее исполнил. Мы с ним как-то случайно встретились, вроде как с вами, я санки с дровами ташил. Так он на следующий же день прикатил это сооружение. Он работает в авторемонтной мастерской. Петр Иванов. Представьте, довольно посредственно знал историю, но руки — золотые!

— Петр Иванов? Не скажете, он воевал в автомобильной роте?

— Кажется, там, но боюсь вас обмануть! — Иваницкий призадумался. — А вот телефон его запишите. У меня, знаете, на даты и телефоны — блестящая память! Нет-нет, мне помогать не надо более, — он увидел, что Сеславинский, спрятав блокнот и карандаш, взялся за коляску. — Тут два шага. Я рядом с церковью живу. Спас на Сенной. Во имя Успения Богородицы...

Глава 10

Только проводив старика до парадной, Сеславинский понял, что уже несколько дней его подспудно тянуло именно сюда, на Гороховую, именно в сторону дома пятьдесят семь. Как будто слова, брошенные почти на бегу татаринном в Казачьем переулке: «Гороховая, 57. Елена», — были магическими.

Мордатый дворник с лицом плута, которого Сеславинский спросил про шестую квартиру, зыркнул на него коричневым, острым глазом:

— Вам, товарищ-барин, для чего?

— Чтобы таких, как ты, жульманов под прицелом держать! — Сеславинский показал чекистское удостоверение.

Дворник поспешил к неприметной двери под чугунной вязью навеса:

— На третьем этаже будет! А на втором квартир нету. Отсутствуют!

Открыв дверь в конце коридора, Сеславинский едва не ахнул: перед ним распахнулось пространство, пронизанное сверху косым столбом света и поддерживаемое шестью колоннами. Только присмотревшись, он разглядел своды, арки, чугунные винтовые лестницы и высоко, на уровне третьего этажа, балюстраду, обнесенную

литыми перилами. Само по себе круглое помещение, напоминавшее ротонду, спрятавшееся в обычном доме, в обычной парадной, было так неожиданно, что хотелось постоять, вжиться в это неожиданное, непривычное пространство. Сеславинский шагнул, слыша, как отдаются шаги, подхваченные сводами. Показалось даже, что тени каких-то птиц мелькнули наверху. Мистика! — тряхнул Сеславинский головой. Позванивая подковками сапог, поднялся по правой винтовой лестнице. Позже оказалось, он не ошибся: левая лестница вела в никуда, оканчивалась пустой площадкой.

Не успел ручной звонок блякнуть, как дверь отворилась, прогремев замками и цепочками. В широко распахнутом проеме появилась гофмановская старуха с пронзительными черными глазами. Особенно не вязавшимися с копной пепельно-седых нечесаных волос.

— Нету ее, нету! — почти прокричала старуха, разглядывая между тем Сеславинского внимательно.

— А откуда вы знаете, кто мне нужен?

— Во всяком случае, не я, товарищ! — старуха вложила в это «товарищ» весь запас яду, что накопился у нее за полгода пролетарской диктатуры.

— Меня интересует...

— Сбежали они, сбежали! — старуха по-птичьей повернула голову, сверкнув глазами. — От голода сбежали. От голодухи! — это она выдохнула с особым удовольствием. — А я ей сказала, что и в Псковской губернии они никому не нужны. Я предупредила! — старуха пророчески воздела руки и захлопнула дверь.

Впрочем, когда Сеславинский уже спускался по винтовой лестнице, дверь распахнулась и старуха прокричала: «Вернуться должны скоро, куда они денутся!»

Сеславинский вышел на набережную Фонтанки. Ветер, нагонявший воду в город — в Неву, Фонтанку, каналы, — усилился. Короткие злые волны звонко шлепали о гранит, затопив каменные спуски к воде и выплескиваясь на набережную.

От всплывших барж, плашкоутов, лодок город потерял привычные очертания, дома стали похожи на сбившиеся перед бурей в бухте суда, когда каждый из кренящихся под ветром кораблей должен выживать сам, не надеясь ни на чью помощь. Их мрачные, перепуганные фасады с глазницами выбитых стекол и распахнутыми в немом крике парадными тонули в ветре и холодной измороси.

На набережной была тревожная суета: с барж выкатывали бочки, тащили рогожные кули, грузили на ломовиков ящики, тюки, мешки. От громкого дыхания и фырканья громадных лошадей, прикрытых мешочными попонами, шел пар, казалось, что они, высовывая морды из торб со жмыхом, кричат что-то, нам неслышимое.

Сеславинский свернул в Спасский переулочек, ведущий к рынку. В переулочке грохотали по булыжнику тачки на высоких, с железными ободьями колесах, железные, с вечными полупудовыми замками двери и крышки-спуски в подвалы были отворены, вода, поднимающаяся в Фонтанке, должно быть добралась уже и туда. Крючники, ломовики, приказчики, дворники перекрикивались взволнованными голосами, тьякали несмело собачонки в подворотнях, неслись откуда-то звуки клаксонов далеких автомобилей, звякал вдалеке ножной педалью трамвай, выкатывающийся на Сенную площадь. И над всей суетой Фонтанки и Спасского переулочка плыл густой и размеренный голос девятитонного колокола церкви Успенья Богородицы, сопровождаемый мелким перезвоном малых колоколов. В просвете между домами выплыл главный купол храма, Сеславинский невольно остановился и перекрестился, сняв фуражку. Где-то далеко на западе в невидимой за мокрыми, посеребрившими домами дали раздвинулись низкие, сизо-черные снежные облака, и особо яркий на их фоне закатный луч высветил крест на куполе храма и золотое навершие колокольни. Будто кто-то, заботящийся об этих борющихся со стихией людях, послал им свой привет: не беспокойтесь, я здесь, рядом с вами. И тороватый торговый переулочек, как при обрыве ленты в синема, лишился звуков и замер.

Глава 11

Дверь шестой квартиры была чуть приоткрыта. Оттуда тянуло теплом, запахом домашней еды и кошек. Он тронул дверь на себя, звякнула цепочка, и почти сразу отворилась вторая дверь, ведущая в кухню. А в ярком свете, бившем из кухни, возникла лохматая, в кудряшках голова девочки.

— Вам кого?

Сеславинский вдруг растерялся. Конечно, если бы дверь открыла уже знакомая ему старуха, он нашел бы что сказать...

— Мне Елену...

Снова зазвенела цепочка, дверь распахнулась, девочка лет шести-семи замерла на пороге и вдруг бросилась к Сеславинскому, подпрыгнула, обхватила его шею руками и закричала: — Папочка, папочка приехал! — Она прижималась к шинели, терлась лицом о жесткий воротник, целовала его сухими горячими губами и кричала, кричала сквозь слезы: — Папочка приехал!

Из-за двери высунулась старуха, девочка оглянулась на нее: — Ко мне папочка приехал! — и потащила Сеславинского в дверь. За нею была просторная кухня, треть которой занимала огромная кафельная плита, уставленная самоварами, чайниками. Возле круглой раковины, из медного крана которой толстой струей била вода, стояла еще одна старуха в странных лохмотьях — шальях, наброшенных друг на друга, держа в одной руке чайник, а другою опираясь на палку.

— Ко мне папочка приехал! — крикнула ей девочка. — Папочка, ты же здесь не был! Мы теперь здесь живем. Парадную закрыли, мы с мамой ходим через ротонду. А наши комнаты забили досками, теперь туда нельзя, там домкомбед живет! — она вдруг остановилась. — Надо же к маме бежать, она не знает! — и потащила Сеславинского обратно на чугунную, витую лестницу ротонды.

Он бежал за ней, чувствуя горячую, бьющуюся в его ладони руку, глядя на золотистые кудряшки и сияющие, когда она оборачивалась, отчаянно-веселые глаза.

— Скорее, ну что ты так медленно! — они скатились вниз, и только тут Сеславинский заметил, что она бежит в домашних матерчатых туфельках.

— Куда же ты на улицу, там мокро!

— Ерунда, добежим! — она выскочила во двор и чуть не шлепнулась, поскользнувшись в луже. — Мама в прачечной, здесь рядом!

Сеславинский подхватил ее на руки, она прижалась к его щеке и кричала — всем, всем, всем! — хоть на дворе никого не было, кроме дворника, шмыгнувшего за поленницы:

— Ко мне папочка приехал, к нам папочка вернулся!

Прачечная располагалась в подвале соседнего дома. Бетонные ступеньки под жестяным козырьком, тяжелая, размокшая дверь и — ад! Клубы пара, резкий запах щелока, разъедающий глаза, деревянные чаны, едва видимые в полутьме пара, и — женщины, женщины, женщины... Нырнувшие в чаны и с остервенением трущие что-то, женщины, таскающие тяжеленные деревянные шайки и ушаты с мокрым бельем, женщины, полощущие груды белья, отжимающие его, шум бьющего откуда-то пара, крики, глухие удары, какие-то возгласы — не то плач, не то смех...

— К нам папочка вернулся! — этот крик будто прорезал все шумы и громы прачечной: три десятка женщин, словно по команде остановились, выпрямились, утирая рукой пот и поправляя волосы, и повернулись в сторону Сеславинского, спустившегося в темный подвал с девочкой на руках.

Столб солнечного света, ворвавшийся вместе с ним в полутемный подвал, мешал понять, большой он или нет — видны были лишь ближайшие чаны и прачки, замершие возле них. Дальше были только клубы ядовитого щелочного тумана. Тумана, из

которого вдруг вышла Елена. Сеславинский сразу узнал ее, хотя у женщины с упертым в бедро деревянным ушатом, в длинном брезентовом фартуке, с растрепанными волосами, выбивающимися из-под сползшего платка, не было ничего общего с той изящной дамой в шляпке-таблетке с вуалью, с той дамой из Казачьих бань.

Елена потом, много позже, тоже признавалась Сеславинскому, что это был какой-то морок, удар, от которого она лишилась дара речи и мгновенно ощутила полное отсутствие воли: она шла навстречу Сеславинскому, словно кто-то вел ее, осторожно направляя между замершими прачками, лужами щелока на полу, грудями сваленного белья, — к свету, столбу света, в котором стоял он, держа на руках дочку.

Хозяин прачечной, небольшой крепкий китаец с коротенькой косичкой, подлетел было, что-то говоря и даже дергая Сеславинского за рукав, но Сеславинский только цыкнул командирским голосом: «Пшел вон!» — и стал подниматься по ступенькам, держа Елену за руку. Та ловко поставила на мокрый край чана ушат с бельем (одна из женщин его подхватила) и пошла вслед за ним, прикрывая рукой глаза от ударившего в двери солнца.

Так, держась за руки, они прошли дворами, смеясь, отвечая на смешные вопросы девочки, которая не хотела слезать с рук Сеславинского. Прошли, как если бы Сеславинский действительно вернулся к себе домой после долгого-долгого отсутствия.

Все остальное — о муже, то ли погибшем, то ли попавшем в плен, о брате, арестованном Чека, ради которого Елена шла к Микуличу на прием и обязана была явиться в Казачьи бани, о мытарствах с жильем, болезнях дочери, о гибели отца возле финских берегов, смерти матери (испанка, испанка!) — Сеславинский узнавал позже. Узнавал как что-то уже известное ему, но по странному стечению обстоятельств забытое. Даже швейная машинка «Kaizer», приткнувшаяся в углу крохотной комнаты, казалась знакомой.

— Приходится шить, — Елена перехватила его взгляд, — иначе не выжить.

— И стирать тоже! — Ольга сидела у Сеславинского на коленях. — А китаец еще и денег не платит, говорит, что мама плохо стирает!

— Нет, я стираю хорошо, — улыбнулась Елена, глядя на Сеславинского, — только медленно, медленнее, чем настоящие прачки...

Это был странный разговор. Под щебетанье девочки говорили о китайце, хозяине прачечной, противном дворнике, который не хочет носить дрова, пока ему не заплатят долги, об отвратительном домкомбеде, который выдает себя за моряка, а сам не знает, что такое «клотик» (отец Елены был командиром эсминца «Резвый») и при этом выселил их из больших комнат в эту крохотульку, под сообщение, что самые сладкие сахарные петушки продаются на Сенной у цыган, шел незримый и неслышимый процесс общения двух счастливых людей, волею судьбы брошенных друг к другу. Людей, по которым жизнь равнодушно прокатилась гусеницами заляпанных грязью немецких танков, обрушилась тоннами воды от плавучей мины, выбросившей с мостика контуженного командира «Резвого», госпиталями с завшивевшими солдатами и гниющими ранами, от вида которых Елена могла упасть в обморок скорее, чем от вида хлещущей во время операции крови, тифом и испанкой, добивавшими семьи, гибелью юности, романтики, идеалов; этот откровенный, как на исповеди, покаянный разговор, понятный только им, делал их близкими больше, чем могли бы сделать длинные и бурные объяснения и признания в любви.

— А почему ты не принес подарки? — Ольга прижалась к его щеке. — Как ты вкусно пахнешь! Это одеколон? А у мамы духи кончились, она даже плакала!

Елена покивала головой, продолжая смотреть на Сеславинского.

— Так обидно стало! — она поправила прядь, падавшую на лоб. — Хочется, — она нашла на столике малюсенький флакончик, — взять вот так и... — она каким-то необъяснимо женским движением чуть тронула себя пальцами возле висков, ушей. — Вам смешно?

— Нет, — улыбнулся в ответ Сеславинский, — вовсе нет. Я это очень хорошо понимаю. Я однажды своего денщика чуть не убил, когда тот с приятелем выпил мой одеколон! А подарки я не принес, — он повернулся к Ольге, — потому что я не знал, как ты выросла. Ты же была совсем маленькая, когда я уехал, а теперь ты большая!

— А знаешь, что я хочу в подарок?

— Что?

— Я тебе только на ушко могу сказать! — Она зашептала, горячо дыша Сеславинскому в ухо. — Я хочу, я хочу настоящую конфетку «Козинак» и туфли маменьке! У нее совсем порвались, а починить — денег нет!

— А почему именно «Козинак»?

— Я никогда их не пробовала!

— Я ей рассказывала, — Елена сидела против света, рыжеватые волосы ее на солнце вспыхнули, как ореол, — рассказывала, что папа, возвращаясь из Кронштадта, всегда привозил нам конфеты «Козинаки». Именно кронштадские почему-то были особенно вкусными.

Глава 12

На Пасху Либахи, так было заведено еще папенькой, ездили в Никольский собор. Когда-то для поездки вызывалась карета, потом ее сменила коляска, но и после смерти отца тетушки неукоснительно бывали на Пасху в соборе. Традиционно наняли извозчика, но в этот раз столько народа собралось возле собора, что коляску пришлось оставить далеко на набережной Екатерининского канала. Толпа была праздничной. Ожидание, «когда небо распахнется» и можно будет напрямую говорить с Богом, электризовало толпу, будто магнитом стягивающуюся к неосвященному собору, стройно прорисованному на темном, фиолетового оттенка небе.

Год после прошедшей Пасхи был годом всеобщего безумия, помрачения ума. Никто не мог понять, что же происходит на самом деле. То, что позже назовут Февральской революцией, вообще все пропустили. Опомнились только после отречения государя, да и — что значит опомнились? Так приходят в себя после безобразного запоя: провалы в памяти, которая восстанавливает какие-то немыслимые картины, невозможные для человека в здравом уме. Откуда вдруг взялись эти грузовики с матросами, мчащиеся в сторону Таврического? И солдаты с бантами и тоже на грузовиках, стреляющие не то поверх голов жалкой толпы, жмушейся к домам, не то в матросов, прижавшихся друг к другу в кузове и держащих в зубах ленточки бескозырок? Пачки газет растаскивались мгновенно, всем хотелось узнать, — что же, что происходит где-то там, возле Таврического, где то звучит музыка, то постреливают, куда маршируют мрачные, зелено-черно-красные молчаливые роты латышей и китайцев, кажущиеся еще более страшными от диких, косыми буквами выведенных лозунгов, самым популярным словом на которых вдруг стало слово «смерть»? И кто такие «буржуи», которым уж точно грозит эта самая «смерть» с кривых и мятых транспарантов?

Еще катились омнибусы конки, и гимназисты шалили, стараясь подняться на империал по узкой лестничке вслед за барышней, чтобы успеть рассмотреть мелькнувшую ножку в фильдеперсовом чулочке, еще выезжали элегантные ландо и Невский вскипал по вечерам от толпы, раскланивающейся, приподнимавшей котелки (а иной раз и цилиндры!), но исчезли офицерские знаки различия, чаще в «чистой» толпе замелькали серые шинели, украшенные алыми бантами, мохнатые мужицкие шапки, рядом с которыми качались, поблескивая, штucky. Городовые, вчера монументально возвышавшиеся на углах, переоделись в гражданское платье и приобрели во взгляде некую растерянность, все еще не понимая, надо ли выполнять свои обязанности или таинственная революция обойдется без них, стражей городского порядка. Впрочем, о

каком порядке могла идти речь, когда в любой миг по Невскому могли промчатся авто с солдатами и, дай Бог, чтобы не открыли пальбу.

Вчерашние банкиры и банковские служащие, бесчисленные клерки бесчисленных правительственных учреждений, офицерство, хлынувшее в столицу, владельцы магазинов, ресторанов, синема, театров и театриков неожиданно потеряли не только работу, жалование, доход, старых и почетных клиентов, но и просто лишились смысла существования в этом безумном, никем не управляемом мире. Конечно, многие, может быть даже большинство, старались найти смысл жизни именно в самой жизни, пытались жить если не как прежде, то хотя бы похоже на то. Но безумные воззвания, доносящиеся из Зимнего и Таврического, наглое хамство председателя домкомбеда, несусветные цены парголовских молочниц, испокон века разносивших молоко по квартирам, «хвосты» очередей за хлебом врывались в эту уже фальшивую, неискреннюю и оттого жалкую жизнь.

Пасха, любимый праздник, своей неизменностью как бы придавал нынешней жизни хотя бы внешний, понятный контур. И оттого что патриарх Тихон анафематствовал большевиков, оттого что митрополит Вениамин вывел многотысячный крестный ход от Лавры к Казанскому собору, народ потянулся на Пасху в храмы с особым чувством: это была возможность объединиться, почувствовать, что еще не конец всему. С надеждой на Господа, воскресшего и тем спасшего мир. В народе, притекшем, прилепившемся к храму, была надежда и на собственное спасение. К храму шли нынче не прославлять Воскрешение, а искать защиты под сенью Единственного, Кто еще может спасти: «...Не имамы иныя помощи...»

Мерный звон колокола накрывал толпу. Но шепотки, поцелуи, которыми обменивались знакомые при встрече, выдавали скрытое ожидание радости, ради которой собрались сюда, к темному ночному храму, тысячи и тысячи людей.

Сеславинский вслед за тетушками и Марьей Кузьминичной Россомахиной — за ней заезжали отдельно — протиснулся в храм. После толкучки, что была на лестнице, в верхнем, «для высших чинов», храме было почти свободно. Тетушки прошли на свое обычное место, раскланиваясь и целуясь со знакомыми. Сновали священники в черном облачении и монахи, обмениваясь негромкими репликами.

Марья Кузьминична повернулась к Сеславинскому и, приблизив лицо, отчего глаза, чуть спрятанные под изящной вуалькой, сверкнули, прошептала:

— Давно не были на пасхальной службе?

— С начала войны! — ответил ей Сеславинский, невольно вдохнув сладкий запах ее духов.

Она взяла его руку своей, плотно обтянутой нитяной перчаткой, и сочувственно пожала. От этого почти дружеского пожатия Сеславинский вдруг разволновался. Почти так же, как когда-то разволновался в фольварке польского шляхтича Квасьневского, когда одна из красавиц-дочерей хозяина взяла его вот так же за руку, дружески сжала и, не выпуская его ладони, принялась подниматься по скрипучей деревянной лестнице «в девичью». Утром, заглядывая в глаза Сеславинскому, панна Зося спросила, понравилась ли она ему. Сеславинский только кивал (не мог же он признаться, что до нее он не знал женщины), кивал, не открывая глаз, чтобы не разрушить ощущение небывалого, невоенного покоя. Ударившее в небольшое окно солнце вполне оправдывало то, что юный офицер кивал головою, не открывая глаз.

— Ты любишь меня? — глупо спросил Сеславинский.

Панна Зося засмеялась, крепко поцеловав Сеславинского мокрыми губами, и сказала по-немецки, видимо, предполагая, что Сеславинский не поймет: «Es ist besser, in einem Bett mit einem jungen Offizier zu schlafen als fünf kräftigen Soldaten!» («Лучше спать с одним молоденьким офицером, чем с пятью здоровенными солдатами!»)

Служба была торжественна. Два священника. Евангелие читается на трех

языках — славянском, латинском, греческом. Дивно и стройно поют оба хора, правый и левый.

— И друг друга обьемем, рцем, братие!

«Что же было на последней пасхальной службе?» — Сеславинский постарался сосредоточиться, но запах духов Марьи Кузьминичны мешал, сбивал с мысли. Боже, когда это было? И со мной ли? На Пасху четырнадцатого года кадетов отпустили из корпуса. И — счастье! — с оказией удалось доехать до Ярославля. А оттуда до имения — рукой подать. И Пасха в маленьком храме была особая: жарко, тесно, душно от дыма свечей и радостно, радостно — рядом мама, отец, косящийся строго в его сторону, сестры, выросшие и неузнаваемо изменившиеся, крестьянские девки, весело поглядывающие на молоденького офицера. И ощущение родного дома, над которым вот-вот распахнется небо и души всех рванутся вверх, славить Господа, подарившего великий день, великий праздник...

Прошло всего четыре года, но сейчас, слушая «И друг друга обьемем, рцем, братие!», в Никольском соборе стоял другой человек, разве что внешне, да и то не очень сильно, напоминающий того, юного Сеславинского.

И нет еще войны, окопов, канонады, контузии. Еще живы папа и мама, и так далеко до первой, безумной февральской революции — Галиция, ранение, тиф в санитарном поезде и необходимость заново учиться ходить.

Боже, Боже, неужели все это было со мной?

«И друг друга обьемем, рцем, братие...»

...и Петроград после прихода Советов... и Чека, и Микулич с Барановским...

Сеславинский пропустил суету, поднявшуюся у выхода из храма, хоругви и иконы, заколебавшиеся в руках крепких парней и мужиков, служителей, священников, озабоченно расставляющих толпу по только им известным правилам, — и крестный ход поплыл вокруг темного храма, заколебались, выхватывая взволнованные лица, отблески свечей в руках, и зазвучало: «Воскресение Твое, Христе славим, ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби чистые сердцем Тебе славить!..»

Мощеный, выложенный возле стен пудожским камнем двор храма не мог вместить всех желающих пройти крестным ходом. Люди шли, касаясь друг друга плечами, укрывая свечи и ступая в темноте осторожно. Сеславинский сливался с толпой, ощущая легкие подталкивания со всех сторон, словно участники хода малыми и слабыми толчками давали понять, что этот крестный ход — не просто движение, не перемещение отдельных людей в пространстве, окружившем темный собор. Ход шел как одно многоногое, многоголовое и многогласное существо с единой душой.

И вдруг после темноты, колебания свечей и сырости, ползущей с Крюкова канала, впереди, у входа в собор, полыхнуло огнем, вспыхнуло необжигающее пламя и раздалось: «Христос Воскресе!» И ударили радостно, ликующе и победно колокола на звоннице, заглушая выдох крестного хода: «Воистину Воскресе!»

Глава 13

Первой перемену в жизни Сеславинского почувствовала и объявила о ней Марья Кузьминична Россомахина.

— Поверьте мне, Зизи, — сказала она как-то за воскресным чаем, — когда мужчина начинает так сиять, как Александр, исчезать из дома, придумывая случайные объяснения...

— Почему же случайные, Мари? — обиделась за племянника Татьяна Францевна. — Он же служит в полиции...

— Милиции, Таша, — поправила ее сестра.

— Я чувствую это! — с намеком сказала Марья Кузьминична.

— Он ведь не сидит чиновником в каком-то ведомстве, — Татьяна Францевна не уловила намека и положила гостю малинового варенья. — Попробуйте, Мари. Интересно, что вы скажете.

— А по мне, — продолжила разговор Зинаида Францевна, — лучше бы Александр сидел в каком-нибудь ведомстве чиновником. У него ужасно опасная работа, — пояснила она Марье Кузьминичне, — он даже ходит с револьвером!

Зинаида Францевна произнесла это по-старому: «с револьвером».

Однако проницательная Марья Кузьминична оказалась права. К тому же, к расстройству своему, вскоре получила и подтверждение подозрениям: Сеславинский пришел к ней после продолжительной паузы в свиданиях и едва ли не от двери сообщил, что это будет их последняя встреча.

С Марьей Кузьминичной, признаться, расставались не раз. Уходила она, уходили и от нее, и даже бросали, но редко кто из мужчин находил мужество для прямых слов: без объяснений, без сантиментов, честно. Всякий раз это было ужасно. Уж лучше бы лукавили, хитрили, тянули, оставляя хоть маленькую щелочку для луча надежды. Сеславинский щелочки не оставил.

Что же? Спасли Марью Кузьминичну два обстоятельства: первое — она уже побывала в лаборатории Бехтерева, была принята на службу и, кажется, понравилась профессору. Во всяком случае, его взгляд, медленный взгляд мужчины — от ног до цветочков на шляпке, — говорил о многом. И второе: в этот день она собиралась в Мариинку на «Мефистофеля» Бойто. Пел Шаляпин, и пропустить этот спектакль было невозможно. Не то чтобы Марья Кузьминична была особой поклонницей Шаляпина, нет. На ее вкус он «пел слишком громко», но у нее в театре была назначена встреча с Розочкой Файнберг. Та пела в Мариинке под псевдонимом Горская. А любовник Розы, совершенно обалдевший от любви дипломат-француз, привозил ей пудру «Coty». Правда, Розочка допускала, что жмот-француз дарит ей не «Coty», а польскую подделку, но пудра была недурна.

Марья Кузьминична подошла к зеркалу, поправила ресницы, припудрила (все-таки «Coty», «Coty», это чувствуется!) чуть покрасневший носик и отправилась к выходу. К этому времени дворник Адриан уже должен был приготовить коляску.

Огорчения огорчениями, но Марья Кузьминична была благодарна Сеславинскому. Ведь это он спас ее от ужасного Микулича, который пытался втянуть ее в свои грязные дела. Случилось так, что несчастная Марья Кузьминична, заметавшись в поисках спасения от пьяницы домкомбеда, грозившего вселить в ее квартиру многочисленное семейство дворника-татарина, познакомилась (через Розочку Горскую) с Микуличем. Что оказалось еще хуже: Микулич, выставив домкомбеда, сделал ее квартиру явкой для чекистов. Марья Кузьминична знала, как надо отходить от отчаяния. Она заглянула в кафе, бывшее «Доменик», где когда-то подавали под водочку дивные кулебяки, выпила какую-то разбавленную и подкрашенную дрянь, добавила, чтобы чувствовать себя уверенно, и, выходя на Невский, почти столкнулась с Сеславинским. Это была удача, потому что Марья Кузьминична, кажется, недооценила крепости подкрашенного напитка. И тут же рассказала ему о своих несчастьях.

— Я на грани сумасшествия! — шептала Марья Кузьминична театральным шепотом, прижимаясь к руке Сеславинского мягкой грудью. — Я не знаю, что они там делают, но однажды, когда я пришла домой, там были следы крови! Сашенька, я на грани сумасшествия! Это счастье, что я на вас наткнулась! Сашенька, это providение!

Через полчаса они уже сидели в уютной квартире Марьи Кузьминичны на Большой Морской. Марья Кузьминична оказалась радушной хозяйкой. Хотя и призналась, что в доме у нее пусто. Пришлось зайти в магазин, известный обоим (Угро и Чека — в двух шагах), и купить (по знакомству, только из уважения к вам, чухонский контрабандный товар!) кружок колбасы, кусок масла («Боже, я не видела масла уже

год! Сашенька, вы кудесник!»), горячих булок и даже полбутылки какого-то страшного пойла, которое хозяин именовал «чухонской наливкой». На столе мигом засвистел малюсенький кофейничек, подогреваемый спиртовкой, горячие булки с колбасой («Сашенька, это праздник, вы устроили мне праздник!») перебили стойкий запах французских духов, которым была пропитана квартира. И страшная «чухонская наливка», сладкая до приторности, показалась Сеславинскому замечательной. Марья Кузьминична, извинившись, переделась, вышла «по-домашнему», но поправила прическу и, как отметил Сеславинский, слегка подвела глаза. Ему это необыкновенно понравилось и странно взволновало. Марья Кузьминична зажгла небольшую керосиновую лампу с затейливым абажуром цветного стекла, стоящую на боковом столике, и свечи на столе. Комната сразу стала меньше, уютнее, старинная мебель красного дерева приобрела таинственный черновато-красный отблеск и приблизилась к столу. Марья Кузьминична покрутила рукоять граммофона, замершего чуть в стороне, будто ожидающего команды, и по комнате поплыло модное немецкое танго.

— Выпьем на брудершафт, — сказала вдруг Марья Кузьминична, подсаживаясь вплотную к Сеславинскому. — И если вы меня хоть раз еще назовете Марьей Кузьминичной, я вас убью! — она приблизилась к нему ярко-красные, густо накрашенные губы и медленно-медленно поцеловала. Губы пахли сладким запахом сада, цветов лимона — такой запах Сеславинский слышал только единственный раз, в детстве, когда они были в Никитском саду. Тогда он чуть не потерял сознание от сладкого лимонно-цветочного аромата. Маме пришлось даже подхватить его за руку. Сейчас мамы не было. Были только мягкие, подрагивающие, податливые губы, раздвинувшиеся, чтобы он мог целовать и целовать их, нежные руки, обхватившие его голову, и танго, которое пел высокий, страстный голос.

— Пойдем танцевать, — чуть с хрипотцой сказала Марья Кузьминична, Сеславинский встал, обнял ее и понял, что уже не сможет выпустить из рук это гибкое, плотно прижавшееся к нему тело. Без каблучков она оказалась значительно ниже, чем на улице, доступнее и беззащитнее; в темноте, когда она прерывала свои поцелуи, вспыхивали глаза. — Сашенька, мы сошли с ума... — она прижалась к нему. — Как я люблю молодых мужчин! — сказала она быстро. — Какие мускулы, руки, все мощно, крепко... — она прижалась еще крепче. — Обними меня! — и, глядя в глаза сумасшедшими темными вишнями, опустила руки вниз, обхватила его ягодицы и прижала к себе. — Как я тебя чувствую! — она принялась лихорадочно расстегивать его френч, широкий офицерский ремень, непрерывно шепча что-то...

Сеславинский, потеряв голову, слышал только:

— Что вы, мальчишки, сопляки, находите в женщинах? Набор стареющих округлостей, дряблые сиськи, живот, дрожащий как студень... Все должно быть стальное, мощное... — она вдруг остановилась, попав рукою на шрамы вдоль спины, замолчала и резко повернула его спиной к себе. — Что это, Саша? — и зарыдала, прижимаясь мокрым, горячим лицом к его шрамам, целуя и глядя их, словно стараясь стереть, разгладить, как женщины заботливо разглаживают складки на только что застеленной кровати или на белье, приготовленном для утюга. — Сашенька, что они сделали с тобой, сволочи, что сделали эти суки... — она ругалась довольно грубо, разглаживая шрамы с такой неожиданной силой, что стало больно, но Сеславинский терпел эту сладкую боль и слушал, слушал ее голос, как голос сирены. Слушал и не мог даже повернуться к ней, будто она лишила его и сил, и воли.

Ночью, когда немая желтая луна расчертила на паркете полосы света, он услышал, как она пошевелилась, потерлась о его плечо и сказала, не поднимая лица:

— Я старше тебя на двенадцать лет... — мягкие губы шевелились на плече и нежно шекотали его. — На двенадцать лет и целую жизнь...

— А я — на целую войну, — Сеславинский растворялся в нежном женском тепле, исходившем от каждого прикосновения ее тела.

— Не хочу об этом, боюсь, начну плакать, — она умолкла, Сеславинский чувствовал на плече ее ресницы.

Она тихонько рассмеялась:

— Когда тебе было лет семь-восемь, я уже целовалась с твоим папенькой! — Сеславинский чувствовал на груди, на животе ее крепкую, горячую ладонь. — У меня была шальная мысль — его соблазнить. Он ведь был однолюб... И все время держал твою маменьку за руку... — она приподнялась на локте, приблизив к нему лицо. — Зато я соблазнила тебя... но я тебе не помешаю, не бойся! — быстро-быстро зашептала она. — Я не буду тебе мешать, я буду рядом, пока ты позволишь... Мне страшно, Сашенька, страшно по-настоящему... Я же еще не стара, я могу любить, меня могут любить, а я чувствую себя, как раздавленная лягушка на дороге... Я хочу жить, просто жить, ведь я же ни в чем не виновата... Я даже не спала с этим... с Микуличем... Сашенька, он страшный человек... я его боюсь...

Утром Сеславинский по просьбе Марьи Кузьминичны обследовал квартиру, обнаружив несколько ловко замаскированных дырок и оконцев-прослушек. Возле одного, из комнаты рядом со спальней, стоял стул, и в углу была прислонена фотографическая тренога, явно лишняя в этом доме. Марью Кузьминичну это не особенно смутило, она была по-утреннему свежа, легка и порхала по комнатам, напевая что-то.

— Маша («Маша» после «Марьи Кузьминичны» было непривычно и чуть неловко), ты бы оставила себе колбасы, масла, — Сеславинский смотрел, как она изящно и ловко сервировала стол.

— Плевать, — она чуть прищурилась в его сторону, — сегодня еще наш праздник. Будем пировать! — Марья Кузьминична, услышав телефонный звонок, легко повернулась и вышла в коридор, к телефону.

— Да, слушаю! Алло, барышня, я у аппарата! — услышал Сеславинский через неплотно прикрытую дверь.

Она вернулась после короткого разговора с потухшим взглядом и сразу постаревшим лицом.

— Микулич? — поднял брови Сеславинский.

— Да, — кивнула она, не глядя в его сторону. — Звонил со станции, судя по переговорам телефонных барышень. Какая-то там Вишера, я не поняла.

— Что сказал? — огонек спиртовки под кофейником заколебался, словно на него дунули.

— Сказал, — Марья Кузьминична внимательно смотрела, как кофе льется в тончайшую фарфоровую чашку, светящуюся на солнце, — сказал, что даже если я переспала с тобой, то наши с ним договоренности остаются в силе.

— Уже донесли, — усмехнулся Сеславинский. — Не зря про них сложен анекдот. «Друг не дремлет». Ты подписывала какие-нибудь бумаги?

Она кивнула, по-прежнему не глядя на него.

— Это хуже, но не смертельно! Микулич не самая большая птица.

Огонек спиртовки снова затрепетал, напомнив колеблющиеся огоньки светильников-коптилок в землянке под Горлице, когда кто-то откидывал передний полог на входе. Он резко встал, бросился к двери и в два прыжка ворвался в соседнюю комнату. В ней, возле треноги, возился мальчишка гимназического вида. Увидев Сеславинского, он закрылся рукой, как закрываются дети, чтобы не видеть кошмара, но Сеславинский вдруг с каким-то сладким чувством, будто этот жалкий гимназист был виноват во всем, во всем, ударил его с ходу, с размаха, как когда-то ударил, ворвавшись в окоп, пожилого немца, державшего в руке штык-нож, как держат свечку. Немец охнул и осел, тупо глядя в светлое, ни облачка, небо. А гимназист, так и не выпустив треноги из рук, полетел в угол, обрушив на себя японскую ширму и каминный экран.

— Он давно здесь? — Сеславинский вернулся в гостиную.

Марья Кузьминична сидела, опустив локти на стол и закрыв лицо руками.

— Не знаю, — вдруг устало сказала она, не отрывая ладоней от лица. — У них свои ключи, я не знаю, когда они приходят.

— Их несколько? Они — разные? — Сеславинский рукой повернул ее голову к себе.

— Да.

Он сел рядом.

— Маша, родная, надо избавиться от этого кошмара, я тебе помогу.

Сеславинский почему-то припомнил смуглое, словно загорелое лицо Бокия. Его как-то вовсю крыл Микулич. Но и без того Бокий, которого Сеславинский чаще видел издали, казался ему самым приличным в этой компании.

— Сегодня же пойдем, я отведу тебя к начальнику Микулича, напишешь заявление, скажешь, что у тебя нервное перенапряжение... Что-нибудь придумаем! — он боковым взором увидел, как опухает ладонь, на которую он опирался. Точно так же, как когда-то на фронте. «Неужели опять сломал косточку?» — подумал Сеславинский, обнимая Марью Кузьминичну.

Бокия они встретили в коридоре Чека. Он шел, как ходит по клинике модный профессор: быстрым шагом, опережая восторженных и озабоченных вниманием мэтра учеников.

Тем не менее он остановился, перехватив взгляд Сеславинского:

— Ко мне?

И тут же уловил суть вопроса.

— Не надо подробностей, — улыбнулся он сникшей Марье Кузьминичне. — Ваша профессия? — и поняв ее молчание: — Языки знаете?

— Французский, немецкий, итальянский хуже, я просто жила в Италии...

— Отлично, — Бокий вдохнул, поднимая высоко подбородок. — А лабораторные пробырки мыть сможете? Профессор Бехтерев ищет интеллигентную лаборантку! — он чуть покосился в сторону Сеславинского.

— Конечно!

— Денег у него не будет, — Бокий снова глубоко вдохнул, — но паек академический профессор даст!

И Сеславинскому:

— Поезжайте прямо сейчас, я позвоню профессору. Спросите доктора Мокиевского и сошлетесь на меня! — он кривовато улыбнулся Марье Кузьминичне и зашагал по коридору, сопровождаемый топотом «учеников».

Глава 14

В салоне отцепленного от царского поезда вагона Бокий чувствовал себя уютно. На каждой станции начальник конвоя заходил в купе и по-немецки, так ему было проще, докладывал Бокию обстановку. Глеб Иванович любил латышей. Было в них что-то основательное. Кое-кто из руководства предпочитал охрану из китайцев, но Бокий неплохо знал этих молчаливых бестий. Достаточно заплатить побольше (он сам не раз практиковал это), и китайцы готовы сдать охраняемое лицо в три секунды. Как, впрочем, и венгры, и чехи... Нет, латыши — другое дело. Немцы крепко вбили в эти головы свои понятия: верно служи тому, кто заплатил.

— Выпьете рюмку? — по-немецки спросил Бокий начальника караула. — Спирт? — и, не дожидаясь ответа, налил латышу большую рюмку.

Тот стянул с головы идиотский красноармейский шлем с шишаком, они особенно нравились латышским бойцам, поднял красной от мороза лапой (на

тормозной площадке не согреешься!) рюмку, бормотнул что-то вроде «Прозит!» и выпил. Глаза его, остановившиеся на Бокии, медленно, но заметно стекленели: спирт был неразбавленный.

— Благодарствую! — сказал он почему-то по-русски и вышел, на ходу нахлобучивая шлем.

Бокий выпил, бросил в рот горсть моченой брусники и принялся вспоминать неожиданный московский визит. Неплохо бы все и записать для памяти. Он достал блокнот и стал писать. Привычной, но примитивной тайнописью. Примитивной — для скорости. Потом записи — уничтожить, а короткие выводы можно записать и с хорошей кодировкой. В тайнописи Бокий чувствовал себя Моцартом. Какая это стихия, какая игра ума, интеллекта, сноровки!

А записать было что. Ульянов-Бланк (Бокий единственный из всего ленинского окружения называл вождя по фамилии деда) послал его в Питер контролировать сбор денег и ценностей. Неутомимый Парвус (он же Гельфанд), сидя в своем швейцарско-немецком далеке, посчитал, сколько денег (и когда, когда, нельзя же тянуть!) должно быть собрано в этой стране. Учитывая тиражи золотых монет, золотой запас, бриллиантовые фонды, все, вплоть до заводских касс взаимопомощи. Получалась солидная сумма. А уж как собрать — это дело могучего ума, прятавшегося в лобастой, с математическими шишками голове Ильича. Дело практики. И уже 13 ноября 1917 года появился собственноручно написанный приказ: «Служащие Госбанка, отказавшиеся признать Правительство рабочих и крестьян — Совет Народных Комиссаров — и сдать дела по банку, должны быть арестованы. Вл. Ульянов (Ленин)...» Подпись пока еще без любимого «С комприветом!» Дело в том, что служащие не только не хотели открывать хранилища золота, но и отказывались завести лицевой счет на имя В.И.Ульянова и положить на него пять миллионов золотых рублей. Оставив право снимать деньги со счета только за ним же.

За национализацией Госбанка последовали и финансовые учреждения помельче. Но на руках все еще оставались громадные деньги. Парвус прислал ругательную телеграмму. Через месяц, 14 декабря, как раз перед отъездом в Финляндию на отдых (sic!), Ильич утверждает решение ВЦИК «О ревизии стальных ящиков»: «...Все деньги, хранящиеся в банковских стальных ящиках, должны быть внесены на текущий счет клиента в Государственном банке». И примечание: «Золото в монетах и слитках конфискуется и передается в общегосударственный золотой фонд».

Не явившихся — «злонамеренно уклонившихся» — следовало немедленно ограбить в пользу освобожденного народа. А из всех явившихся — вытрясти остатки состояния. По приказу Ильича должны были быть Дзержинским взяты на учет: «Лица, принадлежащие к богатым классам, т.е. имеющим доход более 500 рублей в месяц и выше... владельцы городских недвижимостей, акций и денежных сумм более 1000 рублей ...виновные в неисполнении настоящего закона... наказываются штрафом до 5000 (перечеркнуто) 10000 рублей за каждое уклонение, тюрьмой до одного года или отправкой на фронт, смотря по степени вины».

Вот это уже была забота Бокия. Проследить, чтобы не было «злонамеренно уклоняющихся», чтобы неповадно было прятать золото в шубах, цветочных горшках, на балконах соседей, в диванах, чтобы не хотелось бежать по льду Финского залива или на юг, под крыло бунтующей Украины и далее. Конечно, гетманская Украина может через немецкое посольство и лично Мирбаха составить списки представителей «паразитирующих классов», тех, в ком она заинтересована. Но тогда пусть соберет с богатых родственников по 2000 фунтов стерлингов за голову. Золотом. Но можно и зерном. По согласованным ценам. Так потянулись в Москву и отчасти в Питер знаменитые «гетманские эшелоны». На которых и гетман неплохо заработал. Но это была уже не Глеба Ивановича забота. Так, кстати, и сказал ему Дзержинский: «Не ваша забота, Глеб Иванович... А ваша... — он сделал паузу, вывел аккуратно белую кокаиновую дорожку

на толстом зеркальном стекле стола, втянул ее привычно через бумажную трубочку и замер, прикрыв глаза, — ваша забота, Глеб Иванович, и моя...»

Бокий вспомнил, как холодели у него руки при этом разговоре. Характер Феликса был известен политкаторжанам. «Часть денег, — Феликс не открывал глаза, ожидая «прихода», — полученных от людей, желающих быть переправленными по Финскому заливу, должна быть, без фиксации, тайно, особо доверенными лицами («только из числа проверенных чекистов, ни в коем случае не дипкурьеры!») доставлена лично Дзержинскому». Им почему-то нравилось именовать себя в третьем лице. «Ваша работа, Глеб Иванович, будет оцениваться, в основном, по этому нашему с вами направлению».

Бокий набросал и зашифровал с десятков пунктов программы действий, продиктованных Дзержинским, близоруко подглядывающим в листок, исписанный чужим почерком. «Не иначе как упражнения Ульянова-Бланка», — подумал Бокий.

И ошибся. Он, мастер шифровки и дешифровки, почерковед, по небрежению ли, то ли по бесовскому наущению, не отличил от летящего, остробуквенного почерка Ленина неаккуратные, разляпые, ученические каракули Свердлова.

Это была одна из непоправимых ошибок, которые припомнят ему при последнем аресте в 1937 году. Припомнят, когда вся его жизнь, все его ослепительные победы, переименованные бывшими друзьями в смертные грехи и ошибки, сольются, сплавятся с настоящими ошибками в слепящем революционном пламени, застынут, кроваво темнея, — и откуются в холодный, сверкающе-равнодушный нож гильотины 30-х. Холодного, беззвучного прикосновения которого он давно уже ожидал. Но не сидел, замерев, как заяц на прицеле, в расчете, что охотник потеряет его из вида. Он, ежели брать примеры из фауны, чувствовал себя пантерой или даже росомахой. С которой не всякий медведь рискнет выяснять отношения.

Глава 14

Дело с отправкой желающих дать деру в Финляндию пошло неплохо. Дзержинский оказался хорошим партнером: он присылал Бокию клиентов из числа обратившихся к нему. Суммы, осевшие у Бокия, и деньги, переправленные Дзержинскому, оказались неожиданно крупными. К сожалению, чекисты, занятые на этом направлении, долго не выдерживали: почти все начинали грабить и даже убивать клиентов, понимая, что те перемещаются за границу не с пустыми руками. Пришлось для острастки расстрелять десяток-другой. Чтобы не портили бизнеса. Что не понравилось Урицкому, возмнившему себя Фуке-Тенвиллем и лидером революции одновременно.

Разговор с ним Бокию был не по душе. Урицкий последнее время частенько впадал в истерику. А это уже становилось опасно.

— У меня только что была целая делегация петроградских адвокатов, — Урицкий резво бегал по громадному кабинету, принадлежавшему военному министру. Он недавно перебрался в роскошный кабинет с окнами на Дворцовую площадь и, бегая, постоянно посматривал в окна, словно стараясь высмотреть кого-то или ожидая гостей. — Целая делегация! — Урицкий поднял палец вверх, придавая тем самым своим словам особую значительность. — И председатель Коллегии петроградских адвокатов, мой давний знакомый, кстати, Владимир Владимирович Благовещенский, высказал множество претензий к работе Чека! Множество! А ведь он в свое время защищал меня на процессе...

— Меня он тоже защищал, — перебил Бокий надоевшего говоруна. — Вы хотите, чтобы вместо революционного суда у нас действовал суд буржуазный? С присяжными? Тогда обратитесь к Марксу, он подробно освещал этот момент...

— Не валяйте ваньку, Бокий! — Урицкий подскочил едва ли не вплотную к

сидевшему Бокию. — Они жаловались на то, что ваши чекисты врываются в дома уважаемых граждан, вот... вот они мне оставили список, полюбуйте! У большинства этих граждан есть мандаты, выданные властью... — он, наконец, нашел список и показал его Бокию. — Вот, пожалуйста... адвокат, адвокат, врач, артист императорских театров, врач... Знаменитый врач-уролог... Пожалуйста! На Фонтанке, в доме купца Елисеева... — он кинул на нос золотое пенсне. — Ворвались в квартиру, угрожали, вспороли диваны... Вы знали об этом?

— В данном случае — не знал, — Бокий перебрал ногу на ногу и закурил. — А если бы знал, что бы это изменило? Прочтите дальше, самое важное: изъяли ценности или нет?

— Да, изъяли, — чуть снизив тон, продолжал Урицкий, — но как, с какими унижениями для известного врача! Он написал жалобу на имя Дзержинского!

— Сколько я знаю, Феликс Эдмундович урологическими заболеваниями не страдает!

— Перестаньте ерничать, Бокий! Вы полагаете, если вас прислали из Москвы, вы можете чувствовать себя хозяином?

— Я в Петербурге и в революционном движении с 1898 года! — огрызнулся Бокий, давая понять, кого именно «прислали» в Питер.

— Пока начальник Петрочка я, вы будете мне подчиняться и выполнять мои распоряжения. И жить по тем законам, которые я насаждаю в нашем учреждении.

— Тогда, Моисей Соломонович, я могу сложить с себя полномочия вашего заместителя. Но отчитываться перед Дзержинским будете вы, а не я. У вашего уролога изъято более тысячи золотых пятнадцатирублевиков, шесть с лишним тысяч фунтов стерлингов, украшения, драгоценные камни... Все это было спрятано в диване в его врачебном кабинете и в специальном тайнике, оборудованном в перилах балкона. Это нарушает все указы ЦИКа! И никакие охранные грамоты не должны укрывать тех, кто не хочет помогать народной власти!

— Вы же говорили, что в данном случае не в курсе дела?!

— Запомню! — хмыкнул Бокий. — По-настоящему этого вашего доктора надо бы на Соловки испечь...

— Благовещенский сказал, что доктора держали в камере на Гороховой?

— Нет, под домашним арестом! — Бокий ткнул папиросу в переполненную пепельницу. — Конечно, держали! И в горячей, и в холодной! Вы думаете, он просто так свои денежки отдал?

— А перед этим арестовывали его жену!

— Да, — согласился Бокий. — Крепкая старуха. Знаете, что она сказала нашему следователю? Он ей по-еврейски: «Маменька, нам нужны деньги, мы же строим лучшее в мире общество!» Так она ему: «Зонхен, когда нет денег — не строй!» Мне с этим идти к Дзержинскому? Москва каждую неделю, а то и каждый день требует отчета: сколько денег собрано, сколько золота изъято, — подробнейшую отчетность. А вы со своими... — он фыркнул и поднялся из кресла, направляясь к двери. — Со своими урологами-гинекологами...

— А почему вы не доложили мне о расстреле целой группы чекистов? — вдруг шепотом, в спину спросил Урицкий.

— Это были не чекисты, — обернулся Бокий, — а мародеры. Только поэтому. Революция должна уметь защищаться и от своих! — Бокий, прищурившись, посмотрел на Урицкого. У самого-то ведь тоже рыльце в пушку. Балеринке из Мариинского театра подарил бриллиантовый фрейлинский вензель. А та — у нас на крючочке. Тут же сообщила, умница. Не стала ждать, когда вензель оторвут вместе с руками. Все-таки женщины обучаются быстрее мужчин. Быстрее. Это Бокий отметил еще на парапсихологических опытах, которые они проводили с Мокиевским. — Разрешите

идти? — Бокий шутливо щелкнул каблуками. Такую шутку он придумал для абсолютно гражданского Урицкого.

Тот только отмахнулся. Мол, иди с глаз долой.

«Опасный человек, — Бокий спустился по парадной лестнице и вышел на площадь. — Надо бы сообщить в Москву, Феликсу». Жаль, что тот не владеет методами кодировки текстов. А посылать стандартно зашифрованную телеграмму — смерти подобно. Надо ехать. И срочно.

В том, что надо было ехать, Бокий не ошибся. Он только недооценил Урицкого. Бокий послал шифровку поздно вечером. Когда донос Урицкого, переданный через Зиновьева, уже лежал на столе Ленина. Бокий и Дзержинский устроили себе кормушку из Чека! Позор!

Скандал вышел грандиозный.

Князь Андроников (Андроникашвили), специально поставленный Бокием на место председателя Кронштадтской Чека, чтобы перекачивать деньги бегущих в Финляндию, спелся со своими старыми приятелями — Урицким и Воровским. Которые приятельства с ним, весьма тесного к тому же, старались не афишировать. Но дружба дружбой (ох, уж эта крепкая мужская дружба со знаменитым на весь Петроград педерастом Андрониковым!), а денежки счет любят. И головастый Парвус, сидя в особняке бывшего российского посольства в Берлине, почувствовал утечку золотого потока раньше, чем Бокий в Петрограде. Парвус, возмущенный фактической изменой (что может быть хуже для финансиста, чем «крысятничество») любимых учеников, отбил возмущенную телеграмму Ленину. Тот впал в истерику. Воруют все! Бокий и Дзержинский, Урицкий и, как выяснилось, Зиновьев, Воровский... Ах, Вацлав Вацлавович... По счастью, Ильич не знал, что Урицкий и Воровский были приставлены к нему Парвусом — как бы чего не выкинул сумасшедший старик...

Выручил, как всегда, тихий и немногословный Свердлов. Получивший информацию по своим каналам и вызвавший в Москву Бокия. Разговор состоялся не в кабинете вождя, уже тогда оборудованном по приказу Свердлова прослушками (пока, правда, телефонными), а в машине. Они ехали в Басманный район отчитываться перед пролетариями.

— Мне кажется, — Яков Михайлович прикрыл рот рукою в перчатке, как бы заслоняясь от ветра, — мне кажется, этот вопрос надо решать радикально.

— Как-как? — не понял Ильич, по-стариковски прикладывая ладонь к уху.

— Радикально! — Свердлов строго блеснул стеклами пенсне в сторону вождя. — Андроникова расстрелять и начать настоящий революционный террор.

Свердлов прекрасно знал, на какой крючок Ильич клюет безотказно.

Красный террор! Вот ключевая идея дня! Безжалостный, сметающий всех. Так, чтобы враги не могли почувствовать, кого и откуда настигнет удар. Карающий меч пролетариата. Именно красный террор. Это Свердлов придумал неплохо. Откуда в нем, сыне лавочника-гравера, такая революционная ярость? Не рвется ли в вожди? Надо подумать! А пока что — красный террор. Подавляющий волю. И даже сам страх смерти. Пойдут, как бараны, на казнь!

— И непременно публиковать списки расстрелянных! — крикнул он в ухо Свердлову, стараясь перекричать шум ветра, врывающийся в авто. — Непременно публиковать списки!

Одновременно с Бокием, но тайно, была вызвана к Свердлову и заместительница Бокия Варвара Яковлева. Как и предполагал Свердлов, богатых заложников в Питере арестовывают и тайно содержат на конспиративных квартирах (адреса квартир старательная Яковлева привезла с собой), вымогая невероятные деньги за возможность перейти через финскую границу. Убогая Яковлева даже и предположить не могла, о каких суммах шла речь. Знала только, что ведутся переговоры с заключенными в Петропавловку великими князьями Николаем и Георгием Михайловичами,

Дмитрием Константиновичем (сыном поэта КР) и Павлом Александровичем. А семья бывшего великого князя Александра Михайловича с женой и шестью детьми — уже за рубежом. Только вот Варвара Яковлева не смогла назвать сумму, которую уплатила, продав свои драгоценности, жена Александра Михайловича, Ксения Александровна, сестра бывшего царя.

Безумный, безумный 1918 год! Всех великих князей пришлось расстрелять срочно. А чтобы унять разбушевавшегося Ильича («В Питере опять контрреволюционный заговор!»), грозившегося убрать Дзержинского и разогнать Чека, арестовали ставленника и агента Урицкого, начальника отдела Чека Козырева. Шум был большой. Даже газеты отметили, что Чека не потерпит в своих рядах «предателей и разложенцев». Не обошлось, конечно, без ляпсусов, которых трудно избежать, имея дело с газетами. Вездесущие газетчики выяснили (вот тебе и «закрытый» процесс!), что Козырев не только обменял несколько килограммов золота и драгоценностей на фунты стерлингов, но пытался продать иностранцам золотые тарелки, вилки и ложки, украденные из столовой Чека. На что бойко откликнулась английская газетенка, поинтересовавшаяся, откуда в столовой Чека золотая посуда и каждый ли день чекисты обедают на золоте?

А потом пришла очередь и председателя Кронштадтской Чека князя Михаила Андроникова. Перед смертью он, проинструктированный Бокием, признался во всех страшных шпионских грехах, напроочь отвергая мотив взяток и личного обогащения. Последняя надежда была на Бокия, нередкого посетителя княжеского «салона» еще во времена славы князя Андроникова и его дружбы с самим Григорием Распутиным.

В камере Бокий с князем выкурили по любимой сигарете Бокия: как когда-то, ароматный табак заворачивали в желтую турецкую бумагу. И растались почти друзьями. Что не помешало Глебу Ивановичу поприсутствовать при расстреле «бывш. кн. Михаила Андроникова (Андроникошвили)», как он написал в отчете на имя Дзержинского.

Не спасли Андроникова и тайные документы, касающиеся Ленина и Дзержинского. Бокий вычислил человека, у которого хранились бумаги: он был расстрелян вместе с князем. А документы, бросающие тень на вождей, вскоре, как посчитал Бокий, «потеряли актуальность» в связи со смертью обоих. И перекочевали в особый архив, в сейфы Бокия. И это была еще одна ошибка Глеба Ивановича, о которой напомним в свое время ему в так хорошо знакомых подвалах Лубянки.

Глава 15

У Кричевских играли в винт по вторникам и четвергам. Играли парами. Граф Александр Сергеевич с бывшим сенатором Добринским против своей супруги Евгении Леопольдовны. Партнеры же Евгении Леопольдовны время от времени менялись. Добринский с отменной точностью появлялся в прихожей ровно в восемь, оставлял высокие калоши, сбрасывал шинель на руки прислуге и проходил в зал. Александр Сергеевич с женой встречали старика, представляли, если это требовалось, нового партнера Евгении Леопольдовны, усаживали в его любимое кресло, и игра начиналась. Играли, хоть и на небольшие, но деньги. Игра «вхолостую» не нравилась никому.

От чуть потрескивающего камина шел ровный жар, постукивал мелок, Добринский аккуратно и дотошно вел записи на доске, похрустывали крахмальные юбки горничной, разносившей чай, и слова «шесть пик» или «восемь, пожалуй что» звучали ровно, покрываемые иногда мягким басом напольного «Биг Бена», как называл Александр Сергеевич старинные часы, привезенные из Англии еще его дедом.

После Февраля (бывший сенатор Добринский не называл февральский перево-

рот революцией, выказывая презрение к переменам вообще, а особенно после большевистского бунта) собираться стали реже. Только по четвергам. Стало труднее старику Добринскому добираться из своего особняка на Надеждинскую: революционеры реквизиовали все три его авто, и всякий раз старик мучился, стараясь не опоздать ровно к восьми. Он считал это неприличным. Равно как и пустые, отвлекающие от карт, разговоры. Допускалось лишь короткое и сдержанное упоминание о погоде: «Отвратительная, знаете ли, погода. И мороз крепчает!» В это время можно было чисто символически погреть руки возле камина, чтобы подручнее было сдавать.

Но как-то незаметно и сюда, в фамильный особнячок Кричевских, проникли разговоры о Думе, думах, Учредительном собрании, Чекистах, орудовавших в городе яростнее, чем распоясавшиеся за время революции бандиты, о голоде в Поволжье, о Корнилове и Юдениче, прячущемся где-то в квартире на Петроградской стороне... При упоминании генералов все смотрели на графа Александра Сергеевича, и он давал пояснения: кто, когда и какой корпус или училище закончил, где и под чьим началом проходил службу, а также — какие перспективы тех или иных армий войти в Петроград.

Надо отметить, что старик Добринский, прежде не выносивший посторонних разговоров, потихоньку привык к ним, выказывал интерес и любопытные суждения — так, во всяком случае, казалось Евгению Леопольдовне. Вроде размещения плененных немецких полков под Петроградом.

— Петр Алексеевич, предположите, пожалуйста, хоть вы и сугубо штатский человек, смогут ли захватить и удерживать город две тысячи вооруженных винтовками матросов, прибывших из Кронштадта? И еще какие-то необученные и Бог весть как вооруженные «рабочие дружины»? Уверяю вас, господа, власть эта не продержалась бы и суток! Тем более что уже на следующий день к Петрограду подошла бы конница генерала Краснова. Мне говорили, они вышибли этих «революционных красногвардейцев» из Павловска и Царского села двумя-тремя залпами шрапнели. А вот на Пулковских высотах их встретили, что называется, по всей форме! Генерал Краснов сам выезжал на позиции, чтобы убедиться: немцы!

— Александр Сергеевич, так откуда же все-таки немцы?

— Это надобно, пожалуй, у Петра Алексеевича спросить, — неожиданно огрызнулся Кричевский. — О чем они, либералы, думали, размещая под Колтушами, от Охты в двух шагах, 3-й Кирасирский императора Вильгельма полк? Казаки Ренненкампа их в свое время на цугундер взяли. А либералы наши, — он снова покосился на Добринского, — чуть ли не с оружием ихним — в лагерь. На отдых. А рядом с ними — 142-й Бранденбургский полк. И тоже почти в полном составе. А уж всякой немецко-австрийско-венгерской шушеры помельче и вовсе не счесть. Полагаю, по докладам Генштаба в свое время, никак не менее двухсот-трехсот тысяч кадровых солдат.

— Вы, Александр Сергеевич, напрасно меня в этом безобразии обвиняете, — остановил его Добринский, — здесь не в либерализме дело, как вы, военные люди, понимаете...

Завязался спор, время от времени возникавший у Кричевских. Хозяин, генерал и бывший начальник курса в Пажеском корпусе, любил обвинить «либералов», к которым относил и Добринского (Добринские дали вольную своим крестьянам раньше императорского указа!), в потворстве революционной смуте. Даже мелодичный звонок в двери и появление Владимира Владимировича Благовещенского, председателя Коллегии Петроградских адвокатов и частого партнера по картам Евгению Леопольдовны, остановило спор ненадолго.

— Владимир Владимирович, — Кричевский усадил его в кресло, — что вы скажете относительно немцев, которые хозяйничали в городе во время переворота?

— О, это моя тема, — обрадовался Благовещенский. — Позвольте, я чуть

развернусь в сторону камина? — Он развернул кресло и протянул руки навстречу огню. — Я ведь был в Зимнем во время так называемого штурма!

— Это поразительно интересно! — встала Евгения Леопольдовна. И повернулась к горничной. — Можете идти, Катрин. Я позвоню! Катрин — немка, — пояснила она Добринскому, — и все, что связано с немцами, ее чрезвычайно занимает.

— Да, это было поразительно интересно! — подхватил ее реплику Благовещенский. — И знаете, две вещи поразили меня...

— То, что матросня накала в царских подвалах? Я слышал, что они бродили по колено в лучших французских винах?

— Признаться, в государевых погребках самых лучших французских вин никогда не бывало, — вставил Добринский.

— Боже, разве может поразить русского человека вид пьянчуги, даже если он набрался в царских подвалах? И пусть их — сотни! — захохотал Благовещенский. Крупный, толстый, он был похож на развеселившегося бульдога. — Вид пьянчуги? Никогда! Меня поразили молчаливые солдаты в армейских шинелях и шлемах с шишаками, которые абсолютно молча захватывали одно помещение за другим. Молча! Чего, Александр Сергеевич подтвердит, не бывает в природе! Штурм есть штурм! И мне как ударило в голову: молча могут атаковать только немцы! Я догоняю одного и говорю по-немецки: «Где ваш командир?» И слышу в ответ прекрасную немецкую речь: «Наш командир уже прошел вперед, мне поручено прикрывать тыл!» Это что касается немцев. А второе потрясение — наутро. Мне необходимо было забрать некоторые правительственные документы. Министры одни бежали, другие арестованы. Сумасшедший дом! И документы — на полу, на креслах... Так вот что меня поразило утром — это полное исчезновение немцев, огромные толпы наших солдат и матросов, прибежавших грабить дворец, и, — Благовещенский оглянулся, — пока Евгения Леопольдовна вышла! Невероятное количество дерьма кругом! Я такого количества дерьма не видел никогда в жизни. На полу, на царском троне, на креслах, столах, на зеркалах — пальцем, на окнах — пятерней. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Как будто их всех хватил какой-то небывалый понос!

— Владимир Владимирович, — Евгения Леопольдовна вернулась в зал. — Вы говорили о немцах во дворце. Я на следующий день после переворота звоню своей приятельнице, ты знаешь ее, Алекс, это Голубинская, и вместо барышни мне отвечает какой-то немец: Hallo, sprechen sie bitte, ich bin bereit, mit dieser Sie Telefonnummer zu verbinden! («Алло, говорите, я готов вас соединить с абонентом!») Я называю номер Голубинской, и он меня соединяет с ней!

— Да-да, — словно обрадовался Добринский, — именно так и было дня два, а то и три!

— Что мы всё о немцах, — спохватился Благовещенский. — У меня ведь приятная новость. На днях получил ответ, жаль не захватил с собою, что председатель Совнаркома Владимир Ульянов-Ленин помнит о своем пребывании в доме Кричевских и не возражает, чтобы председатель Совета Северных коммун Зиновьев выдал специальный документ — свидетельство о причастности к революционному делу.

— Охранную грамоту? — ухмыльнулся ядовитый Добринский. Он напоминал громадную полярную сову, держащую в коричневой лапе стопку: снежно-белый, в больших круглых очках, с горбатым кривым носом. — Bravo, bravo, Александр Сергеевич, bravo! Это войдет в анналы: граф Кричевский — революционер! — Он повернулся к Благовещенскому. — Еще роббер? Я устаю от разговоров о марксизме.

Вечером, зайдя в спальню к Александру Сергеевичу, чтобы перекрестить его на ночь, Евгения Леопольдовна задумалась на мгновение и спросила: «Алекс, прости мою необразованность, но ты не мог бы сказать мне, что такое Сов-нар-ком?»

Глава 16

Сеславинский, хоть и присутствовал на собрании, где обсуждалась «борьба с религией», сам в этой борьбе не участвовал. За что был благодарен Микуличу: тот сразу двинул его в Угро, уголовный розыск, сыск. Дело для Сеславинского было новое и не столь романтическое, как предполагал он поначалу. Уголовщина обернулась такой немислимой, непредставимой грязью, что Сеславинскому казалось иной раз, что все это ему привиделось в каком-то дурном и пакостном сне. Но вот в кабинет, где работали за столами следователи, отворялась дверь, и веселый голос помощника начальника Угро выкрикивал: «Сеславинский, на выход!» Это означало, что внизу уже стоит оперативный автомобиль с бригадой вооруженных мальчишек из «особого отдела» и надо срочно мчаться на очередное убийство, ограбление магазина, меняльной конторы, рабочей кассы... Выяснялось, что за такими знакомыми фасадами домов на Васильевском прячутся вторые и третьи дворы с какими-то темными и вонючими переходами, перелазами через дровяные сараи и конюшни, и все они могли огрызнуться револьверным или винтовочным выстрелом, приманить детским криком, чтобы из-за угла ударить финкой в сердце, прикинуться нищенкой, чтобы протащить мимо милиционеров упаковки кокаина. Открывались входы в дворничьи, из них — люки в подвалы, где копошились в темноте и грязи слепшие от света милицейских фонарей мужчины, женщины, дети... Все это человеческое месиво кричало, пищало, закрывалось от света, умирало от туберкулеза, тифа, страшных язв и гниющих ран, запах которых заставлял терять сознание даже бывалых сотрудников Угро. Из «бывших». Они, кстати, держались дольше, хотя и признавали, что «в наше время» ничего подобного не видали. А «бывших» в Угро оказалось немало. Начиная с начальника, того самого Аркадия Аркадьевича Кирпичникова, которого среди своих бесчисленных знакомых припомнила как-то тетушка Сеславинского Зинаида Францевна.

Сеславинскому иногда казалось, что сухой и сдержанный Кирпичников готов был признать его, фамилия-то недавно присланного из Чека нового сотрудника уж больно знакома, но беседы с начальником дальше служебных надобностей не шли. Кирпичников рискнул привлечь в Угро бывших сотрудников сыска. Впрочем, после того как на сходняке урок было решено сжечь архив сыска и архив сгорел дотла, необходимость в присутствии «бывших» уже сомнению не подвергалась: они по памяти восстановили основную его часть. Сведения о сотнях уголовников: фамилии, многочисленные клички, их квалификацию (карманники, домушники, медвежатники-килечники, марвихеры, фармазонщики, невиданные никем шопен-филлеры), «ходки» — когда, куда, за что и с кем из однодельцев, имена их шмар, марух, адреса малин... — тысячи и тысячи точнейших данных перекочевали из припудренных сединой голов в новый, свеженький архив Петроградского Угро. Бывшие гимназисты, студенты, солдаты, не снявшие еще обмоток, рабочие с окраин, бог весть как собравшиеся вместе на третьем этаже старинного здания на Адмиралтейском проспекте, с удивлением слушали, как немолодые, солидные люди «ботали по фене», припоминая какие-то события и персонажей, сошедших, казалось, со страниц Шкляревского и «гения русского сыска сыщика Путилина». И только когда странные и страшные персонажи всплывали вдруг из уголовно-революционной мути, пьяные, накакаиненные, озверевшие, как волки, сунувшие лапу в капкан, отстреливающиеся, прикрывающиеся детьми, как щитом, — только тогда становилось видно, что эти «старички» и «бывшие» спокойны и хладнокровны, умелы и разумно бесстрашны. И как выгодно отличаются они от нервной, взвинченной, озлобленной и интригующей массы новичков, сражающихся не столько с нарастающим уголовным валом, сколько между собой — за близость к начальству, влияние и те десять-пятнадцать процентов

прибыли, которые перепадали штатным сотрудникам Угро от денег, возвращенных в казну или ограбленным частникам.

Сеславинский особенно раздражал молодежь — и против него интриговать было легко: бывший офицер, да еще прикомандирован из Чека.

— А кто он, кто, что мы должны ему доверять? — услышал он однажды, войдя в общий зал. Спиной к нему перед десятком «молодых» выступал Александр Ульянов, рабочий-партиец со «Скорехода». — Он с белых офицеров, говорят, корпус какой-то пажский закончил, а мы у него под началом ходить должны? А приказания отдает кто? Кирпичников Аркадий Аркадьич! Тоже из бывших, из старого сыска! Нас партия учит одному: не спрашивай, виноват он или не виноват, не спрашивай, участвовал или нет, а спроси — какого он происхождения, какого образования, и больше никаких вопросов задавать не нужно!

Сидевшие лицом к Сеславинскому делали Ульянову разные знаки, но тот то ли не замечал, то ли сознательно не хотел видеть, какие рожи строили они, заставляя обернуться.

— Классовая борьба, как нас Маркс учит, только начинается, и если мы в своих рядах не вытравим контрреволюцию, масса трудящаяся нам не простит! — он обернулся и торжествующе смотрел на Сеславинского. — Мы у себя змею контрреволюции греть не будем!

В тишине Сеславинский подошел к столу, возле которого стоял Ульянов.

— В чем вопрос, Александр Васильевич? — от мгновенного напряжения он даже вспомнил отчество Ульянова, которого, казалось, никогда не знал. — Где вы контрреволюцию нашли?

— Да в тебе, — ухмыльнулся Ульянов. — Третью облаву выходим, наших двух уже подстрелили, а бандитов все взять не можем! Может, кто стучит им? Из наших?!

Сеславинский впервые вдруг понял, что такое «социально близкие» и наоборот. И был отчасти благодарен «сороходовцу» Ульянову за то, что тот раз и навсегда отучил его от дворянско-интеллигентского сюсюканья с народом, от которого не смогла отучить даже война. «Народ-богоносец; мы, дворяне, все виноваты перед народом...» И вот он стоял перед Сеславинским, ухмыляясь, народ — «сороходовец» Ульянов, а другой народ — сброд сидел на поломанных венских стульях, дымил самокрутками, плевал на наборный паркетный пол и давил «бычки» дырявой подошвой башмаков. Сеславинский помнил, как не далее чем вчера к нему подошел «спец из старых» Алексей Андреевич Сальков, начавший уже восстанавливать справочный и регистрационный отделы Угро, и, глядя чуть в сторону, сказал: «Боюсь, будет атака на вас, Александр Николаевич. От наших. Хотят бучу поднять против спецов и «бывших». Вы — первый. Как дворянин и выпускник Пажеского корпуса».

Сеславинский отреагировал не сразу — он все еще чувствовал сотрудников Угро своими, людьми, соединенными грозным делом в особую семью. Как воспринял Сальков эту паузу в разговоре, Сеславинский не понял, но информацию, которую скороговорочкой пробормотал Сальков, запомнил. Эта «скороговорочка» сейчас, в момент атаки Ульянова, пришлась к месту.

— Значит, по-вашему, контрреволюция — это я? — Сеславинский скинул кожанку и повесил ее на спинку стула.

— Это не по-нашенскому, а по Марксу!

— Может быть, вы скажете, в какой работе Маркса это написано? — Сеславинский медленно снял ремни офицерской портупей, расстегнул ворот гимнастерки. — Сколько я знаю, все ваше знакомство с Марксом основано на тех двух занятиях, которые я проводил с сотрудниками Угро.

— Мне ваше образование не нужно, — Ульянов уселся возле стола и закинул ногу на ногу, щеголяя настоящими «сороходовскими» козловыми сапожками. — У меня социальное чутье есть. Как вы учили! — он засмеялся, повернувшись к «молодым», как

бы ожидая их поддержки. И тут же кое-кто в зале хихикнул. — У нас, в Московско-Нарвской заставе, сощьяльному чутью с детства в цеху учат!

— А мое социальное чутье вот где! — Сеславинский резко повернулся спиной к сидящим в зальчике и задрал гимнастерку вместе с нижней рубахой. Левая часть спины и бок были иссечены багровыми шрамами-рубцами. Между которыми сизо-черные пороховые пятна-полосы расчертили бесовскую татуировку.

— Я после окончания корпуса был распределен в гвардию, — Сеславинский повернулся к притихшей аудитории, медленно и спокойно заправляя рубашку в брюки, — но по личной просьбе был направлен в действующую армию. Служил в артиллерии и разведке. Дважды ранен и контужен. Год провел в госпиталях.

— В поезде императрицы Александры Фёдоровны?

— Да, сразу после второго ранения был вывезен именно в ее санитарном поезде.

— И дочки царские за тобой ухаживали?

— Я был без сознания более двух месяцев, а потому не знаю, кто выхаживал меня в это время. Может быть, и царские дочери. Они были при этом поезде сестрами милосердия. Но я кровью своей заслужил возможность жить и чувствовать себя полноценным гражданином своего отечества. И в том числе — служить в Угро. Бандиты были во всех государствах и при всех социальных устройствах. И, думаю, будут еще долго. Вот почему я здесь и почему борюсь с бандитами. А что такое ваша «контрреволюция» — я не понимаю. Думаю, и вы тоже.

— По-твоему, Угро — вне политики, вне классовой борьбы? — выкрикнул из дальнего ряда комиссар Угро Бельков.

— Чем меньше политики будет в Угро, тем лучше, по-моему.

— Вот это да-а-а, — протянул Ульянов, поворачиваясь к «молодым». — Приехали... контра уже прямо под носом у нас, а мы ее где-то на Васькином острове ищем... — он с приказчиным шиком погасил самокрутку о подошву. — А насчет того, чтоб два месяца без сознания быть... Свежо, как говорится, предание, а верится с трудом! — Ульянов мигнул молодым, как бы показывая: как я с бывшими-то балакаю? И спуску — ни на грош!

— Вот что, Александр Васильевич, — Сеславинский почувствовал отвратительный басовый гул в голове, донимавший его после первой контузии, — я вижу, вы как-то особенно хотите выставиться перед сотрудниками и мишенью для этого избрали меня! Напрасно! Потому что вам тогда придется ответить перед всеми товарищами на несколько моих вопросов! — Сеславинский старался, чтобы отвратительная рожа Ульянова не расплывалась в глазах от гнева, стянувшего голову обручем. — Вот первый вопрос (Боже, как пригодились «скороговорочка» Салькова!) — расскажите товарищам, как и почему вы не попали в мобилизацию четырнадцатого года? Напомню, я тогда добровольцем пошел на фронт. И не в гвардию, на что имел полное право, а в пехотную дивизию!

— А мне что скрывать? — Ульянов откинулся на спинку стула, широко расставив ноги. — У меня во всех документах это прописано. Щас вот в партию прошение подал, так там тоже прописал. В четырнадцатом году был арестован за организацию забастовок на «Скороходе», осужден по политической и выслан за реку Акатуй! Плохо вы там у себя в Чеке работаете, если даже этого не знаете! — он хохотнул, весело поглядывая в зал.

— Мы работаем неплохо, — Сеславинский старался не повышать голос, — а потому знаем, что в четырнадцатом году вас действительно арестовали и выслали. Но не в Акатуй, а в Пермскую губернию. И не по политической статье, не за политику, а за воровство с фабрики «Скороход». И фамилия ваша, Александр Васильевич, была не Ульянов, чем вы гордитесь, как бы намекая на дальнейшее родство с вождем пролетариата, а Урванов. Что вы скрываете и по сию пору!

— Что?! Ну ты ответишь за это, контра! — Ульянов дрожащими руками принялся вытаскивать пистолет.

— Я готов отвечать, но только по-революционному, перед товарищами. На открытом суде. А если ты хочешь по-уголовному, — только тут замерший на миг зал заметил в руке Сеславинского «люггер», который он держал на уровне бедра, — я готов и к этому! — и вышел из зала, пройдя мимо бьющегося в истерике Ульянова. Того с трудом удерживали трое крепких сотрудников.

— Неприятная история, — задумчиво сказал начальник Угро Кирпичников, к которому Сеславинский зашел сразу после скандала с Ульяновым. Он разглядывал Сеславинского с некоторым интересом, будто видел его впервые. — Только что мне сообщили, что готовится приказ о моем переводе на должность заместителя начальника Угро. А начальником, судя по всему, планируют поставить Ульянова. Как человека «из рабочих» и с дореволюционным тюремным стажем. — А откуда у вас информация по Ульянову? Сальков?

— Точно так! — кивнул Сеславинский.

— Узнаю Андрей Алексеича! — засмеялся Кирпичников. — У него мышь не проскользнет, чтобы отдельной записи в архиве следственного управления не оставить.

Кирпичников помолчал, поигрывая пальцами на столе и даже, кажется, напевая какую-то веселенькую мелодию в усы.

— Придется, кажется, воспользоваться личными связями, — проговорил Кирпичников, снимая трубку. — Соедините меня с Москвой, с Дзержинским, — сказал он секретарю, — Скажите, Кирпичников из Петроградского Угро. Прошу полминуты! — И кивнул Сеславинскому, чтобы тот не выходил.

Вопрос о лже-Ульянове с Дзержинским был решен даже быстрее, чем в полминуты.

— Пока что личные связи действуют лучше, чем официальные представления, — Кирпичников вздохнул. — Подготовьте вместе с Сальковым, я ему позвоню, материалы по этому «Ульянову». А мне, представьте, он поначалу даже понравился. Бойкостью, — он покачал головой, как бы сетуя на свою оплошность. — Стареем-с... — И прищурился: — Вы ведь племянником генералу Либиху Францу Францевичу будете? Папеньку вашего коротко не имел чести знать, хоть и встречались не единожды, а вот с Францем Францевичем приятельствовали. И даже в ваше ярославское имение ездили поохотиться. На зайцев. С гончими. Так он чуть было моего гончака не пристрелил. Охотник был неважнецкий, Франц Францевич, не тем будь помянут.

Кирпичников кивком отпустил Сеславинского.

— Да, Александр Николаевич, — уже в дверях приостановил он Сеславинского. — К делу уже не относится, — он по-кроличьи дернул носом, и Сеславинский сразу вспомнил, что «кролик» было его домашнее шутовое прозвище, — но знать бы надо... Урванов-Ульянов был с шестнадцатого года нашим платным агентом.

Глава 17

У Якова Михайловича Свердлова, малорослого, худого, интеллигентного человека с маленькими глазами, прятаншимися за стеклами пенсне, и тихим голосом, по общему мнению, не было недостатков.

Бокий, вызванный в Москву Яковым Михайловичем, приехал за сутки до назначенного срока и за это время перетряхнул всех, кто имел контакты со Свердловым. Почему-то маленького человека с тихим голосом окружающие боялись больше, чем Ленина. Кстати, голос был тихим в обычном разговоре. На трибуне прорезался трубный бас, перекрывавший шум толпы. За это партийцы особенно любили выставлять его на митингах. Он говорил без рупора. И обладал чудовищной, невероятной

памятью. Неслучайно еще в Петрограде его заметил Ленин, впервые услышавший о Свердлове только в апреле семнадцатого: тот помнил наизусть всех партийцев, помнил, кто в какой ссылке находится, помнил по именам жен, детей и бездну разных семейных, домашних, прочих обстоятельств. Причем помнил, что особенно понравилось Ленину, не как попугай, таскающий бумажки из ящичка, а с прицелом: как и кого можно использовать в революционном деле. Учитывая все эти самые обстоятельства. Известные и тайные. От рассказов о «тайных» Ленин иногда брезгливо морщился, но слушал с интересом. Революционному делу, как он иной раз по-старинке называл восстание, тайные обстоятельства могли пойти на пользу. А когда оказалось, что этот малыш (они одного роста, но Ленин крепко сбит, довольно широкоплеч) фено-ме-нально (одно из любимых словечек Ленина) работоспособен, напорист и готов не только руководить массами, но и организовать любое дело, вождь просто влюбился в него. Как надоели болтуны, любившие покрасоваться на митингах! Именно с подачи Ленина Яков Михайлович возглавил ВРЦ (Военно-революционный центр).

Окружение Ленина для Бокия — оккультиста, мистика и опытного психолога (не зря он поучился в психологической лаборатории доктора Мокиевского практическому гипнозу) — особой тайны не составляло. Их тайные мысли, страстишки и пороки ясно читались профессиональным оком во всем: в манере говорить, выступать на митингах и партийных собраниях, во взглядах на проходящих женщин, в том, какое авто они заказывали себе, в тихих битвах за пайки, в более громких — за должности и звания, которые они сами и выдумывали, в одежде... «В одежде...» — Бокий выглянул в окно. Он сидел в своем прежнем лубянском кабинете. Закатное весеннее солнце позолотило купол старинной Введенской церкви. Бокий был единственным чекистом, который открыто и даже с вызовом заходил в храм, благо тот был поблизости. Старый храм особенно любил воевода Пожарский. И жаловал ему список иконы Казанской Божьей Матери в окладе с жемчугами, когда подлинную Казанскую Богоматерь торжественно перенесли в только что отстроенный для нее храм на Красной площади. Бокий припомнил, как тряслись руки у батюшки, который ему все это рассказывал, и улыбнулся. «Боятся, боятся, что Чека им встречу с Господом ускорить может, — он закурил, подошел к окну и распахнул тяжелые рамы, — значит, нагрешили много!» Говорливый батюшка по случаю Пасхальной недели был в шелковой лиловой рясе. «В шелковой лиловой рясе...», — вот где ключ! — мелькнуло в голове. Он знал еще по знаменитым психологическим опытам Бехтерева, что для того чтобы найти решение, надо освободить мозг от старой информации, создать «мозговой голод», переключить его на что-нибудь отвлеченное. Прав, прав был старик! Прочиталась легко цепь: ряса, богатая шелковая ряса на священнике, специально для него заказанная, — и совершенно удивительная, придуманная Свердловым одежда. Как не пришло раньше! Придумал себе особую одежду: черная кожа с ног до головы! От сапог до кожаной фуражки. Это потом от него, Свердлова, подхватили моду на кожанки все — партийцы, военные, чекисты... Но придумал-то Свердлов, и кожанку не снимает, даже сидя в Совнаркоме! И сапоги, сапоги... Не зря мудрый Мокиевский говорил, что сапоги, сапожки, туфельки могут рассказать о человеке больше, чем он сам о себе знает... А ведь в сапогах Свердлова и впрямь была какая-то странность... Бокий прикрыл раму и вызвал звонком помощника. «Подскажите-ка, товарищ Калминыш, нет ли поблизости сапожного мастера? Прохудились сапоги, завтра идти к руководству, неудобно... Не знаете? Плохо! Узнать сейчас же, срочно, у кого чинят и шьют сапоги наши работники. Срочно, я жду!»

Калминыш появился скоро. «Тут неподалеку сапожник. И ремонт, но больше шьют у него. Говорят, вся Москва ездит. Доставить?» Бокий посмотрел на громадные напольные часы, чудом сохранившиеся со времен страхового общества «Россия». «Не надо. Большой Головин переулочек, это ведь на Сретенке, рядом?» «Прошу извинить, товарищ, я еще Москву, возможно, изучил нехорошо... Я только знаю дом напротив,

я там живу...» «Ах, да, — спохватился Бокий. — Скажите, чтобы машину, мой «Паккард», подали. Я через три минуты спущусь!»

Он помнил этот переулок. Налево, не доезжая до старого электросинематографа «Уран». А дом? Бокий взял бумажку, оставленную помощником. О, да это в самом начале переулка, возле Трубной. Это его позабавило. Трубная улица — старинный райончик «веселых домов» в Москве. После ужина в «Эрмитаже» в свое время закатывались «на Трубу», к девочкам.

Открытый «Паккард» свернул со Сретенки и, мягко покачиваясь на булыжнике, пошел вниз, к Трубной. Было не по-майски тепло, накатывали запахи дымка, вкусной праздничной стряпни, сумасшедшие волны черемухи, где-то одну и ту же музыкальную фразу наяривала гармошка, а над домами, прорываясь между ними, отражаясь от каменных стен и проваливаясь в палисадники, гудел радостно — дурацкий, восторженный пасхальный перезвон. Внизу, ближе к Трубе, потемнело и похолодало. Бокий попробовал было рассмотреть номера домов, но шофер притормозил возле дворника, почтительно вскочившего с тумбы. «Во втором, во втором дворе оне живут! — перепуганный дворник засеменял рядом с Бокием и сопровождающим в чекистской кожанке. — Ни пьяных, ни хулиганов здесь не водится. Мастеровые больше. Это там вот, — он махнул в сторону Трубной, — там — да, всякое бывает. А у нас что? — он застучал кулаком в дверь, обитую мешковиной. — Савелий, отворяй, гости к тебе!» — и дернул незапертую дверь. Пахнуло теплым запахом старого жилья, кожи, табака и водочного перегара.

Сапожник Савелий, как и положено сапожнику в Пасху, был пьян. Но соображения не потерял и быстро понял, что от него требовалось Бокию. Особенно, когда тот высрал на улицу сопровождающего. Хоть чекист и бросал выразительные взгляды на целый ряд косых пиратских ножей на стене, за спиной старика. Ножи были аккуратно вложены за строганую реечку над его головой.

— Давно с чекистами работаете? — Бокий сосредоточился на серых, чуть стеклянных от водки глазах, заставляя собеседника опустить взор. Это — простое первое правило. Обозначить главенство.

— Дак еще с жандармского управления знакомство вожу. Остались люди-то, понадобились, — сапожник отвечал спокойно, глядя прямо в глаза Бокию. Первое правило не сработало, дядя был не так прост.

— С жандармами работал, теперь с чекистами, — чуть нажал Бокий, давая старику прочувствовать вину.

— Дак сапоги-то все носят. Что чекисты, что артисты.

— И артисты бывают?

— Не босым же артистам ходить! — как бы удивился сапожник. — Им разное: и на выход лакиши, а где сейчас лак хороший возьмешь! — и на каждый день, что попроще да покрепче...

— А большие начальники...

— И к этим, бывает, возют...

Бокий вытащил плохонькое, жандармского управления еще фото Свердлова.

— Знакомы с ним?

— Знаком не знаком, они в заказчиках у меня.

— Подписку в жандармском управлении давал? — Бокий почувствовал, что со стариком, хотя тот не особенно и старик был, надо говорить прямо. Вряд ли охранка его не заарканила. Уж больно хорош для агента.

— Я, гражданин начальник, за жисть столько подписок-расписок надавал, что и на страшном суде не припомнить.

— Хорошо. Я — Бокий, Глеб Иванович. Начальник спецотдела Чека. Сейчас дадите мне главную в жизни расписку. О неразглашении — раз, о работе со мной — два. В случае чего, — Бокий как бы пощупал локтем оттопыренный револьвером карман. — А если уже подписывали бумагу о работе с кем-то с Лубянки — скажите.

С умными людьми всегда приятно иметь дело. Сапожник был человек умный, и через полчаса Бокий получил сведения обо всех его клиентах. Тренированная память Бокия легко отсортировала информацию, выделив главное в данный момент: старик шил Свердлову особые, редкие сапоги, а сын его, тоже кожевенный мастер, с женой-шляпницей шили председателю Совнаркома кожанки, кепки нижегородского форса и даже не виданные в Москве кожаные штаны. Для этого возили и старика, и сына в рабочий кабинет в Кремле и на дачу в Останкино. А курировал от Чека эти мероприятия и завербовал сапожника заместитель Дзержинского, Петерс («черный, лохматый, губами все время жует!») Это был их почерк, правильный: всякий встречный должен в идеале стать нашим агентом.

И с сапогами глазастый Бокий не ошибся. Старик шил Свердлову сапоги на особой, невидимой платформе и со специальным каблукком. Бокий даже подержал в руках колодку. Каблук должен быть высотой никак не меньше десяти сантиметров. Bravo, bravo, господин Мокиевский, эти сапоги и верно говорили больше, чем знал о себе их хозяин!

Маленький человек с трубным голосом трибуна. В коже и сапогах, делающих его на десять сантиметров выше. Это прямой пациент для Бехтерева! Комплекс Наполеона и садиста, припрятанный за фальш-стеклами пенсне!

«Паккард» скатился вниз, до Трубной, свернул направо — из угловой Филипповской булочной донесли ванильные пасхальные запахи, прошел по куску торцевой мостовой и замер возле ажурной, затейливой металлической ограды. Две разлапистые черемухи свесили за ограду громадные, похожие на виноградные, гроздья, скрывая основательный деревянный дом. Двухэтажный, с островерхой башенкой и боковым флигелем-пристройкой.

— Здесь не маячь, — кинул Бокий шоферу, — подожди на бульваре.

«Веселый дом», хоть немного и потревоженный большевиками, жил своей праздничной жизнью. Сверху доносился граммофон — модное немецкое танго «Мари», внизу по обыкновению брэнчало фортепьяно, там танцевали и смеялись. Свет от нижних окон падал на цветущие — одни цветы, без листьев, — вишни, похожие на декорации к чеховскому спектаклю в Художественном. Бокий прошел по дорожке, усеянной лепестками, большое, чуть кривоватое крыльцо было знакомо ему. «Ничто не меняется в этом мире», — усмехнулся он про себя, поднимаясь на скрипнувшее крыльцо. И ошибся. Сразу же в сенях его встретил вышибала в косоворотке, подпоясанный шнурком. Чего раньше не бывало.

— Не велено посторонним, звиняйте, — сказал вышибала, перекрыв вход в прихожую, откуда неслись веселые девичьи голоса. — Господа гуляют, снято все до утра!

— К хозяйке проводи, мурло! — Бокий стоял, сунув руки в карманы длинного, потрепанного уже английского плаща.

— Не можно... — начал было вышибала, но как человек опытный быстро переменял тон, взглянув в глаза Бокию. — Не извольте беспокоиться, господин хороший. Милости просим сюда, — он распахнул боковую дверь. — Позвольте проводить... — и повел хорошо знакомым коридором в сторону флигелька. А через минуту в «зимний сад», состоящий из трех пыльных пальм и цветущей китайской розы, впрорхнула и сама «мадам».

— Дорогая, — Бокий поднялся со скрипучего плетеного кресла, — у меня к вам необычная просьба. — «Мадам», привыкшая к самым неожиданным просьбам, нисколько не удивилась. — Не хотелось бы отвлекать вас от сегодняшнего праздничного вечера, — разговоры с хозяйками «заведений» имели свою специфику, — но мне сегодня, обязательно сегодня, нужен флакон самого лучшего мужского одеколона. Английского. С запахом кожи.

В глазах «мадам» он легко прочитал: «Что за фрайер объявился?» — и лишь ее многолетняя выучка спасла Бокия от энергичной информации о своей матери и ближайших родственниках, занимающихся испокон века не совсем благовидными, как кажется ей, «мадам», делами. Та же выучка, а может, и словечко, молвленное вышибалой (он, видел Бокий, стоял за чуть приотворенной дверью), заставили «мадам» улыбнуться и сообщить, что у них не магазин, а «заведение», и он обратился не по адресу.

— Мадам, — улыбнулся в ответ Бокий, — этот адрес я знаю с одна тысяча девятьсот четырнадцатого года, когда вы еще только начинали свою карьеру в Самаре. Или в Рыльске? — он повысил голос. — В Богородске? — Бокий просверлил ее глазами гипнотезера.

— В Ливнах, — сказала «мадам», почему-то смущаясь.

— Прекрасный город, — Бокий не сводил с нее глаз. — С большими революционными традициями. Верно?

— Да, — «мадам» никак не могла решить, покраснеть ли ей или свистнуть вышибалу. Но выбрала первое, хотя и не была уверена, что гость оценит это.

— Мне нужен самый лучший, настоящий английский мужской одеколон! — он подчеркнул самый «лучший» и «настоящий». — Называется Royal English Leather. «Английская королевская кожа».

— Где же взять такой, товар уж не возят, считай, год, — Бокий понял, что он не ошибся адресом. «Веселые дома» не изменились. В них, как всегда, можно заказать все.

— И обязательно сегодня. Не позднее, — он взглянул на свои знаменитые, переделанные из карманных, золотые часы. Единственное, что он позволил себе взять из наследства бешеного барона Унгерн-Штернберга. — Не позднее четырех утра. Все будет оплачено, мадам, — и снова обаятельно, как он это умел, заулыбался. — А доставить флакон нужно... Вы знаете куда, мадам?

— Нет, — голосом бывалого унтера ответила «мадам».

— На Лубянку, если вас не затруднит, — он вытащил блокнот, американской автоматической ручкой написал цифры телефона и показал листок даме. — Запомните, — и скомкал бумажку. — Центральный вход. Часовому — наружному и на посту внутри скажете: «Я к Глебу Ивановичу». Это как раз я и буду.

Наверху взвизгнули, послышался какой-то шум, удар, будто бы кто-то рухнул с лестницы, но «мадам» даже не повела бровью.

— Проследите, чтобы без подделки, я этого не люблю! — Бокий достал из кармана двадцатидолларовую бумажку и вложил в специальный, известный постоянным клиентам кармашек на груди «мадам». Бумажка была гениальной подделкой Менжинского. Их брали даже в германском казначействе, пока свинья Ганецкий не настучал на своего давнего недруга Менжинского, служившего к тому времени консулом Российской республики в Германии. — Если к четырем утра одеколону не будет, — Бокий, все еще улыбаясь, наклонился к ней, — я твоё паучье гнездо сожгу. Ровно в пять. Вместе с гостями.

— Будет, господин... господин Глеб Иванович... — она засеменила, провожая его к двери. — Будет! — и у самой двери, уже в спину. — Меня Марьей Николавной зовут, если что...

— Вот и хорошо, — обернулся Бокий. — Адье, Марья Николавна! До скорого!

Он прошел мимо замерших декораций из цветущих вишен, поморщился и чихнул — так сильно пахла черемуха у забора. Она напоминала ему запах глициний в Монтре, где он отдыхал с женой и маленькими дочками. «Сапоги скажут больше, чем он знает о себе сам!» Браво, браво, Мокиевский! Знает ли маленький человек в сапогах на высоком каблуке, что самый лучший, самый настоящий английский одеколон «Королевская кожа» для него будет раздобывать «мадам» из «веселого дома»? Бокий вздохнул. Боже мой, Россия, Россия... Если бы тогдашним товарищам по отдыху в

Монтре показать этот публичный дом со скрипучим крыльцом, они бы поумирили от смеха!

Остаток ночи Бокий посвятил изучению биографии Свердлова. И снова восхитился работой охранного отделения. Иной раз даже он не мог понять, как раздобывались сведения. Но — раздобывались, проверялись и перепроверялись, писались отчеты — и какие! Это были равнодушные люди, они болели за партии, комитеты, союзы и т.д., которые находились под их контролем, переживали внутренние распри как свои семейные, огорчались неудачам и радовались победам лидеров. Будь это даже простенькая победа Ленина над бундовцами на втором съезде партии в Лондоне. А ведь свара завязалась еще в Стокгольме, откуда их, впрочем, выставили. Какая прелесть! Какая точность! Какие комментарии, — будто сидишь рядом с ними в гнусном шведском крысином сарае!

Бокий с сожалением закрыл папку — жаль, что все это к Свердлову не имело прямого отношения. Захватывающее чтение! Конечно, и о Свердлове есть кое-какая литературка. Хотя и немного. Но хорошо — с ретроспекцией. Начиная от папеньки. Тоже фруктец был на зависть. Собственный дом в Нижнем, да еще в центре, на Большой Покровке, и скромная граверная мастерская. Тут все — вывески, печати, штампы... А настоящая работа, тонко подметил агент, начиналась с Макарьевской ярмарки. Задолго до ярмарки внимательная и осторожная полиция перекрывала вход и въезд в Нижний «беспачпортным» и прочим, «кому въезд и проживание в столицах и иных городах запрещен...» А как запретишь, когда весь воровской люд на Макарьевскую собирался, как на праздник? Ведь и «обчество» воровское не дремало, у всех свой промысел: кто «картеж», игры на ярмарке организует, кто в заведения и на «Самокаты» девиц привозит, кто лошадиников с цыганами сводит, кто зерно старое, гнилое, с половой за новый урожай продает, — и все, все под присмотром. А как от ока полицейского уйти? Да просто! Надо документ выправить. И все знали — где выправить. В граверной мастерской на Большой Покровке. У Мовши Свердлова. Конечно, была у него и другая фамилия, якобы Розенфельд, да в свое время зачем-то выправил он и себе документец, стал именоваться Свердловым. А в мастерской его документ любой можно было получить — плати только! И цены хозяин брал божеские. Не хотел с воровским «обчеством» ссоры заводить. Но и с полицией не задибался особо, умел дела обустроить. А если кому надо, то и запасной, тайный ход в доме имелся. И не один. Для «чистых» — был ход через мастерскую известного в Нижнем ювелира, для прочих — черный ход возле сортира, а для особых — ход-лаз через общий с почтенным ювелиром чердак, — и гуляй в сторону Волги.

Отдельная песня — революционеры всех мастей, которых (и доморощенных, и прибежных) в рабочем и торговом Нижнем было в достатке. А для граверной мастерской что ни революционер, то доход. Они документы меняли чаще, чем добрый мужик в баню ходит.

Любопытно, что в документах-доносах, из которых предполагалось сложить будущую историю революции, исчезли меньшевики, социал-революционеры, бундовцы, остались только «закаленные ленинцы» вроде Петра Заломова, Александра Скороходова, Дмитрия Павлова, Ивана Чугурина да еще кой-какие фамилии, Бокию совершенно неизвестные. Ясно, что кто-то уже прошелся по документам, «подчистил» их. Это становилось интересным, Бокий любил сильных противников. Конечно, самое интересное — превращать, хотя бы на время, противников в партнеров, вот в чем высший смысл столь ценимых Бокием восточных учений. Он, казалось, даже уже полюбил Свердлова: без любви сильного противника победить нельзя. Тут Бокий был совершенно согласен со стариком Конфуцием.

А вот с детьми, судя по документам, Мовше Свердлову не очень везло. Особенно со старшими мальчиками. Первенец, Завей (Зиновий), отказался учиться дальше, а должен был стать раввином (не иначе отмаливать отцовские грешки). Мовша попробовал

приспособить его к своему делу — тоже мимо. Зиновий не умел работать с клиентами, особенно с теми, из «общества», из-за Канавки. А это — большой доход. Хорошо, Янкель (Яков) оказался мальчик с умом. Но — тоже беда, не захотел идти в пятый класс гимназии! Он что думает себе, что уркачи из «общества» примут его, еврея, к себе? Пока принимают, но не потому, что ученик провизора из Канавинской аптеки так уж им нужен, принимают из-за почтенного родителя... Но оказалось, что худосочный Янкель умеет постоять за себя и за свое дело. Прежде договорился с отцом, что его дело — это его дело. И расчеты должны быть не по-семейному: хочу — дам тебе денег, не хочу — делай долги у барышень из «Самокатов». Да-да, с пятнадцати лет начал шляться, хорошо, матери Бог закрыл на это глаза: умерла. (В доносе помечено особо, что ни Зиновий, ни Яков на похороны матери не пришли.) Зато главное дело Янкеля (то, с чем не смог управиться Зиновий) — подгонять с Макарьевской ярмарки клиентов в отцовскую мастерскую — процветало. Как находил малолетка Яков общий язык с матерыми уркачами, не могли понять ни отец, ни дотошный агент охраны. Но — находил. И даже верховодил какими-то группами «шелобаев», как помечено в доносе, устраивающих беспорядки на улицах. За что будущий Яков Михайлович и подвергся первому недельному аресту. Кстати, пострадал тогда же и дружок Яши, Владимир Лубоцкий (и тоже сын приличных родителей!), а ныне — Владимир Загорский, председатель Московского комитета РСДРП. Он-то и отмечал (агент донес и это!), что Яков в камере встретил знакомых, весело с ними общался и даже «сидел на ихних воровских нарах, по-ихнему скрестив ноги».

Звякнул телефон — Бокия вызывали к прямому проводу из Петрограда. Бокий вышел в коридор, прикрыв аккуратно дверь, прошел в аппаратную. Дежурный телеграфист смотрел на него, дико хлопая заспанными глазами. На полу вились змеями ленты аппарата Бодо. Старенького, со времен страхового общества, но безотказного. На прямом проводе был начальник отдела Петрочек Бобырев: «Сообщаю, Варвара выехала в Москву. Поезд ожидается прибытием 4-00 утра». Каким бы идиотом Бобырев ни был, а в хватке ему не откажешь. Старая школа охранного отделения. Не-ет, нам есть куда расти. А то, что зашифровал сообщение хотя бы своим личным бесхитростным шифром, — это уже заслуга моя. Если зайца долго бить, можно и его выучить... Но сообщение было архиважнейшим. И прибудет любезнейшая гримза Варвара Николаевна ровно в четыре утра. И «мадам» доставит одеколон к четырем! Фай! — Мистик Бокий любил совпадения. И знал, верил, что ничего случайного в жизни не бывает.

Бокий вернулся в кабинет, быстрым взглядом проверил, на месте ли бумажка-закладка в дверях, которую он всегда оставлял, уходя даже ненадолго. «Не думай, что тигр не вышел на охоту, если солнце еще не село», — так, кажется, завещал наш великий учитель.

— Оперативную группу ко мне, — приказал он никогда не спящему Калминышу.

Так задержали на Николаевском вокзале гражданку Новгородцеву (один из псевдонимов Варвары Николаевны Яковлевой, заместительницы Бокия). Задержали для проверки документов. (Села в первую же пролетку и адрес назвала. Адрес проверили, оказалось — конспиративная квартира). «Тупые милиционеры» чуть не три часа изучали документки на имя Новгородцевой, частной учительницы, — что-то уж больно походили на фальшивые. Но отпустили, незаметно вернув в ее дорожную корзинку временно изъятый доклад на имя Свердлова. Который Бокий прочитал и частично законспектировал. Шифруя записи без кодов, по памяти. После «печального инцидента» перед Новгородцевой извинились, но попасть на прием к Свердлову раньше Бокия Варвара Яковлева уже не могла.

(Продолжение в №№ 6, 7 за 2017 г.)

Александр Габриэль

Весна как жизнь

Факультет

Не веруй в злато, сказочный Кошей,
и не забудь в своём азарте рьяном
про факультет ненужнейших вещей,
в котором ты работаешь деканом.
Там старый велик, тихий плеск весла;
от бабушки — смесь русского да идиш...
Смотри, что отражают зеркала:
неужто то, каким себя ты видишь?
И связь времён не рвётся ни на миг
согласно философскому догмату.
Вот груды: со стихами черновики
и порванный конспект по сопромату.
А дальше — больше. Связка мулине
(зачем?) и писем, памятных до дрожи,
рисунки сына (явно не Моне)
и аттестат (на английском, его же).
От вздоха, от тоски не откажись:
в любом пути есть время для антрактов...
Ведь что такое прожитая жизнь,
коль не набор бесценных артефактов?

От памяти почти навеселе,
вернись к себе, туда, где сопроматов
и писем нет. Лишь кофе на столе,
где рядом — Чехов, Кафка и Довлатов,
где в том углу, в котором гуще темь,
где воздух вязкой грустью изрубцован —
в нехитрой черной рамке пять на семь
на стенке фотография отца.

Габриэль Александр Михайлович — поэт. Родился в 1961 году в Минске. Окончил Белорусский национальный технический университет по специальности инженер-теплотехник. Автор 4-х книг стихов, в том числе «По прозванию человеки» (С.-Пб, 2015). С 1997 г. живет в США, в Бостоне. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Крокус

Ладно, червяк на леске, лопай свой чёрствый бублик...
 Помнишь Союз Советских собранных в сплав республик?
 Как далека Европа! Брежнев нахмурил бровки.
 Мы — огоньки сиропа в дьявольской газировке.
 Утром — батон да каша. Ярок на клумбе крокус...
 Что ты так, юность наша, страшно смещаешь фокус,
 что ты нас рвёшь на части, соль растворяешь в ранках,
 сделав возможным счастье в полутюремных рамках?
 Библией был и Торой в тесной тоске балконов
 голос любви, в которой нет никаких законов.
 В царстве тревог и гари песни какие пелись! —
 «Lasciatemi cantare», «Living next door to Alice»...
 Нынче ж серьёзней лица; свёлся баланс по смете.
 Мы перешли границу, даже и не заметив.
 Жизнь обернулась снами, ранищей вспышкой света...
 Было ли это с нами? Было ли вообще это?!
 Время итогов веских, время осенней дрожи...
 Где ты, Союз Советский, въевшийся нам под кожу?..
 Что в ностальгии — проку? Даже на входе в Лету
 сердце, как в марте крокус,
 рвётся и рвётся к свету.

Квас

Солнце по небу плыло большой каракатицей
 и, лениво прищурясь, глядело на нас...
 Ты стояла в коротком оранжевом платье
 близ пузатой цистерны с названием «Квас».
 Разношёрстные ёмкости, банки да баночки
 были хрупким мерилем безликой толпе,
 что ползла к продавщице, Кондратьевой Анночке,
 кою взял бы в натурщицы Рубенс П.П.
 Солнце с неба швыряло слепащие дротики,
 ртутный столбик зашкаливал в адовый плюс,
 и казалось: подвержен квасной патриотике
 весь великий, могучий Советский Союз.
 Сыновья там стояли, и деды, и дочери
 с терпеливыми ликами юных мадонн...
 И пускал шаловливые зайчики в очередь
 в чутких пальцах твоих серебристый бидон.
 Всё прошло, всё ушло... А вот это — запомнилось,
 тихий омут болотный на всплески дробя...
 Мне полгода тому как двенадцать исполнилось,
 я на год с половиной был старше тебя.
 И теперь, в настоящем — сложившемся, чековом —
 голос сердца покуда не полностью стих...
 «Где ты, где ты, Мисюсь?» — повторить бы за Чеховым,
 но надежд на ответ всё равно никаких.
 Только вот всё равно тени тают и пятятся,
 лишь встаёт в эпицентре несказанных фраз
 призрак счастья в коротком оранжевом платье
 близ пузатой цистерны с названием «Квас».

Март

Не так черны и безнадежны тени,
не так уж зябко с раннего утра...
Религиозных птичьих песнопений
приходит к нам пора, мой друг, пора.

Почти весна. Простудные напасти,
колючий бриз, свирепые дожди...
Надрывные штампованные страсти
уже на низком старте, погляди.
Глядеть на небо больно, как в июле,
как будто мы — в касании, вблизи...
И яростные солнечные пули
врезают лад оконных жалюзи.
Ни слова правды нет в погодной сводке,
но свеж и вкусен воздуха глоток.
И снега полинявшие ошметки
улитками сползают в водосток.
Весна как жизнь. Дождись, ещё немножко,
своих надежд не отправляй на слом...
Жаль, время, как шагреневая кошка,
бесстрастно исчезает за углом.

Один день из жизни префекта

С холмов прохладной сыростью подуло;
в налоговой мошне — нехватка злата...
С утра несносна Клавдия Прокула:
не лучший день у всадника Пилата.
Чем дальше Рим, тем меньше в жизни смысла,
но сердце вечной жаждою томимо...
И небо серой глыбою повисло
над каменным мешком Ершалаима.
Он просто символ, безымянный некто,
слепое воплощение идеи,
но наделённый должностью префекта
кипучей и мятежной Иудеи.
Что ни твори — не избежишь урона,
и что ни день — здесь всяко может стать...
Нельзя ж упасть в глазах Синедриона
и двадцати полубезумных старцев!
В краях, где влага столь боготворима,
скорей бы рухнул вольный дождь на пашни...

Служаке императорского Рима
извечно будет сниться день вчерашний:
решений многотягостных пора и
умытые трясущиеся руки
да кроткий взгляд пленённого Назрайи,
всё знающий о предстоящей муке.

Арина Обух

Муха имени Штиглица, или А будущее — по самочувствию

Повесть

От Лебяжьего канала, за Цепным мостом, по верх Соляного городка высился стеклянный свод художественно-промышленного музея барона Штиглица...

Кузьма Петров-Водкин. «Пространство Эвклида»

Петербург создан для художников. Причем очень бедных художников. Имеющих за душой две-три краски, не более...

- Слушай, напиши книжку про Муху.
- Про какую муху?!
- Да про свою Муху — Академию Штиглица.
- Да, да! Напиши!.. — вторит хор голосов.

Почему я?!

Да не хочу я писать ваши книги, рисовать ваши картины и донашивать ваши бывшие мечты из секунд-хенда!.. Я другое дерево.

- Какое, интересно?
- Синее.

Сказано — не сделано.

Напишу книгу. Бестселлер. Заработаю много денег и куплю себе нормальную жизнь.

А проживу ее чуть попозже.

...Когда я впервые переступила порог Мухи, академии имени Штиглица, меня потрясли три вещи: Пергамский алтарь, в аудиториях одни девушки (ни одного Петрова-Водкина!) и отсутствие счастья на лицах.

Мне казалось, если ты учишься в Штиглице, куда некоторые художники поступали по пять-шесть раз, то выражение счастья не должно сходить с лица: судьба решена, смысл обозначен. Улыбайся, подлец!

Арина Обух родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Студентка Художественно-промышленной академии им.А.Л.Штиглица, художник-график. Лауреат Международного Волошинского конкурса в номинации «малая проза» (2015). Публиковалась в журналах «Октябрь» (2015, № 12), «Звезда» (2017, № 1), литературных сборниках и альманахах.

Спустя время, уже учась в академии, я увидела в зеркале XIX века недовольную россомаху — это была я. Ожидание счастья угасло и во мне.

Кстати, в этом зале ожидания я стояла с трех лет.

— Жила-была девочка, и звали ее Счастье.

— Нет: Обух!

— Жила была девочка, и звали ее Фламинго.

— Нет: Обух! — сопротивлялась я.

— Ну, хорошо. И звали ее Обалдуй Обух.

— Ну-у, это неприличность.

— Кузьма-а-а!.. — смеялся папа. — Вот уж не думал, что так с фамилией угожу!

Все детство меня называли Кузьмой (хочется думать, что в честь Петрова-Водкина, главного штигличанина, которого в семье чтили).

У меня тяжелая наследственность: папа въехал во дворец Штиглица в коляске — два студента-монументалиста, мои будущие бабушка и дедушка, родили третьего монументалиста и бросились все втроем сдавать сессию.

И если уж совсем точно, то я впервые въехала в академию, балансируя на плече папы. Мне было года три.

...Белая мраморная лестница. Долго поднимаемся. Оказываемся в огромном зале. Над головой стеклянный купол. Идем по длинным коридорам, снова лестницы, картины, колонны... Шум, люди. Поднимаемся еще выше. Все жмут друг другу руки. Обнимают. Смеются. Пьют вино за встречу и за 5-й этаж.

Так и запомнилось: здесь радуются и все друг друга любят. Здесь — счастье.

А таинственный «5-й этаж», как выяснится позже, — это монументалка, декоративно-монументальное отделение живописи. «Стены красим», — брезгуя пафосом, обычно говорили монументалисты. Я повторяла за ними. «Чем занимается твой папа?» — «Стены красит», — отвечала я.

И все думали, что мой папа маляр.

Муха имени Штиглица

Во времена моих родителей академию называли училищем имени Веры Мухиной, в просторечии — Мухой. Сам же Александр Людвигович нарек свой дворец Школой технического рисования барона Штиглица.

Я думаю, глядя на всю эту роскошь, названную просто «школой», что скромность барона зашкаливала. Впрочем, в те времена красота являлась нормой: в моде была архитектура, а не дизайн.

Между прочим, когда академия называлась училищем имени Веры Игнатьевны, студенты любили с шиком козырнуть Штиглицем: во-первых, это было справедливо. Во-вторых, звучало красиво и даже как-то баронно. Однако сегодня, когда имя Александра Людвиговича вернулось на свое законное место, многие по-прежнему зовут академию Мухой... И в этом тоже есть своя справедливость.

Скажем так: Муха имени Штиглица.

На гербе барона Штиглица три пчелки. Он действительно трудился как пчела: строил железные дороги, вокзалы, приюты, учреждения... Но самым любимым детищем его была школа технического рисования — с великолепным убранством внутри (впоследствии утраченным в хаосе революций), огромной библиотекой и потрясающим музеем, построенным академиком архитектуры и первым директором Максимилианом Месмахером.

Невероятно, но этот ДВОРЕЦ находится в переулке. С земным названием: Соляной, 13.

Соляной городок

Был когда-то Соляной городок. А остался только Соляной переулок.

А в чем тут соль?

А соль в мешках. Дело в том, что до середины XIX века здесь находились огромные соляные склады.

Но еще раньше в этом месте, на берегу Фонтанки, была Партикулярная верфь: Петр I мечтал, чтобы его подданные плавали, как жители Амстердама и Венеции, и поэтому мосты не строил, а строил суда и верфи.

Случись все по его разумению, мы бы сегодня были не пешеходами, а гребцами. Не случилось.

Соляной городок размером с квартал. Его доминанта — тот самый стеклянный свод, о котором писал Кузьма Сергеевич и который сегодня все называют куполом. А вместо Цепного моста — Пантелеймоновский.

По качающемуся Цепному мосту косяком ходили классики, еще не ведая, что они классики. А мы ходим по Пантелеймоновскому, нерадивые студенты. Может, все дело в этом — в разных мостах?..

Пушкин тоже ходил через Цепной мост, живя одно время «у Цепного моста, против Пантелеймона, в доме г. Оливье».

«Против Пантелеймона» — это значит напротив храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона — единственное, что осталось на этом месте с петровских времен. Нет ни верфи, ни соли — одно название.

Но оно все держит.

Человек из скайпа

Звонок — и строгий голос:

— Так. Ты про Муху пишешь?

Я вздохнула, выдохнула — и с его стола упали листы бумаги...

Тут нет ничего удивительного, за исключением того, что я вздохнула в Питере, а листы упали у него в Москве.

— Да не хочу я писать про Муху!

— Муха — это фон, пиши про себя.

— Про себя — пожалуйста: меня сегодня похвалил преподаватель рисунка.

— Поздравляю. А что он сказал?

— «Какая красивая барышня!»

— Так это он Создателя похвалил, а не тебя.

Дикий гул заглушает его слова.

— Что это?! Боже, что это?..

— Самолеты летают.

— Они летают прямо у тебя в квартире?

— Почти. Тут рядом аэропорт, я же говорил тебе... Так, не уходи от темы. Почему ты не хочешь писать о Мухе?

— Я хочу писать роман о тебе.

— И что ты напишешь?

— Как ты кормил бабочку апельсинами... А начну я так: «По его квартире летают самолеты...»

— Нет, это мой роман. А ты пиши свой — про Муху. Спасай литературу. И вообще

я не понимаю... — Тут человек из скайпа начинает сердиться. — Если издатель ждет от тебя книжку, почему ты валяешься на диване и думаешь про всякую ерунду?!

— Ты считаешь, что это не похоже на написание книги?

— Ну как тебе сказать...

— Кстати, мне сообщили, что книжка должна быть три авторских листа. Три листа — это 70 страниц?

— Как — три листа?! Это будет брошюра, что ли?!

— Но ты же сам говорил — сто страниц написать...

— Я говорил «хотя бы». Книжка должна быть шестьсот страниц!

— Тогда я смогу ее набрать только такими символами: ?????!!!!!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Может прокатить за современное искусство.

В зале ожидания

В изостудию Эрмитажа я поступила по конкурсу в пять лет. Все дети пришли с нарисованными принцессами и цветочками, я пришла с «Изгнанием из рая». Толстенную папку с работами (жаль, что нельзя было принести с собой и разрисованные дома стены) приняли на рассмотрение. Взрослые не верили, что в эту изостудию можно поступить без блата, который, по слухам, нужен везде, даже когда тебе пять лет.

— Ну что, что?! — спрашивали родители. — Что тебе там сказали?

— Не помню.

— Как это?! А ты вспомни!

— Не помню, — честно говорю я.

— Но это же важно! Они работы твои смотрели?

— Смотрели.

— И что сказали?

— Не помню.

Родные в растерянности.

— Вспомнила! — радуюсь я. — Они сказали: идем, девочка, мы покажем тебе, где выход.

— И это все?!

— Да.

Пауза. И отчаяние:

— О боже!.. Если моего ребенка с такими шедеврами не примут в Эрмитаж, я вцеплюсь в горло Пиотровскому!

В назначенный день мама стояла у стенда и долго смотрела в список о зачислении, забыв от волнения мою фамилию (у мамы и папы разные фамилии, потому что они состоялись до того, как поженились).

Домой она ворвалась с тортом и криком:

— Справедливость торжествует!

— Она всегда торжествует. А ты не знала об этом? — снисходительно ответила я, наслушавшись сказок.

Горло директора Эрмитажа было вне опасности, его шею по-прежнему украшает элегантный шарф.

На протяжении шести лет я ходила в Эрмитаж по субботам. Зима. А сейчас мы нарисуем зиму. Весна. А сейчас мы нарисуем весну. Рисуешь весну, приносишь, а тебе говорят:

— Ты нарисовала небо, какого не бывает.

Выходишь на улицу — и видишь небо, какого не бывает.

— Мы не будем учить вас рисовать, — говорили нам в изостудии. — Этому будут вас учить стены Эрмитажа. Он ваш.

И он действительно был наш. Со всеми его сокровищами, выставками и новогодними карнавалами, где мы, как правило, изображали из себя древних греков и в предпраздничной суете можно было услышать такие разговоры взрослых:

— Здравствуйте, это вам звонит мама Сизифа.

Или:

— Это папа Геракла, прошу прощения за поздний звонок...

Эрмитаж был единственным моим окном в жизнь. Форточкой.

Дело в том, что в школу я не ходила до 6-го класса: аллергия. Кругом были мои личные враги: пыль, коты, собаки, цветы, морской бриз, чужие духи, чужие носки и т. д. Даже из музеев, где пыль священна, мы выбегали очертя голову.

Гостей в дом не пускали. Правда, однажды к нам пришел друг, причем в новых носках и новой рубашке, и даже показал чек из магазина: мол, все новое, чистое, никаких ароматов. Его пустили. А через полчаса выгнали, потому что от гостя несло четырьмя его собаками и мой нос тут же об этом доложил.

И вот в режиме такого затворничества меня впервые повели в кинотеатр, и это было чудо. Поэтому, когда в изостудии Эрмитажа спросили: дети, как вы провели лето? — и все наперебой радостно закричали: я был в Испании! а я в Болгарии! а я в Париже! — то я тоже, как последний дурак, стала тянуть руку, чтобы поделиться своим счастьем.

— Ну а ты где была, Арина?

— А я была в кино!

И всеобщее недоумение коллектива долгое время оставалось для меня загадкой.

Пропала жизнь, дядя Ваня

Из-за моей аллергии у меня огромные лакуны в образовании. Я всю жизнь боялась, что меня спросят, когда отменили крепостное право (почему-то именно крепостное право): меня не примут в лицей, выгонят из института и любимый от меня отречется. Еще я не умею определять время по часам со стрелками. Родители не постигали, как такое может быть. Я отвечала:

— Вы какие-то древние греки — определяете время по палкам.

Ко всему еще у меня были бабушкины белорусские гены в грамматике.

Белорусский язык — фонетический язык, то есть как слышишь, так и пишешь: «Масква», «каралева» и т. д. Очень удобно. Прекрасный язык! Но недооцененный в моей школе.

В общем, на память о школе у меня осталось два ужаса — ожидаемый исподтишка вопрос о крепостном праве и брошенная фраза разгневанного учителя по математике:

— Ты кем собираешься быть — математиком или несчастным гуманитарием?!

И тут, конечно, была уместна реплика из Чехова, что-нибудь этакое: «Пропала жизнь!..»

Пропала жизнь, дядя Ваня...

Со временем моя аллергия утихомирилась, и после восьмого класса мы решили поступать в знаменитый художественный лицей № 190 при Мухе, где родителям сказали:

— Ваш ребенок талантлив, но совершенно не образован.

Вина висела на папе, который категорически был против, чтобы детей учили рисовать «правильно». И на маме, которая говорила:

— Я родила тебя для счастья, а не для ЕГЭ. Перестань зубрить, иди гулять. Получишь двойку — куплю тебе шоколадку.

— Тогда ты должна мне уже две шоколадки.

Но в лицей я все же поступила. На голом таланте, не особо отягощенном знаниями.

А после лицей... Казалось: начнется новая жизнь, «чистая, как родник, светлая, как солнце...» — а будет лишь продолжение старой. Потому что Муха находится через дорогу от моего художественного лицей, лицей — через мост от изостудии Эрмитажа, а Эрмитаж — через мост от моего дома. И когда лицей закончится, будет ощущение, что я просто перейду через дорогу в двенадцатый класс. И со мной перейдут почти все Крысы.

Крысы — это не обзывательство. Это факт биографии моих одноклассников — год рождения. Люди 1996 года.

В лицее нас усердно, по-честному готовили к Мухе. Муха была нечто вроде оазиса, точнее, миража в пустыне. Нет ничего, кроме Мухи. Вам ничего, кроме Мухи, не нужно, но вы не обольщайтесь: не факт, что вы ей нужны. Она не всех принимает. У вас клочковатое сознание: это когда Пушкин — это одна планета, Лермонтов — другая, девятнадцатый век — третья. И если они столкнутся, то это будет время большого взрыва в ваших головах. С непредсказуемыми последствиями. Потому что вы поколение ЕГЭ, пепси и жвачки.

«Лав из...»

В детстве о любви мы узнавали из киоска.

— Можно «Любовь» за два рубля?

В конце 90-х на углу 6-й линии Васильевского острова, возле детской площадки, стоял ларек, где продавалась жвачка «Love is...». Мы еле дотягивались до прилавка. И видели только руку, дающую нам «Любовь». И было страшно интересно, какое божество там сидит? Мы росли и бегали за этой «Любовью». И не было ничего вкуснее ее.

Но еще она покупалась ради вкладышей, в которых изрекались примерно такие истины: «Любовь — это... знать, когда ему нужно побыть одному». Между многоточием и откровением помещалась картинка: на ней был нарисован бешеный мужик. И убегающая женщина.

«Любовь — это ... когда он несет твои лыжи».

«Любовь — это... помогать ей перед экзаменом».

В один прекрасный момент мы поняли, что достаем до окошка, то есть уже можем посмотреть этому богу любви в глаза.

Оказалось, что это пьяная злая тетка. О любовь, ты ужасна!

Со временем «Любовь» стала дороже, а потом совсем пропала. Исчезли жвачка, ларек и наше детство. Скоро в школу.

...В которую я не пошла, как барон Штиглиц: Александр Людвигович тоже был на домашнем обучении. Мог себе позволить.

И только поступив в академию, я поняла, что любовь — это когда тебе дарят гранатовое платье.

Такая легенда: Каролина Штиглиц считала себя некрасивой женщиной и не любила бывать на балах. Но однажды супруг подарил ей платье, расшитое гранатом (мог себе позволить): по его разумению, она должна была затмить всех на балу и избавиться от своих надуманных комплексов.

Не знаю, почувствовала ли она себя красивой в этом платье...

Скорее, просто любимой.

Изверг

Значит, до шестого класса я сидела на домашнем обучении.

— Ни в коем случае, — говорили умные люди родителям. — Не учите сами своих детей! Своих не учат и не лечат: плохо получается, нужна дистанция. Иначе вы станете извергом для собственного ребенка. Пусть лучше извергом будет учитель.

Быть извергом — эта честь выпала на долю моей первой учительницы, милой Ольги Николаевны.

На протяжении четырех лет она приходила к нам домой, и с ее стороны была огромная жертва — не душить духами. Но все равно от нее пахло какими-то запрещенными цветами... Высокая, молодая, красивая — хотелось быть такой, как она. Художники говорят: «Никогда не берите цвет из банки! Он слишком открытый!» Это означает, что краски надо всегда смешивать и получать какой-нибудь благородный сложный цвет. Вы скажете: а в природе!.. А в природе тоже нет открытого цвета: даже самый красный цвет розы смешан с воздухом, приглушен тенью крыла бабочки или замаран каким-нибудь прибудой-репейником.

А Ольга Николаевна вся была сплошной открытый цвет — и ей шло. Шелковый голубой платок, ультрамариновый плащ, фиолетовое платье и всегда ногти под цвет платья, длинные-длинные. Указывают на мои ошибки:

— Смотри, ты написала «Петя» с маленькой буквы. Почему? А если твое имя написать с маленькой?

И написала: арина обух.

Педагогический прием обернулся для меня гражданской казнью: я заплакала горько-горько...

Ольга Николаевна, вы изверг с прекрасными когтями.

На самом деле она была просто очень юной.

Она приходила ко мне из другой жизни — о, это была прекрасная настоящая жизнь, где шумят дети, получают двойки и орут друг другу: «Я на аэроплане, а ты в помойной яме!» И так целый день.

(И всю жизнь.)

Однажды Ольга Николаевна сообщила, что скоро будет утренник и конкурс на самое красивое платье.

Родители, взглянув на меня, дрогнули и решили, что, пожалуй, можно рискнуть и посетить школу. Купили бордовое платье (под восемнадцатый век). И отвезли на бал.

Платье было красивое, цвет был «не открытый». Сложный! Благородный! Мне казалось, что такой цвет должен победить или, по крайней мере, не остаться незамеченным.

Мои одноклассники видели меня редко, ходили слухи о моей страшной болезни, и некоторые из них смотрели на меня так, словно отыскивали зеленую кожу или хвост.

Началось голосование за лучший наряд.

— Ты за меня проголосовала? — спрашивало голубое платье у розового. — Хорошо, а я за тебя.

— Ты за меня голосуешь? Я тебя в гости приглашу. Завтра.

Платья ходили, шептались, кружили по залу — все сущности были для меня исключительно платьями, которые я никогда в жизни не надену: голубыми, розовыми, желтыми.

Эти три открытых цвета заняли первые места. На головы победительниц водрузили пластмассовые короны. Которые они до сих пор не могут снять. Пластмассовая корона, надетая или не надетая в детстве, играет большую роль в жизни человека.

К пластмассовой короне нужны пластмассовые ногти, нарисованные брови и мечта стать стилистом.

...И все же, как выяснилось позже, мое платье беспокоило, судя по тому, что одна из пластмассовых королев, злая волшебница Ге, которую я не пригласила на день рождения, сказала:

— Подарите ей духи — пусть она задохнется!

Свои

— Зачем ты рисуешь розовое лицо?! Оно же синее! А ухо зеленое! Смотри, какая голова у него квадратная! А у тебя что?! И нога с рукой — это же единая линия! Посмотри направление! Оно подчеркивает стул! Тут же главное — холодная тряпка на заднем плане. Обрати внимание.

Слышишь эти речи. И понимаешь: тут свои — с зелеными ушами, малиновым небом и двойками по математике. Родные. Земели.

Я знала точно, что мне никогда не пригодятся графики движения функции, синусы и косинусы. А вот Насте Сапёр пригодятся.

— Сапёр?

— Она хотела быть сапёром.

— В художественном лицее?!

— Да, считала хорошей профессией.

На последнем году обучения наш классный руководитель написал объявление, которое повесил на дверях кабинета: «Кто хочет, собираемся завтра в 12 часов у храма, будем молиться Сергию Радонежскому о благополучной сдаче вашего ЕГЭ».

К вере приводит горе. Наш класс был сплошное горе, горе удалое. И многие уверовали в чудо, когда мы все сдали ЕГЭ и почти в полном составе поступили в Муху.

А дело в том, что в 90-е годы рождаемость в стране упала, многие роддома закрывались — и будущим мамочкам так и говорили: зато вашим детям легче будет поступить в институт.

Сдав ЕГЭ, хотелось дать клятву: «Я обещаю отныне и вовеки быть счастливой и забыть про косинусы!» («Косинусы и синусы — это вам не Достоевский!» — говорил наш математик в средней школе.)

А впереди было лето и праздник выпускников — знаменитые «Алые паруса».

Алые паруса и голая правда

Тысячеглавая набережная. Не каждая Ассоль может подойти к берегу. Отчаянные девушки карабкаются по стенам зданий, усаживаясь на карнизы окон. Гремит салют. Из белой ночи выплывает корабль с полыхающими алыми парусами. Плывет очень медленно. Но...

Он никогда не остановится у наших берегов. Не заберет нас. Не снимет с окон. И капитан Грей никогда не скажет: «Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?»

Нет, не скажет. Потому что корабль плывет всегда мимо и всегда без Грея.

И поэтому набережные Невы в этот час, скорее, напоминают взбесившуюся Каперну.

Существует городская легенда, как однажды в ожидании корабля выжившие после ЕГЭ выпускники шумной ордой скучали на Дворцовой площади, слушая речи отцов города. И тут вдруг неожиданно вышел один из инициаторов введения в школы этого самого ЕГЭ...

Дальше — катастрофа. Кто-то выкрикнул в адрес реформатора слово из сниженной лексики — и вмиг, подхваченное дружным хором нарядных выпускников, оно уже неслось над Невой...

Кстати, это слово, в менее торжественной обстановке, я слушала каждый вечер.

Ближе к полуночи откуда-то сверху доносилась автоматная очередь: «Ты с..., ты с..., ты с...» Короткая перезарядка — и снова: «Ты с..., ты с..., ты с...»

Время спустя появились нововведения: стали бить по батареям ногами (как по органу с педальной клавиатурой). Регистры труб гудели. И этот орган под управлением какого-то павшего ангела становился все мощнее и, казалось, будил совесть всего дома. Просыпайтесь, сволочи! А то спите, будто вам и вспомнить нечего. Давайте грехи считать!

И вот однажды утром народ, спускающийся по лестнице, увидел свою совесть: это была седая голая женщина лет восьмидесяти, живущая в квартире номер семь. Безобразна, как правда. Оскорбительна, как правда. Она тоже спускалась куда-то со всеми вместе, затем остановилась, обернулась и начала кричать всем правду в лицо: «Ты с...!»...

Тут ее и повязали.

Дом остался без совести. Дом стал спать спокойно.

Впрочем, этот сюжет здесь лишний. Надо выкинуть...

А, пусть остается.

Человек из Сходни

Под его фотографией зажигается зеленая галочка — он вернулся домой и включил скайп.

— Привет.

— Привет, что делаешь?

— Живу. В Москве. В Сходне...

— А грустный, как будто звонишь из Безысходни...

— Сегодня утром я вышел из дома вместе с тобой. Мы шли по улице. Шли к станции. Там уже начинается лес, и ты сказала: «Как хорошо здесь!» Долго ехали в электричке, ты смеялась. Уже на улице ты опять начала бегать и толкнула меня в бок. Я совсем не сердился. Потом мы пошли в супермаркет и долго что-то выбирали, ты была спокойная...

— Тогда это была не я!

— Нет, это была ты, мы все время беседовали с тобой, ты соглашалась.

— Точно не я!

— А на остановке я представил, как обнимаю твою шубу и шапку. Так хорошо встречать тебя на вокзале. Вообще встречать, где угодно. Я каждый день гуляю с тобой. А тебя нет. Ты пишешь про Муху? Обязательно напиши про музу, которая ходит справа.

Муза ходит справа

В Мухе по левой стороне парадной лестницы несется туда-сюда толпа студентов и абитуриентов, а на правой — никого.

Там ходит муза, предупредили нас. Не рискуй, можно наступить музе на ногу. Потом не поздоровится. Музы обидчивы.

А путти на фонарях очень любят цветы, конфеты и банты, их ладошки и пятки заласканы до блеска — это идола всех абитуриентов и сдающих экзамены. Языческие отголоски.

Я хотела поступать на книжную графику. Но после того как меня на консультации попросили стереть у русалки хвост и дорисовать две ноги, я поняла, что тут у меня не заладится.

На монументалку идти по папиным стопам — не женское это дело, сказал папа.

Мебель? Но ничего личного у меня к мебели не было, разве что дома у нас на баночках гороха «Бондюэль» покоился старинный стол — еще от прабабушек... Это было странное сочетание, и гости не понимали, что это — дизайн или наш стратегический запас: типа в случае стихийного бедствия кто куда, а мы к баночкам «Бондюэль». На самом деле стол был низкий и баночки гороха его «возвышали», это была временная опора, которую позже сменили баночки с персиками.

Как-то раз (дело было еще в школе) ко мне пришел Артём помогать с алгеброй («Любовь — это помогать ей перед экзаменом»). Значит, то была все же любовь? Он увидел эти баночки с персиками и сказал:

— О, у вас перестановка!..

В общем, перебрав все факультеты, я остановилась на художественном текстиле.

— Будешь работать на заводе — ковры ткать.

— Не буду.

— Будешь шторы расписывать.

— Не хочу.

— А чего ты хочешь?

Хотелось рисовать русалок.

— Художнику все равно, что портить, были бы краски. А рисовать можно на чем угодно: на дереве, на бумаге, на ткани...

Это правда.

Между прочим, кузнецы сегодня называют себя художниками по металлу, столяры — художниками по дереву, портные — стилистами.

И все вместе — дизайнеры. Блин.

А вот во времена Штиглица нас бы называли «учеными рисовальщиками»...

Пряха судьбы

Ее зовут Макошь. Языческая богиня земли и ткачества. Великая ткачиха прядла не только пряжу, но и нити человеческой судьбы.

Свою судьбу она тоже устроила, спряла. На орнаментах древнерусских вышивок Макошь изображена с протянутыми к небу руками. Небо — ее муж, бог-кузнец Сварог. Земля держит небо, небо держит землю — равновесие мира происходит через прикосновение этих влюбленных, говорят мифы. Красиво говорят.

Иногда она держит птиц. Это ее сестры-помощницы — Доля и Недоля.

Сейчас таких богинь в огромном количестве выпускает наша Академия Штиглица.

Яправляю ткацкий станок. Кручу вал. Протягиваю нити основы в ремизки... закрепляю на переднем валу... отматываю. И когда вертикальная система нитей уходит куда-то за горизонт огромного ткацкого станка (это только мне неинтересно или всем?), начинаю ткать, впуская первую синюю нить утка сквозь основу. Чувствуя себя то Макошью — богиней ткачества и распорядительницей судеб, то просто ткачихой, спустившейся с антресолей.

Идет неспешная размеренная работа. Ткацкая пуста. И кажется, можно услышать, как дышит пыль. Ведь все живое дышит. А что может быть живее пыли? Она, как и плесень, была до нас и будет после. И вот под равномерное дыхание пыли я тку гобелен. Челнок снует из стороны в сторону, пропуская уток через основу и погружаясь в сон. В вещей сон вещей.

Вещий сон вещей

Я выхожу из Соляного городка, иду к набережной Фонтанки. Там обычно стоит женщина, кормящая чаек.

Чайки очень любят сильный ветер. Больше всех сильный ветер любят только чайки и моя мама. Чайки начинают летать, лавируя между потоками ветра, время от времени замирая в невесомости. А мама говорит, что взлететь можно с помощью ветра и шляпы. Она уже летала так однажды во сне в Кишинев. На следующее утро звонили знакомые: «Ты была в Кишиневе?! Тебя видели!..» Значит, и правда летала. Раз люди видели.

Седая женщина в красном плаще кормит чаек хлебом. Но чайки не могут оторваться от ветра. А ветер, мешая хлебным крошкам попасть в Фонтанку, относит их на асфальт к ногам женщины. Их подбирает пара голубей.

Женщина настырно кидает хлеб чайкам.

— Не едят! Не едят, глупые! Обжоры вы! Вы две обжоры! — кричит она голубям и переводит взгляд на меня. — На! Держи! Ты корми! Я устала.

Стою одна посередине Пантелеймоновского моста, увешанная тубусами, рюкзаками, папками, держу буханку хлеба. Кидаю мякиш этой красивой паре голубей. Но тут вместе с ветром на них нападают чайки. Нападают на нас троих. Жирные чайки отнимают у меня буханку.

Лучше бы они отняли у меня тубусы, рюкзаки и папки.

Жирные чайки злорадно дербанят булку. А та пара голубей исчезла...

Если бы сейчас мимо пролетела моя мама в шляпе, то это был бы уже сон...

Человек из скайпа

— Смотри. — В скайпе включается значок видео.

Он показывает мне карниз окна, усеянный ячневой крупой, и двух голубей. Я узнаю их.

— Это мои голуби! Я их вчера на Фонтанке кормила!

Это не удивило его. Мы привыкли находиться в этой двухкомнатной воображаемой квартире Москва — Питер, кормить одних и тех же голубей и притворяться, что нам нужны поезда, чтобы встретиться. Я вновь почувствовала себя Макошью. С двумя голубьями в руках.

...В одном из поверий говорится, что Доля прядет пряжу для Макоши, Недоля тоже прядет, но плохие нити у нее получаются, и время от времени ей приходится их обрезать.

А где Доля и где Недоля — поди знай. Сидят воркуют.

В следующей главе лучше пойти на исповедь.

Исповедь

Минуя Марсово поле и Летний сад, перехожу Пантелеймоновский мостик и оказываюсь на исповеди.

— У меня с моей матушкой разница девять лет, — говорит батюшка. — И то бывают размолвки. Тебе нужно найти ровесника. Вы должны вырасти на одних фильмах, слушать одну музыку, читать одни книги.

Я смотрю на батюшку козой: блин, он ничего не понимает в моей жизни.

Найди себе ровесника. Ровесник Артём был человеком-оркестром. Он играл

хеви-метал на гитаре, барабане и гуслях. Тяжелый металл. Тяжеленный. И когда он лупил по струнам, было ощущение, что во всех городах поезда сходят с рельсов — и это все в одной моей голове.

— Тебе нравится? — спрашивал он.

Это был древний ужас с картины Бакста, где мир рушится, остается лишь богиня любви Кора с синицей в руках.

А у меня в руках был клубок синих ниток и два голубя.

Батюшка бросает взгляд на тубус у меня за спиной и спрашивает:

— А кто он по профессии?

— Писатель.

Батюшка вздыхает:

— Тебе нужен муж из другой сферы. Может быть, учитель там или инженер...

А лучше врач.

И бабушка неожиданно добавляет:

— Ферштейн?

Ага.

— Подожди меня здесь, — говорит бабушка и духом уносится за алтарь, оставив меня с открытым финалом.

Врач — это, конечно хорошо. И я знаю одного такого врача. Это Миша.

С Мишей мы знакомы с детства. Вместе собирали динозавров. Он не давал мне играть в плейстейшен и жалел домашнего компота.

А теперь я его вообще не вижу. Он учится на врача, читает энциклопедии всех времен и народов, а по ночам работает на «скорой», присутствуя в моей жизни лишь в рассказах Заремы, его мамы:

— Я говорю ему: Миша, ты не выдержишь, бросай эту работу, а он отвечает: а кто же будет их всех спасать?!

Миша — тот самый Ловящий Во Ржи. Ловит детей, бомжей и всех остальных в придачу.

Миша все знает. И может спросить меня, когда отменили крепостное право. И я засыплюсь. (Тут какой-нибудь гаденыш должен сказать: не отменили! Садись, гаденыш, «два».)

...Бабушка выносит чашу со святой водой и окропляет мое лицо.

— Все! Воскресла! Побежала!

И я побежала в Муху.

Бегу, а навстречу мне мчится солнце на самокате. Зажмуриваюсь. Солнце обнимает меня.

— Привет! — говорит мой солнце-ровесник.

Забыла сказать, что мальчики, конечно, тоже учатся у нас в академии, но их можно отнести к существам мифологическим. В том плане, что они существуют, но увидеть их может не каждая.

— Знаешь! У меня будут жена и дети! А я буду рисовать подсолнухи! Идем, я знаю хорошее место, где продают вкусное печенье! Но я забыл, как оно называется! Оно с сыром! Идем! Тебе понравится!

И мы пошли есть печенье, а не в Муху.

И муза справа плюнула нам вслед.

— Слушай, а ты уже была в Эрмитаже? — жуя печенье, спросил мой друг-ровесник.

— Я там с пяти лет.

— Да нет!.. Там же выставка современного искусства!..

— Не интересуюсь.
— Да ты что!.. — закричал мой восторженный друг. — Я был уже три раза! Это грандиозно! Сегодня последний день!..

И мы пошли в Эрмитаж.
И муза опять плюнула нам вслед.

Ветрянка-10

Это было похоже на заражение какой-то болезнью. Сначала пошла реакция — Эрмитаж покрылся прыщиками (арт-объектами). Потом пошло раздражение — он начал чесаться и кричать:

— У меня Ветрянка! Ветрянка-10! Приходите на меня посмотреть!
Болезнь атаковала весь город.

Эту выставку продлевали, продлевали, и в последний день очередь из людей была похожа на длинную кишку, заворачивающуюся узлами по всей Дворцовой площади. (В последний день вход на выставку был бесплатным.)

Всю эту толпу ненавидел один человек.

Толпа протягивала ему свои вещи. Он носился от вешалки к вешалке — так, что были видны только летящие в его руках плащи и куртки. Гардероб находился в самом низу, одна лампа мигала, создавая небольшой полумрак, и гардеробщик походил скорее на Гермеса, принимающего души-куртки в загардеробную жизнь.

— Мест нет! — в бессилии кричал он. — Нет! Куда вы все идете?! Вчера не могли прийти?!

А дальше он стал говорить мне (почему-то мне):

— Мужик пришел с дамой в шиншилях, пришел в шубе, говорит: «Повесь мою шубу». А чего он пришел? Вчера сто рублей не мог заплатить? Пришел с дамой, когда бесплатно. А я на ту выставку принципиально не поднимусь. Вот у нас тут трубу прорвало, все говорят: «У вас трубу прорвало», — а если я им скажу, что это современное искусство, так они рядом фоткаться начнут!..

— Так, — прерывает монолог гардеробщика мой спутник. — Ты будешь на его трубу смотреть или мы все же пойдем в зал?

Честно говоря, я бы просто послушала гардеробщика.

Первой на выставке нас встретила Венера с родинкой от Монро, выкрашенная в дикий розовый цвет и тем утратившая свое мраморное благородство. Под ней была табличка, которая гласила, что автора волнуют «остросоциальные темы, связанные с вопросами современных СМИ и сексуальности».

— Ну, это к Фрейду, — усмехается кто-то рядом.

Идем дальше. Автор другого шедевра, сообщают нам, вдохновлен «таинственным символизмом» мультика «Том и Джерри» (вообще он делал эту работу как подарок своей дочери, но потом «работа еще обогатилась новыми смысловыми оттенками»). То есть до нас эта работа дошла переполненной смыслами. Хожу в предвкушении. Темнота. Музыка. И святящаяся дырка в стене. «В ожидании Джерри» называется. «Возможно, он когда-то появится...»

Простодушные ищут изъян в себе: «Я плохо разбираюсь в искусстве. Эту работу надо смотреть в контексте. Ведь она все-таки находится в Эрмитаже...»

И вот тут уже к Пиотровскому. «Михаил Борисович, а папа знает?!»

(Папа, Борис Борисович Пиотровский, был предшественником своего сына и, как говорят старшие товарищи, ревностным хранителем традиций Эрмитажа. Ну, по крайней мере, таким его помнят.)

А все началось с Энди Уорхола, с выставки которого в 2000 году Эрмитаж потерял невинность.

Я помню эту выставку. Мне было пять лет. Мы вместе выставлялись (звучит, да?). Это была первая выставка наших детских работ в одном из залов Эрмитажа, по соседству с Энди, но собственная слава в моем сознании затмила славу Уорхола. Помню только, что взрослые говорили почему-то не об Уорхоле, а о Пиотровском, типа: ну Пиотровский ваще-е!..

— Идем! — тащит меня мой ровесник. — Там дальше «Вагон»!..

Нашумевший «Красный вагон» Ильи Кабакова. Он «работает в жанре тотальной инсталляции». Уже страшно. Инсталляция посвящена становлению, развитию и распаду Советского Союза.

Народ табуном хороводит вокруг вагона, постигая изюминки из всех сил...

На выходе мы увидели, что кто-то фотографирует ту самую аварийную трубу гардеробщика — одного умного на этом корабле дураков.

А на улице мой друг, будущий искусствовед (кто-то создает искусство, а кто-то им ведает), с пеной у рта, горящими глазами и беспорядочными взмахами рук объясняет мне всю великость инсталляции Кабакова: какая гениальная идея, какая мысль! Как точно автор раскрывает причину распада СССР!.. Мой друг вдохновенно сыплет терминами, но когда он прерывается, чтобы перевести дух, я спрашиваю его:

— Тебе понравилось то, что было внутри «Вагона»?

Мой спутник застывает и с изумлением восклицает:

— А что, можно было зайти внутрь?!

...Нет, мне не нравится современное искусство. И ровесники не нравятся, батюшка. И печенье, кстати, тоже не очень...

Мне нравится Козин: «Не уходи-и, тебя я умоля-яю...»

— Потому что ты какая-то советская! — мстительно говорит мой ровесник.

Гагарина не видела, но я его люблю

— В моем детстве были совсем другие банки сока. И вкус был лучше. И по цене дешевле. Помнишь? Магазин на углу 6-й линии? Двадцать рублей стоило. Или меньше? И, мне кажется, натуральнее было.

Я остановилась, удивившись, с какой легкостью вырвались из меня эти слова. Это было так естественно, что моя подруга не заметила, как мы разминулись в веках. Такие разговоры я слышала только от своих родных древних греков и их друзей, таких же древних греков, определяющих время по палкам. Чье детство прошло под знаком улыбки Гагарина. Люди черно-белого кино.

Мама любила с усмешкой повторять, что «советские мужчины были лучше. У них было очень много свободного времени, а свободное время располагало к мечтательности, стихам и всяким крамольным мыслям, которые так нравились девушкам. И советские девушки были лучше: им нравились эти советские мужчины».

А советский мужчина папа всегда искал в ларьках с мороженым эскимо на палочке и чтобы обязательно обернутое в фольгу. В детстве я смотрела на папу и не понимала, ну как можно фанатеть от такого дурацкого мороженого? В нем нет ни сгущенки внутри, не шипучки, оно не красит язык в синий цвет.

Зато я до сих пор покупаю жвачку «Лав из...». И мне нравится черно-белое кино. И человек из Коктебеля.

Человек из Коктебеля

В сентябре в Коктебель в Дом Волошина едут гости. Хозяина нет дома, а они едут и едут. Потому что однажды он их пригласил: «Войди, мой гость, стряхни житейский прах...»

Вот и входим. Веселой радостной гурьбой читать стихи и пить крымское вино.

— Почему ты уехал тогда из Коктебеля?

— Чтобы ты меня заметила.

— Я заметила тебя в первый же день. И мысленно назвала тебя «иностранцем».

— Почему?

— Не знаю. Потому что у тебя очки.

— При чем здесь очки?

— Ты был в очках, ты был угрюм, ты был вне доступа.

Новость о его отъезде застала меня на семинаре по прозе. В одну минуту я возненавидела всех прозаиков, читающих в это время свои рассказы. Особенно господина С., который затянул какую-то историю о поездах из Москвы в Питер, бессонной ночи и о том, что он так и не узнал имя той прекрасной девушки. Может быть, сюжет был несколько иной. Но мысль автора просвечивала через каждое слово. Это была мысль о единственном, неповторимом и многогранном его «Я».

Этот человек был многогранен, как стакан. В который то и дело наливают водку.

Вечером я сидела в кафе, на столике стояли айпад и молочный коктейль.

На экране айпада был Человек Из Коктебеля, превратившийся в Человека Из Скайпа.

Со стороны могло показаться, что я кокетничаю с молочным коктейлем.

Свой чужой

Выхожу из дома, сталкиваюсь с соседом.

— Ты че, обои несешь?

— Ага, картины.

— Ты в Штиглице учишься?

— Да.

— Я был там. День открытых дверей.

— Был в музее?

— Нет, он был закрыт.

Характерная черта Мухи: двери открыты — музеи закрыты. «Вы кто такие? Куда? Какой музей? Написано же „закрыт“!»

— Но в Молодежном зале был?

— Да, походил. Хорошо, конечно, но жалко, что упадок...

— Как — упадок?! Только ремонт сделали.

— Все равно упадок. Разваливается все...

— Пергамский алтарь видел?

— Видел... Что сказать. Жалко. Я во дворе был — все сыпется, грязно, неопрятно...

«Грязно» — это, наверное, смальта, стекло — благородный рабочий материал из мастерских.

Это как земледельцу сказать, что у него земля грязная под ногами валяется.

Или на вопрос: «Как вам картина?» — ответить: «Ты знаешь, я посмотрел с той стороны — подрамник кривым гвоздем прибит! Ржавым!»

Беспечально прощаюсь с соседом. Иду дальше. На плече папка, на спине рюкзак

с красками, еще один рюкзак с пряжей, в руках те самые «обои». Шагаю по Итальянской, прохожу мимо Тургенева, одиноко сидящего в сквере. Неподалеку от него фонтан, окруженный скамейками, которые никогда не бывают пустыми. У Тургенева всегда безлюдно. С фонтаном людям проще.

Иду вперед, к улице Караванной. Там находятся сразу два кинотеатра: «Родина» и «Дом кино». Висит огромный плакат: «ЛЮБОВЬ. НОВЫЙ ФИЛЬМ. ФРАНЦИЯ».

Складываю желание посмотреть этот фильм в рюкзак с красками.

— Мы уже смотрели его. Ужасный фильм! Чуть не сдохли от скуки. Про двух стариков. И они весь фильм молчат! Ходят. Болеют. И молчат. Ве-есь фильм. Мы думали, там про любовь... Не советую. Мы взяли билеты на «Изгнание костей дьявола», пойдешь с нами?

Не. Я лучше тут посижу. У фонтана. Есть что послушать.

Или у Тургенева, здесь всегда пустые скамейки. И есть о чем помолчать. И не согласиться.

Торжествующий гений

В Петербурге есть река Пряжка. Она течет мимо сумасшедшего дома. Здесь пряли и сходили с ума.

А еще есть улица Шпалерная. Здесь ткали шпалеры и тоже сходили с ума.

Но я хожу в Муху по улице Пестеля, которая рядом со Шпалерной. А в Союз художников — по улице Большой Морской. Когда-то ее называли Бриллиантовой: здесь жили и торговали бриллиантовые люди, в том числе и Фаберже.

И над ними парил крылатый Торжествующий Гений.

Точнее, он парил над зданием Императорского общества поощрения художников.

Нынче это здание принадлежит Союзу... Как сказать, чтобы избежать тавтологии? Кто бог у художников?

— Аполлон.

— Какой Аполлон?! Бахус у них бог!

Ладно. Нынче, значит, это здание принадлежит Союзу художников. Что логично. Но скульптуры нет. То есть ни гения, ни торжества.

А в начале XIX века на первом этаже этого здания жил генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. Жил до тех пор, пока на Сенатской площади его не убила сволочь.

Это не я сказала. Это сказал Василий Жуковский: «Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников... Презренные злодеи, которые хотели с такой безумной свирепостью зарезать Россию!..»

«Презренные люди» — это декабристы.

«Граф М.А.Милорадович, любимый вождь всех воинов, спокойно въехал в каре и старался уговорить солдат; ручался им честью, что государь простит им ослушание, если они тотчас вернутся в свои казармы. В эту минуту пули Каховского и еще двух солдат смертельно ранили смелого воина, который в бесчисленных сражениях и стычках участвовал со славою и оставался невредимым; ему суждено было пасть от русской пули».

Я живу недалеко от улицы, названной именем убийцы. Точнее, это переулочек, всегда безлюдный и темный.

А находится он на острове Декабристов.

Клубок из темных нитей улиц и переулков. Название — Земля.

Здесь прядут и сходят с ума.

...А Торжествующий Гений парит. Просто облаком выше.

Тук жизни

— Ну, черти полосатые, что ж вы пишете-то?! Я специально такую тряпку вам повесил!.. Да это не тряпка — это подарок судьбы! Писать черный надо вот так!.. Чтоб звенел! Чтобы черти боялись!

Наши любимые преподаватели... Они нам нравятся. А мы их просто бесим.

— Вы бедного Давида замучили уже! Где затылок у него, я вас спрашиваю? Вы же его без мозгов оставили. У него лицо по золотому сечению, а ты яблоко вместо головы нарисовала. Идите все замуж! Нечего вам тут делать!

Мы замучили не одного Давида. У нас еще были Гомер, Август... Благодаря Давиду я научилась правильно рисовать нос. После такого успеха его нос изображался на всех портретах. (Даже у Афродиты.)

Августа я терпеть не могла. Три презрительно поднятых подбородка. Зрачков нет. А все равно видно, что поверх твоей головы смотрит.

— Раньше в Мухе учились одни мальчишки. Сегодня одни девчонки! Что изменилось в мире? Войны не будет? Это хорошо. Но проблемы будут у Гименя. Та-ак... Только цветочки будете нам рисовать? Зачем миру столько цветочков?!

Нам советуют идти замуж, и мы спускаемся в ткацкую. Плести судьбу.

Зубчатое деревянное животное с торчащими из брюха колесами и выпадающими изо рта нитями смотрит на нас устало. Многовековая усталость.

— Он немного скрипит, а что вы хотите, девятнадцатый век. Надо проникнуться. Ткать на нем тяжело, но потом вы перейдете на новые станки. Вот, например, наш новый финский станок...

Деревянный белокурый финн смотрит на нас весело. Похож на сказочные качели. На нем можно соткать ковер-самолет.

Станки заняты. Очередь. В ожидании своего часа занимаемся ручным ткачеством. Стучим вилками, прибивая нить к нити. (Вообще-то для этого есть специальные колотушки, но нам ближе вилки.) Мы похожи на семейство дятловых, а не на богинь Судеб.

Уже начался апрель, и кусочки света, отрываясь от оконной рамы, скользят по стене, смущая и искушая счастливой долей.

— А Аню правда из Мухи выгнали?

— Ага.

— Кошма-ар.

— Кошма-а-ар, — подхватывает хор голосов.

— Ничего не кошмар. Я в интернете видела — у нее своя школа танцев, палантины красивые делает и продает, парень есть...

Ткацкие вилки затихли.

— А что мы вообще будем делать после Мухи? А? Фабрики закрываются... Парусинка Штиглица травой поросла...

— Та-ак... Девочки, работаем, не болтаем, не отвлекаемся! У нас завтра обход. Текстильный городок снова оживает, набивая свой ритм.

«Надежды маленький оркестрик под управлением любви» стучит вилкой по пряже, как голодный ребенок по тарелке: кто-то отбивает барабанную дробь, кто-то перебирает нити руками, как струны арфы, а кто-то проводит вилкой вдоль натянутой основы, получая гитарный звук: «тру-у-ум, тру-у-ум. Тук-тук-тук-тук-тук...»

Все это вместе составляет единый неравномерный тук жизни.

И вообще — есть ли жизнь после Мухи?

А будущее — по самочувствию

На Руси пуповину разрезали на прялке. То есть от рождения и до замужества девушки были привязаны к прялкам — ткали приданое. Вот откуда это обманное чувство, что свобода начнется, когда нитки кончатся.

Русские дома все прошиты деревянным узором — ставни, наличники, крыши, двери... На деревянном наличнике сидит русалка, округлая, веселая и по выражению лица совершенно глупая. Она держит цветок, но не для того, чтобы понюхать или показать нам, — она его держит как щит, всей мощью своей огромной ладони, и даже не цветок, а скорее она сжимает какой-то куст, ступок жизни. (А может, веник для бани: дом на Руси начинали строить с бани.) На шее висят тяжеловесные бусы, ниже изображена грудь, как два весла, то есть не как объект красоты или вождения, а как тяжелая ноша. Не русалка, а Мать-Земля. Ударит хвостом по лбу непрошеного гостя — и все.

А в доме тоже узоры: печи, посуда, корзины, прялки...

...Прялка, пряжа, прядь. То есть волос, нить, судьба. Макошь? Нет, не Макошь. Марья. Сидит в избе, сгорбленная. Прядет приданое. Прядет, прядет. А замуж только сестры выходят. И снова колесо крутится, нитки наматываются, день ночь сменяет. Смотрит она на эту прялку — и ненавидит и узор сказочный, и пряжу, и нитку, что рвется беспрестанно...

И сидит Марья, Макошь... или это я уже сижу? И смотрю на свое ткачество. И через пустые, еще не затканые нити основы вижу: двух Насть, Юлю, Аню, Амину... Мы остались в ткацкой на ночь: на днях опять обход. Но мысли наши далеки от нас. Настя хочет в Кемерово, другая Настя к любимому в Йошкар-Олу, Аня хочет красить живопись, Юля хочет славы, но еще не знает, как ее запрячь, но много молчит, и поэтому всем кажется, что знает.

Мысли Амины дальше всех — в горах...

— Угощайтесь, девочки, пахлава, чак-чак, варенье, виноград, гранаты. Я уже объелась. А мне завтра еще привезут.

Ткачихи жадно разбирают угощение. И вилки, которыми они набивают пряжу, обретают свое истинное назначение.

— Обход, еще обход, а дальше-то что? Меня тревожит будущее.

— Будущее, будущее... Будущее — по самочувствию.

— Сдадим обход, закончим институт, застрелимся и улетим в Казахстан.

— Почему в Казахстан?

— Там Байконур. Можно полететь еще дальше.

— Или поедем в Парусинку, восстановим фабрику Штиглица, соткем паруса — и в добрый путь.

Парусинка

Парусинка. Парус. Пар. Рус... (Может послышаться «паутинка» — и тоже неспроста.) Бывшая суконная и льнопрядильная мануфактура Александра Штиглица... Здесь делали парусину для русского флота. Такой фабричный остров между Ивангородом и Нарвой: фабрики, похожие на замки... Ротонды, шпили, арки, колонны...

Сейчас на улице Текстильщиков не встретишь ни одного текстильщика. Повсюду руины, непригодные для жизни. Только для живописи. Фабрики закрыты. Город начинают населять кошки, подруги бедности.

Осталась одна-единственная преданная прядильщица. Она стоит на центральной

площади разрушенной эпохи — советская белокаменная девушка. В ситцевом платье и платочке.

Время выбило из ее рук веретено. Ветер нескольких десятилетий унес все нити. Когда-то это был памятник Доле. Она пряла нить. А за спиной ее работал огромный дворец текстильной фабрики.

Две голубки сели ей на плечи. Паук сплел паутинку от руки до руки. Но в его сеть попадают лишь капли дождя. С перевернутым отражением Доли-Недоли.

У текстильщиков бытует коронная фраза: «Все спасают кракелюры». Если что-то не удалось — закракелюрь.

Это когда неудавшийся батик покрывают горячим воском, снимают с подрамника и начинают мять как врага своего. Затем берут губку и в заломы втирают краску любого цвета. И получается — гром, молния, красота.

Если жизнь не удалась — можно ее закракелюрить.

Модели

- А что это за красивые женщины, убивающие мужчин?
- Ткачихи.
- То есть?
- Мойры. Богини, сплетающие нити судьбы.
- И кто победил?
- Ткачихи.

Люди вникают. Среди них наши модели, точнее, демонстраторы пластических поз. Они бродят вдоль Пергамского алтаря, опоясывающего Молодежный зал, — кони, хвосты тритонов, битвы богов с титанами...

Зал в два этажа, прозрачный купол в небо, белый мраморный барон Штиглиц улыбается: иногда иронично, насмешливо, иногда тепло, по-дружески — все зависит от нашего прилежания.

Студенты блуждают по коридорам вместе с богами, спускаются по мраморным лестницам вместе с музами, а в туалет ходят вместе с Екатериной II: пышный кринолин, серебряные подвески и съехавший набок белый корабль-парик входит в уборную.

— Девочки! Пропустите! Мне же вам позировать надо!

— А нам вас рисовать! — недовольно отзываются ученые рисовальщицы.

Наши модели... С каждым годом их лица становятся все живописнее. Появляются судьба и усталость. Лица их уже закракелюрила жизнь. Усталость лучше всего для рисунка — линии, заломы, морщины, столкновение холодного цвета и теплого...

Такие женщины очень любят ездить в метро до конечной остановки «Купчино» или «Дыбенко». Шляпа с полями, на ней фрукты: груши, яблоки — все почти свежее. И цветы. Да. Ну и весь костюм: платье, туфли, сумочка — и везде цветы, цветы, цветы.

Такие дамы расцветают после семидесяти. Как-то с ними это случается. До семидесяти они ведут нормальную жизнь — работают в загсе, решают кроссворды, вяжут, а потом бац! — они заходят в магазин «ВСЕ ПО 36» и покупают пластмассовую гирлянду из мимоз, надевают на голову и решают начать новую жизнь. Да-да, ту самую, «чистую, как родник, светлую, как солнце». Подобрал к этим мимозам сумку, туфли, бусы, ленты, они садятся во все троллейбусы, трамваи, электрички и едут. Они

родились, чтобы ехать, чтобы на них смотрели и чтобы эти электрички никогда не останавливались.

Сегодня модель Аделаида.

— Я себе костюм заказала... цвета морской волны. В Коктебель летом еду. В пансионат. А что там делать? Найду себе генерала. И буду с ним вдоль берега ходить. Ракушки собирать. Нет ракушек? Ну тогда тем более — что делать? Я, кстати, вдова генерала... Давно умер, да... Знаете, какая у него пенсия была?.. У-у!.. Платье цвета морской волны такое. Вы, как художники, что думаете, какого цвета к нему шляпа должна быть? Светлая или темная? Я сегодня заказывать буду.

Думаете, бежевая? Для лета? А я в сентябре еду. Да, но я вообще такие цвета люблю, ну вот как вы рисуете — фиолетовые. Вам нравится, как я одета? Да? Странно. Я вообще так по улице не хожу. Только вам позирую. Это моей мамы вещи. Она давно умерла. Вот ношу. Не знаю, что делать. Выкинуть, наверное, нужно. Но я к вам похожу. Идет мне? Странно. Никогда не любила, как она одевалась. А выкинуть не могу. Вот к вам надела.

Николай Петрович, балерун наш, такой худой. Жена у него есть? Он, кажется, и про детей рассказывал. Откуда они взялись? Я вот в театре играла. Там одни девочки были. Как у вас. Ну тогда еще война была.

Мама была коммунист, а я от церкви не отходила. А Бог-то есть? Я и не знаю уже. Что происходит сейчас? Крым чей? Наш? Не наш? Мне в Коктебель визу делать? Мне тогда на шляпу не хватит... Николай-балерун говорил, что не надо. Не доверяю худым. Непокорно с ними. Основательности нет. Наташу спрошу. Она хоть и в интернате балетном училась, а все равно толстая, но это от нервов. Ей в войну осколок в ногу попал... Ни балета, ни детства. И замуж, кажется, не вышла. Но они с Николаем Петровичем сейчас на дневной стационар вместе ходят... А я в театре играла любительском. Кого только не играла! Суслика играла. Потом еще собаку, как собака удивляется и скидывает одну бровь. Вы себе представляете?! Я неделю перед зеркалом тренировалась — не получилось. Спектакль сорвала, да. А может все-таки фиолетовую шляпу? А этот цвет как называется? Сливовый? А когда зеленый такой, но не фиштакшковый? Он больше в синий уходит... Ой! Это я?.. Девчонки, ну я же не толстая, зачем вы меня толстой нарисовали? Дома дорисовывать будете? Ладно уж. Только красиво чтобы получилась. И нос у меня другой. А вот у вас красиво нарисовано, мне нравится. Вы все молодцы. Я сфотографирую. Раньше профессионально фотографировала. Это у вас «Зенит-Е»? Подарили? Слушайте, вам повезло. Я столько за ним гонялась. Вы купите к нему желтый фильтр, он перистые облака хорошо снимает. Девочки, вам моя болтовня еще не надоела?

(Надоела, конечно, но у нас нет выхода.)

Нет? Ну тогда я вам еще про Павла Александровича расскажу.

Меня Павел Александрович, генерал мой, в театре встретил. Я с фотоаппаратом после спектакля в буфет шла... Думала, что ему понравилось, как я суслика играла, а он даже не понял, что это я была, — перевоплотилась!.. Но он меня из-за фотоаппарата остановил. У него отец их собирал когда-то. Разговорились. Умным показался. В театр их принудили пойти — культурная программа. Потом поженились... Театр бросила. Дети пошли. Когда рожала, думала, умру. Ну, второго точно рожать не буду. Родила. Ванюшу. По молодости многие абортывали. Не знали, что грех. Ни в Бога, ни в черта не верили. Один коммунизм, Ленин и бревно... А у меня прическа такая же была в прошлый раз? Так что вы молчите! Конечно, у меня волосы назад были убраны. Мне мама никогда челку не разрешала стричь. «Коса — девичья краса», — все время повторяла, я терпеть этого не могла. И под кофту эту косу прятала. Горбатая ходила.

После ее смерти под мальчика постриглась. Модная прическа была. И волосы не росли уже. Она права была. Не стригите волосы, девчонки. Хвостики делайте. Бантики. Мальчишки-то у вас есть? Ухаживают за вами? Вон у вас папки какие!.. Сами носите? Аяй!.. Мой сын-то уже вырос. Удачный брак. Не нарадуюсь. Он Овен, она Козерог. Сошлись рогатые. Мирно живут. Я в их жизнь не лезу. Не пускают. У них дело свое. И у родителей невестки завод. Помирать буду как королева! Гроб сосновый, туз бубновый. Вы ищите, ищите себе кавалеров! А то сами себя не прокормите, жизнь на облаке. Хотя одна моя приятельница говорит: богатым тяжело будет умирать, не то что бедным — налегке. Я правда не надоела вам своей болтовней?

На дружеском совете постановляем, что шляпа должна быть все же светло-бежевая: сентябрь в Крыму — это тоже лето.

...Они бродят вокруг нас и разглядывают наши рисунки — модели, которые уже отслужили, отсидели свои часы на постановках, но, по-видимому, не желают идти домой. Потому что жизнь — тут. Тут мы их бессмертим.

Один из наших утренних демонстраторов пластических фигур подходит к нам и говорит:

— Знаете, что на асфальте написано?

— Нет.

— Объявления. Предлагают любовь — и номер телефона написан. Мы с женой пять лет в разных комнатах спим. Позвонить? Как позвонить? Ну, это нехорошо. Неправильно как-то... Я не могу. И везде эти объявления. А я не могу.

...Худой, высокий старик на пороге вечности смотрит на асфальт. И не позвонит он никогда.

Зачем-то нам, студенткам, об этом скажет и пожалеет: «Зачем сказал?» Нет, ну нужна ему эта любовь?! Он же древний грек, ему тыщу лет. Вот сказал, о чем думал, и все. А кому он мог еще-то сказать? Жене? Учителям по рисунку? Нет. Сказал. Замолчал. Смотрит, как мы рисуем... Окна, колонны, лестницы — точка схода уходит в стеклянный купол.

Он идет по нашим лестницам, один, как в пустыне, цвет лица желтоватый, одет хорошо, но худой ужасно, поэтому его моделью по рисунку и взяли: кости видны — рисовать хорошо. Вот так ходит один и смотрит под ноги...

Я не знаю, как его зовут, но ему подходит имя Аркадий.

В музее

Петров-Водкин. «Играющие мальчики».

— Ну что тут такого в этой картине?

— Композиция! Посмотри, как взяты пятна по массам, — сказка! А цвета? Это же открытый цвет! Попробуй его так взять — ничего не получится! Смотри, зеленый и охра поют! В то время это переворот был.

— Переворот был у Матисса в «Танце». Тоже голые, тоже пляшут, и цвета поют. Красный, синий, зеленый.

— Здесь еще внимание к рисунку.

— Голышня какая-то.

— Высокохудожественная голышня!

— Мне больше нравится натюрморт «Бокал и лимон». От него всегда тоской тянет и морем.

Мой внутренний цензор — это, наверное, такая маленькая целомудренная

старушка, которая все время сидит за ткацким станком. Вот так, значит: сердце, почки, легкие и маленькая старушка.

В одном из залов Русского музея я встретила такую же старушку. Она сидела в углу второго зала и, видимо, с самого утра ждала меня. И бросилась ко мне с надеждой:

— Фотосъемка запрещена! Девушка!..

— Я записываю.

— Нельзя, девушка, нельзя!

— Что нельзя?

— То, что вы делаете!

— Я записываю имя художника и название работы, — показываю на табличку, у которой стою.

— Нельзя-я-я!

— Почему?

— Это частная собственность. Временная выставка, вы понимаете?

— Мысли свои записывать можно?

— Свои... но если свои... Нет. Тут никто так не делает!

Это могло бы польстить, конечно.

— Записывать на выставке запрещено!

— Почему?!

— Потому что это чужая собственность.

Она была похожа на маленького сухого цаплика из серых шерстяных ниток. Юбка-карандаш, рюши на рукавах и пучок-тыковка на голове, тоже будто из шерсти. Я пошла в третий зал... Цаплик остался, заключенный в маленький квадратик зала с чужой собственностью. И продолжал беспомощно взмахивать крыльями и повторять: «Нельзя! Не знаю... Просто нельзя!»

Ему очень хотелось проследовать за мной, но он только упирался в открытую дверь второго зала, не смея пройти: нельзя! — в третьем зале зона его контроля заканчивалась.

Тут на стульчике дремала женщина в костюме из белых подушек. Очень приятная спящая женщина.

Вокруг были картины последователей Петрова-Водкина. В центре висел автопортрет самого мастера. Я подошла к нему и долго смотрела. Ждала, когда мой затылок отпустит пристальный взгляд Цаплика. Этот взгляд блокировал мои мысли. Я чувствовала себя Давидом. С яблоком вместо головы. Кузьма Сергеевич посмотрел на меня:

— Ну что, Муху прогуливаешь?

— Ага.

— Ну тогда рекомендую велосипед...

Марк и Кузьма

Муха — будь она проклята — жужжит и жужжит, и усыпляет меня.

Марк Шагал. «Моя жизнь»

То что Петров-Водкин учился в Академии Штиглица, о чем с гордостью говорят все преподаватели, — это правда. Но они не говорят другую правду. Что он бросил нашу Муху, укатив сломя голову на велосипеде за горизонт.

— Мейн готт, мейн готт, какое приключение, как вы не способны к аккуратности, молодой человек!.. — говорили Кузьме преподаватели. — Это не есть технический работ! Вы никогда не будете прикладной рисователем!

И это была правда: с черчением у Кузьмы было «никак не хорошо есть».

Кузьма говорил, что ему легче умереть, чем справиться с рейсфедером, и готовальня была для него орудием пыток.

А вот живопись у Кузьмы — «дас ист зер гут».

Но школе технического рисования нужны были не живописцы, а именно «прикладные рисователи». И поэтому построенные во времена барона Штиглица фабрики, заводы и водонапорные башни похожи на замки и крепости.

Но Кузьма был другое дерево. Желто-красно-синее.

Кузьме предстояло переиначить земное пространство.

Но чтобы понять, как это сделать, ему надо было увидеть Землю. Увидеть, что там — за Соляным городком, Фонтанкой, Невой, ему нужно было пересечь линию горизонта и убедиться, что она может располагаться на его картинах, где душе угодно...

Тогда он садится на велосипед и отправляется в путешествие. На другой транспорт у него денег не было. Да и тот велосипед был подарен ему московской фирмой — для рекламной поездки.

И пока Кузьма изменял линию горизонта в Москве и Европе, в холодном Петербурге перед Марком Шагалом закрылись двери Академии художеств. А затем и школы Штиглица.

Позже он писал: «Тогда в Академию художников меня не приняли, наверное, за то, что я не мог хорошо рисовать колени».

Наверное, ему сказали:

— Идите со своими селедками! Или пририсуйте им ноги!

И он поднялся в небо и улетел с Беллой и селедками обратно в Витебск. Но это на картинах. А на самом деле он поступил в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, возглавляемую Николаем Рерихом.

«Сколько я ни занимался в школе Общества поощрения художеств, все впустую. Там ничему не учили. Наш директор Рерих сочинял неудобочитаемые стихи... Два года ушли даром. В классах холод. Пахло сыростью, гончарной глиной, красками, да еще кислой капустой и затхлой водой из Мойки...»

Марк пожизненно таскал свою вину за собой — он грешил, а картины говорили: «Прости, Белла! Мы летим вместе!», «Прости, Витебск, я скоро приеду!», «Простите, селедки, прости, дядя Нех, я не помогал тебе их чистить, но любил есть», «Прости, мама, я мало говорил с тобой...»

Марк восходил к своей славе в Париже. И когда спустя годы прибыл в Петербург, он не почтил своим вниманием ни Репу, ни Муху.

...Сейчас Муха стала гораздо свободнее. Всем можно рисовать красных коней и летающих селедок и ломать перспективу построения на рисунке как угодно. А петровых-водкиных и шагалов нет. Есть только велосипеды, крепко привязанные к фонарям академии. Они мирно спят и ждут своих хозяев, когда те окончат Муху, сядут на них и отправятся ломать перспективу и передвигать точку схода на горизонте...

Очень хочется уехать на этом велосипеде и видеть, как Муха уменьшается, скрывается из виду, становясь точно мухой, а линия горизонта не раскрывается, а становится ближе и ближе. И приблизившись наконец к этой нити-черте, поехать по ней вдоль жизни — по этой горячей сквозной, через мосты, разводя их руками...

Ты едешь и улыбаешься. И все думают, что ты идиот. Икар на велосипеде. У тебя

нет работы, тебе не хватает на краски и на еду. Надо срочно ловить рыбу, ее можно есть и рисовать, еще на ней можно улететь в Витебск или Париж.

Но позднее (когда-нибудь потом, совсем не скоро) ты поймешь, что куда бы ты ни ехал, на каком бы велосипеде ни мчался, какую бы рыбу ты ни ловил, над тобой все время будет жужжать Муха.

Муха всегда будет с тобой, даже если ты об этом не знаешь.

Постскриптум

— Ты прочел мою «Муху»?

— Да.

— И как?

— Обух, все очень плохо.

— Как?.. Тебе же ведь нравилось начало...

— Нет, начало нужно полностью удалить. Ты путаешь времена. Ты скачешь. Ты сама себя перебиваешь. Одну главу можно превратить в двадцать страниц честного текста. Составь план.

— Но у меня же клочковатое сознание...

Я вздохнула, но листы бумаги не упали с его стола.

Тут должна пойти песня Козина. Но она не идет. Идет снег. Потому что февраль. И потому что «каждый пишет, как он дышит».

Я надышала.

Просто надышала.

Получился узор на стекле.

Дышу дальше...

Бабочка февраля

Она влетела в единственное открытое окно. Банка с медом на столе, к холодильнику магнитами прикреплены вырезанные из журнала картины Модильяни — автопортрет и «Портрет Жанны Эбютерн».

Наверное, это хозяйева, подумала бабочка. Симпатичные. Но слепые. Глаза без зрачков.

Она вяло взмахнула крыльями. С каждым взмахом она обычно забывает то, о чем успела подумать: так она вырабатывает легкость.

В коридоре она замечает небольшой беспорядок и приземляется — тут ей точно найдется место. Она собирает крылья и проваливается в щель между паркетных досок. Сквозняк, думает бабочка, но ничего... Или усну, или умру. Если умру, хотелось бы попасть в магнолию. Говорят, что это райское место...

Размышления бабочки прерывает пыль, которая начинает подниматься из всех щелей и нести ее в неизвестном направлении. Домой пришел хозяин.

Он пришел с работы, где подал заявление об уходе.

Он вернулся совершенно свободным.

И совершенно счастливым.

Это совершенство придавало особую тяжесть его походке. Половицы скрипели, бабочку уносило прочь. Она пролетела мимо огромной книжной полки и шкафа, подумав: какие большие и странные деревья без листьев. Она посмотрела вверх и увидела солнце-лампу, на дне которой скопилось множество мертвых букашек. Застывшие силуэты икаров мешали лампе светить ярче. Бабочке стало душно. Она увидела открытую дверь балкона и скользнула туда.

Там покоился склад забытых вещей. Все было завернуто в пакеты и припорошено пылью. Но в то же время это создавало какой-то уют. Бабочке тоже захотелось отложить себя на потом. И забыть о своей доле... Она забила в самый мягкий и пыльный угол. Легла набок. Накрыла себя верхним крылом и задумалась о хризантеме. Говорят, это райское место...

Но ее раздумья на этот раз прервал голос женщины:

— Ку-ку. Ку-ку. Все готово.

«Ку-ку»? — подумала бабочка. Значит, на портрете точно была жена. Я не ошиблась. Она удивилась собственной памяти. И расстроилась, что крылья уже не вырабатывают беспометство, в связи с чем взлететь не было никакой возможности. Но ей стало очень интересно, как наяву выглядит хозяин. Он представился ей очень красивым. И неужели он женился на такой страшной и слепой женщине? Так ли ужасна она, как на портрете? Длинное лицо, несуразный нос, глаза без зрачков... И крыльев нет. Вообще.

Столько мыслей у бабочки никогда не было. Ей стало нехорошо. Изможденная, она вспомнила о пионах...

Он вошел на кухню и начал есть рис, размышляя о том, что это хороший рис. Что он сможет есть его неделю. Или месяц. Где-то лежит его любимая ячневая крупа. Можно попробовать приготовить к ней овощи. И какое-то время так можно прожить. Мысль о гречке его вообще успокоила. Он с удовольствием подумал, что впереди очень много времени. И он сможет написать свою книгу. Или даже шесть книг. Он просто очень долго откладывал. А сейчас все изменится.

Рис и гречка стояли у него на полке уже полгода. Он заметил в тарелке что-то черное:

— Черт! Черт!

Пищевая моль. Все к черту. Все пакеты с крупой и шесть книжек оказались в мусорном ведре.

Он вышел на балкон, чтобы закурить. Долго искал сигареты. Не нашел.

Стоя на балконе, он смотрел на свои зеленые тапки. Этот день нельзя исправить, подумал он. И вспомнил все пыльные углы, на которые смотрел в поисках сигарет. Пошел в ванную. Взял тряпку. Чтобы изменить хоть что-то.

Сегодня я не могу писать. Для этого нужно время. Я встану завтра утром. В шесть. И начну работать.

На полу лежал его старый блокнот. Именно лежал, не валялся. Как и книги, журналы, исписанные листы бумаги. Ему было так удобно. Он присел на матрас, который тоже устроился на полу, и открыл первую страницу блокнота: «Роман 2010 г.». Название затерлось. К началу проведена стрелочка с комментарием: «Обязательно написать о том, как мы ходили...» Капля. Гелевые чернила растеклись и засохли. На четырех листах шло продолжение заметок к роману.

Он в раздражении положил блокнот обратно на пол. «Обязательно написать, как мы ходили...» Куда ходили? Кто ходил? Зачем ходили? Он ничего не помнит. Нет, он помнит все. И название, и все остальные страницы он помнит почти наизусть. Но самое главное — куда они ходили... Это ведь точно было главным. С этого он хотел начать. Но упала капля. Откуда капля? Должно быть, снег залетел в открытую форточку. Лень было прибить сетку. Но чтобы прибить сетку, нужны были скободет и скобы. А самое главное, нужны были мысли о скободете и скобах. А их не было. Он вздохнул. Вспомнил о каше. И поморщился. Этот день бесконечно пропал. Он взял тряпку и вышел из комнаты...

Бабочку мучила бессонница, и она следила за его зелеными тапками. Туда-сюда. Туда-сюда. Такой зеленый и энергичный. Хорошо. Вообще она плохо разбиралась в мужчинах. Но на портрете был красивый коричневый пиджак и шарф. Ко всему она уже видела, что у него зеленые лапки, и была рада. Возможно, на лице у него хоботок, как у меня, и... Не успела она помечтать о нем, как хозяин сам вошел на балкон и веником вместе со всей пылью вымел и выкинул ее в мусорку.

Опять не рай, подумала она. Фу! Мертвая моль. Чистилище. Боже мой, подруги, что с вами?! Слипшиеся с рисом подруги молчали. Белая смерть. Черное на белом. Забыть. Забыть. Не помнить. Магнолия. Астры. Ромашки. Гиацинты... Бабочка судорожно махала крыльями в мешке для мусора, на котором было написано «Перекресток».

Он просто захотел навести порядок. И даже подумал о ремонте. Но на часах было уже восемь вечера. Время подумать про ужин. Его взгляд упал в мусорное ведро. Ему стало интересно, почему шевелится пыль. Он преодолел свою брезгливость и достал из пакета кусочек пыли.

Пыль тряслась и вспоминала задыхаясь: анемон, астра, астранция... Хотя бы ромашка, клевер... Бабочка пульсировала, как сумасшедшая. Прося у Бога лучшего места.

И оказалась на руках самого хозяина. Еще не придя в себя, она внимательно посмотрела на него и подумала: «Эвкалипт». Подруги из дальних стран когда-то переводили ей это слово: благо, скрытое в кронах. Или листьях. Или бутонах. Скрытое благо. Блажь. Вечнозеленый. И до сего дня невиданный.

Он пристально смотрел на сгусток пыли в своих руках, пока ладони не окрасились пылью: бабочка? в феврале?! Как же она здесь оказалась? И что теперь с ней делать?.. Выпустить? Она умрет. Оставить?.. Жить с бабочкой? Я же не сумасшедший.

Они отражались в большом зеркале в конце коридора. Почему, собственно, не оставить ее дома? Мы посмотримся. Он сделал селфи и бережно положил бабочку в угол своей комнаты. Где когда-то жила его собака.

Она послушно застыла в углу, как статуэтка. А он открыл айпад и стал читать в интернете «Как заботиться о бабочке». Его брови нахмурились и спрятались под оправу очков. Потом поочередно брови начали подниматься вверх, удивляясь прочитанному: «Кормить бабочку апельсинами. Растворить в воде три капли меда». А, вот еще абрикосовый нектар... «Режим сна бабочки». «Как правильно чистить лапки»...

Он перевел взгляд на бабочку.

Бабочка тут же расправила крылья, показывая ему узоры. Она была похожа на кусочек маленького обгоревшего атласа. Он всегда любил старинные атласы и карты...

Схожу за апельсинами.

Вернувшись домой, он принес три апельсина и все виды круп. Кроме рисовой — он старался удалять из жизни все плохие воспоминания. Выработывал легкость. Иногда получалось. Но не в этот раз: души пищевой моли пристально смотрели на него из «Перекрестка», который он забыл выкинуть.

— Ку-ку! Все готово, приятного аппетита! — сказал женский голос.

— Спасибо, — ответил он.

Бабочка ревновала. Он принес ей кольцо апельсина и блюдце с медовой водой.

Магнолия! — благодарно подумала бабочка, забравшись на апельсин и опустив усики в мякоть. Спасибо, Эвкалипт!

Выпив медовой, она немного покачала крыльями и уснула. Ему показалось, что она уснула. Раздался звонок. И он ушел в свой кабинет:

— Але, да. Да, уволился. Да к черту! Завтра займусь своими делами. Своими, да. Я в фейсбуке бабочку выставил, посмотри! Да, живет у меня. Первый день. Больше всего мне нравится ее кормить.

Бабочка услышала так: «Больше всего на свете мне нравится ее кормить! И фотографировать!» Это была бабочкина мечта. Она вдруг вспомнила, что всю жизнь хотела, чтобы ее кормили и фотографировали...

Когда она ела, он смотрел на нее. Любовался. Влюблен. И жалко стало ту женщину на кухне. Которая, наверное, все приготовила. И ждет утра, чтобы сделать ему с бабочкой завтрак. Конечно, он уже не любит ту женщину. Он всегда мечтал о бабочке. А та земная женщина просто не замечала этого. Так как была слепа. И всю жизнь готовила ему кашу.

От жалости и ревности у бабочки закололо в правом крыле. Наверное, надо сказать всю правду той женщине. Но бабочка не могла говорить. Она хотела показать всю свою красоту сопернице — но у той не было глаз. Нужно будет, чтоб он сам все сказал ей и она ушла. Так будет лучше для нее. Бабочка расправила крылья, но не смогла взлететь. Тогда она просто расправила крылья и направилась в кухню.

Он услышал странный шорох, выскочил в коридор и закрыл перед ней дверь. Она попробовала пройти сквозь, но ничего не получилось. Он взял ее за крылья и вернул в угол. Бабочка испытала боль. Она забыла, что совсем недавно хотела умереть на балконе. Теперь ей хотелось жить и ходить по его комнатам, наводя порядок. Когда он отпустил ее, ей стало еще больнее, кончики крыльев начали осыпаться... И ей стало страшно. Что будет, когда я умру? Он останется один? И никто не приготовит ему каши? Кукушка ведь тоже уйдет. Может быть, она уже ушла. На кухне так тихо. Уже ночь. А он все смотрит на меня. Ах, как я ему нравлюсь.

Он смотрел на бабочкины крылья, на их неровный край и чувствовал свою вину. Сидя на корточках, он ждал, когда она шевельнется. Но в одной из комнат заиграла музыка.

Кукушка еще там, подумала бабочка. Танцует. А когда ее не будет, там будут воспоминания. Нет, нам нужен новый дом, решила бабочка. Где у меня будет своя комната и сад с гладиолусами.

Бабочка вновь побрела на кухню.

На кухне никого не было. Только два хорошо знакомых ей портрета. Она вскарабкалась на стол и внимательно посмотрела на них. На столе было разлито немного медовой воды. Его рассеянность походила на заботу и умиляла бабочку. Она попила воды и огляделась по сторонам. Ее удивил кафель, который ложился только до середины стены. Под ним виднелись застывшие волны цемента и просветы кирпичных стен.

Ремонт закончился на середине, подумала бабочка. Жизнь закончилась на середине. Или: любовь ушла, а жизнь осталась. От такого глубокомыслия у бабочки потемнело в глазах. Она снова начала оглядывать кухню. Стиральная машина выплюнула порошок на пол, и он присох. Правый бок холодильника был стянут лентами паутины. Пауки Карл и Федр уже спали и не видели легкокрылую гостью...

В это время хозяин сидел за компьютером и отвечал на письма.

«Давай, хватит хандрить. Поехали на рыбалку. И бабочку можешь с собой взять. Для прикормки». — «Иди к черту».

«Я с вами не знакома, но тоже очень переживаю! Какой чудесный у вас рассказ про бабочку!» — «Спасибо, Анна».

Он никогда не был на рыбалке. Но каждый раз охотно откликнулся на предложение поехать. Я собираю добрые слова в своей почте, как паук крылья бабочки в своей паутине, усмехнулся он. Паук не в состоянии переварить крылья, как и съесть саму жертву. Поэтому сначала он впрыскивает яд внутрь. А потом высасывает жизнь. Крылья оставляет на память, так как сока в них нет.

В скайпе загорается зеленая галочка.

— Привет! Твой пост с бабочкой пользуется огромным успехом.

— Да, запустил бабочку в сеть. Она очень любит есть и фотографироваться. Прямо как ты.

— А что она сейчас делает?

— Мне самому интересно.

Он открывает дверь и видит, что бабочка, наевшись порошка, в токсическом угаре бежит по кухне. На часах четыре утра. Он кладет бабочку на апельсин, возвращает ее на место и идет спать.

Она проснулась рано и сразу пошла на кухню. Ждать Кукушку.

Он проснулся в полдень. Бабочка, как надзиратель, ходила по краю стола. От апельсина к стене и обратно. Он поставил готовиться кашу и сел на стул, чтобы рассмотреть гостью при дневном свете.

Он хлопал глазами, а она крыльями. Красивая, но страшная, подумал он. Какой-то таракан с крыльями. Бабочка отметила, что он не очень похож на свой портрет. И решила, кто ей нравится больше. Кольцо апельсина сыграло в пользу хозяина. Любимый!

Он думал, что хорошо было бы поехать в Нижний Новгород. Но не знал, с кем теперь ее оставить.

Бабочка принялась разглядывать портрет его жены. И напряженно ждала развязки. Сейчас она войдет. А тут я. Он скажет ей: «Прости, у меня другая». Та всплеснет руками. Заплачет. И уйдет. А он повесит на холодильник нашу вчерашнюю совместную фотографию.

Она не шевелила ни одним усиком, ждала. Ее зрение позволяло охватывать взглядом сразу всю комнату.

Раздался женский голос:

— Ку-ку! Ку-ку! Все готово! Приятного аппетита!

Но никого нет! Никто не заходил в комнату. А кукование продолжало нарастать.

— Ку-ку!! Ку...

Хозяин подошел и выключил мультиварку, прервав кукование.

Как она нехороша, подумала бабочка. Бескрылая коробка. Совсем не похожа на портрет. Значит, это еще одна женщина. Одна готовит ему кашу, а другая — на картине. Третья — я...

Овсянка медленно растекалась по тарелке. Каша похожа на тоску, подумал он. Или на эти обои. Цвет пустыни. Охра с молоком. Он вспомнил про молоко и достал

пакет из холодильника. Налил немного в блюдце, подумав, что бабочка тоже захочет попробовать. И ушел в комнату.

Бабочка осталась сидеть на кухне, разглядывая соперниц.

Жанна Эбютерн тоже смотрела на нее слепыми глазами, потом не выдержала, села на стул и начала краситься. Обвила губы красной помадой, положила румяна, чтобы выделить скулы, дорисовала зрачки и увидела бабочку. Бабочка почувствовала себя раздавленной. Ей хотелось уйти, улететь, но крылья не работали, а лапки прилипли к столу.

— Кто ты? Ты бабочка февраля. Тебя вообще не должно быть.

Портрет поправлял шляпу и продолжал говорить:

— А ты знаешь, что Набоков любил бабочек? Нет? Ты вообще читаешь книжки? Советую. В его кабинете первый шкаф, четвертая полка слева. Черное собрание сочинений. Зачем ты нужна ему, такая глупая?..

Бабочка затряслась и вдруг увидела, что вместо лапок у нее руки. А на голове шляпка жены. А жена сидит на столе и не может пошевелить лапками. Ее крылья медленно осыпаются. И чей-то голос продолжает говорить:

— Смотри, за окном метель. Февральская бабочка, смотри. Смотри, сколько вас...

В окно влетела целая стая белых февральских бабочек... Но они не узнавали ее и таяли...

...Бабочка пролежала в бреду весь день.

Занимаясь делами, он все время ловил себя на мысли, что ждет шелеста сухих крыльев. Этот звук мешал ему сосредоточиться, и одновременно его отсутствие беспокоило.

К вечеру он не выдержал, взял застывшую бабочку и поднес к своему лицу. Она тут же проснулась. И увидела, что любимый смотрит ей прямо в глаза.

А может быть, он на мне женится? Ведь я очень красивая. И он... Не успела она додумать свою мысль, как в его кабинете раздался звонок. И он оставил ее.

Нет, не женится... Ему со мной скучно, подумала бабочка. И прокралась за ним в кабинет. Он уже сидел перед экраном, в котором ему улыбалась рыжая девушка.

— Как твоя бабочка?

— Ужасно. Она чувствует себя здесь хозяйкой. Она заполонила собой все пространство. Я не могу работать, мне мерещится, что она всюду, и я боюсь на нее наступить. Мне приходится снимать паутину с ее лапок... И где она ее находит? А главное, непонятно, с кем ее оставить, когда мы поедем в Венецию.

— А мы все-таки поедем в Венецию? — недоверчиво спросила девушка.

— Конечно поедем.

— Только нужно ехать туда зимой. Зимой там очень красиво.

— Хорошо, а летом в Крым.

— А ты уже нашел работу? Или собрал листья с деревьев?

— Я взял кредитную карточку в банке.

— На самом деле ты собираешь листья с деревьев и расплачиваешься ими. И самое интересное, что у тебя принимают, — рассмеялась девушка.

— Так, — строго сказал он. — Ты едешь в Венецию или нет?

— Конечно, еду. У меня ведь тоже полные карманы листьев. Мы все время куда-то едем. По-моему, только вчера мы с тобой спустились с Альп. Или это был Нижний Новгород, ты не помнишь?

— Если я все успею к концу недели, мы обязательно поедем в Венецию.

Бабочка верила каждому его слову и переживала: что же будет со мной, когда они уедут? А как же его слепая жена? А Кукушка? Она ведь так верно служит ему...

Интересно, что такое Венеция? Наверное, тоже райское место...

Была уже ночь. Она ходила по книжным полкам, залезала в распахнутые страницы, блуждала между слов... Вся его комната состояла из слов. Она с ужасом посмотрела на чемоданы, стоящие друг на друге, — из них тоже торчала бумага. В Венецию собирается, подумала бабочка.

Бумаги казались ей снежными сугробами. Она забралась в самый большой и уснула.

...Утром среди своих бумаг он увидел сухой лист. Взял его в руки и бережно, словно боясь разбудить, пошел на балкон. И положил в самый пыльный и мягкий угол. Закрыв дверь.

Он просто устал обо мне заботиться, подумала бабочка.

— Я три дня кормил ее апельсинами! Когда я ее нашел, она просто подыхала, ты понимаешь?! Я подарил ей эти три дня.

— Хочешь сказать, она провела их в раю?

— Да, именно это я и хочу сказать. Я думал о ней каждую минуту. Но она все время вырубалась. И вообще...

— Она умерла?

— Не знаю. Я думаю, она улетела.

— В феврале? — спросила рыжая бабочка, живущая в скайпе.

Февральские бабочки. Миллионы бабочек. Они забрали себе все небо. Кто-то оседал на деревьях. Проводах. Крышах. Воротниках прохожих. Дети ловили их языком. Кто-то снова залетал в окна, не затянутые сеткой.

Я убил ее. Нет. Я кормил ее апельсинами. А потом она улетела.

...Летом к нему в окно залетали и другие бабочки. Он ловил их и отпускал на волю. Иногда фотографировал и отпускал. Давал им жизнь. Просто раскрывая ладони.

Однажды, разбирая балкон, он нашел ее крылья. Точнее, одно крыло. Узоры, когда-то напоминавшие карту-атлас, уже не были видны. Они рассыпались в его руках, как сусальное золото у неумелого мастера.

Но она еще долго оставалась этой мыслью в блокноте: «Обязательно написать о том, как мы ходили...»

Собственно, и теперь это стало совершенно очевидно, именно она, эта февральская бабочка, приземлившись на его раскрытый блокнот, стерла своей мокрой пылью его мысль.

Она виновата. Тварь.

Божья.

— Ку-ку, ку-ку!.. Все готово.

Ян Бруштейн

Вальсок уходящего мая

Ровеснику

Мой отец, корректировщик миномётного огня,
Спит — кричит, встаёт — не ропщет, только смотрит на меня.
А когда глаза закроет — то в атаку прёт, как все,
То опять окопчик роет на нейтральной полосе.
То ползёт и провод тащит, то хрипит на рубеже...
Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.
На моём дрожащем веке — слёзы кровью по ножу.
Ты остался в прошлом веке, я всё дальше ухожу.
Отчего ж не рвётся между наша общая судьба,
Это я огонь кремешный вызываю на себя,
Это я с последней ротой, с командиром на спине,
И в Синявинских болотах сердце выстудило — мне.
Голос твой — не громче ветра... Не расслышу, не пойму...
Почему же я всё это раньше не сказал ему.

Вечер лошади

Эта лошадь ходила по лугу,
Эта лошадь ходила по кругу
И как будто несла беду.
Были пятна на шкуре ржавы,
На задворках большой державы
Лошадь плакала на ходу.

Усмехались кобылки криво,
Малолетки неслись пугливо
И брезгливо смотрел жеребец,
Как старуха терпела пытку,
Как разбиты её копыта,
Как её погоняет бес...

Но в ушах, но в небесной выси
Пели скрипки и трубы выли,
Было всё, как во сне, во сне...
И всю развевалась чёлка,
И вертелась юлой девчонка
На широкой её спине.

Лошадь слышала гром оваций,
Но со славой легко расставаться,
Если розданы все долги,
Если смерть ничего не значит!..
На лугу цирковая кляча
Нарезала свои круги.

* * *

эти каменные были в паутине и в пыли
знаки памяти и боли чья-то выбила рука
это мы с тобой приплыли это мы с тобой дошли
наши беды и любви принесли издалека

в спину нам дышала матом расписная сторона
был бы я по жизни мотом всё растратил бы допрежь
только дальние раскаты и небесная война
да работа да заботы на закорках не допрёшь

этот груз полна кошёлка только выгорел дотла
всё отбросить и не жалко и остаться налегке
там где травы мягче шёлка и замёрзшая ветла
и последняя рыбалка на заплаканной реке

Девушка с веслом

Я больше девушку с веслом
Любил, чем пионера с горном.
Когда их обрекли на слом,
Так было горько!
Пацанчик, я на них глядел,
На их огромные фигуры.
Пятнистый гипс торчал из тел
И арматура.
Но всё же гордость в них была,
И стать заслуживала взгляда,
И эта девушка плыла
Над Ленинградом.
Горнист лишь для неё дудел,
И эти каменные звуки
Касались обречённых тел,
Крошили руки...

Шли после гипсовых утех
Века суровые, стальные
И я смотрю на прошлых, тех
Без ностальгии.
Но всё ж в душе бедлам и слом:
Пускай живу в молчанье гордом,
Ревную девушку с веслом
К парнишке с горном!

* * *

Вальсок уходящего мая
В невольные слёзы вотру.
Прижмётся покрепче, родная,
Полегче вдвоём на ветру.

А прошлое холодом дунет,
И травы запахнут, как мёд...
Но двадцать второе июня —
И вновь моё сердце сожмёт.

Молохта

Молохта моя — длинная, как день с утра,
Быстрая, как дыхание на бегу,
Холодная, как последняя из утрат,
Что ещё вспомнить могу?
В твоих бочагах вздыхают сомы,
Твои кувшинки — следы от солнечных лап.
Не от сумы спасаюсь, не от тюрьмы, —
От поздней печали, в которой я тих и слаб.
По этому берегу бегал мой огненный пёс,
И я (нынче странно это) за ним попевал,
Всплески и блики ловил он, цветы и стрекоз.
Вспомню — и наповал!
Облака над рекой, неспешные овны,
И солнце за ними — мой рыжий, мой золотой...
А сердце стучит так же неровно,
Как эти стихи — задыхающейся строкой.

Владимир Торчилин

Рассказы

Паучок

Музыку он никогда особенно не любил. То есть слушал, конечно, если уж что-то подворачивалось, — в машине, когда дорога длинная, он всегда «Маяк» врубал, пока еще был «Маяк», хоть симфония какая, хоть эстрада, хоть народные, а все веселей ехать; в гостях, когда танцы начинались, чего не покачаться, и звучит вполне приятно; пару раз в год даже на концерты выбирался, ну, это уж чтобы приятеля не обидеть, который то ли второй, то ли третьей скрипкой — как там у них считается? — работал в оркестре и всегда его приглашал, как тут откажешь? Вот и все, пожалуй. А то — звенит, гудит, бренькает, народу толпа кругом на концертах этих, и слушаешь, слушаешь, хоть бы что в голову пришло, так, каша какая-то из дня прожитого, дня следующего и невнятных мыслей о том, что надо бы как-то настроиться на положенный лад и вообразить себе что-нибудь, более соответствующее моменту, а кто его знает, что, собственно, надо воображать? Слушал как-то по приглашению того самого приятеля какую-то штуку, название запомнил, потому что звучало уж очень странно — «Послеполуденный отдых фавна», так что тамобразишь, если ни про какого фавна никогда и слыхом не слыхивал? Вот и вообрази невесть что, да еще как это невесть что после полудня отдыхает. От чего, интересно? Нет, что не для него — то не для него. Не может же всем одно и то же нравиться, а то представьте себе, что началось бы, если бы все мужики за одной девушкой побежали. Кошмар! Давка!

И в тот раз как-то случайно все произошло: ну, командировка, ну, отзаседался, ну, делать нечего вечером за несколько часов до отъезда — он в этом городе первый раз и знакомых никого. Мог бы, в конце концов, просто по центру пошататься, воздухом на дорогу подышать. Или в бар заглянуть. Тоже перед вылетом неплохо. А ему коллега один, с которым он, собственно, все дела и решал, возьми да и предложи вечером в собор городской — ну да это он когда-то собором был, а теперь, как положено, кафе там в колоннаде снаружи, а внутри музейчик какой-то и концертный зал — на органнй концерт сходить: и орган, дескать, тут у них на всю Европу знаменитый, и звучание какое-то необыкновенное, даже акустики какие-то приезжали чего-то там мерить, и программа тоже необыкновенная, и в придачу какая-то мировая

Владимир Торчилин родился в 1946 году в Москве, окончил химический факультет МГУ. Доктор химических наук, профессор, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, живет в Бостоне, работает директором Центра наномедицины в Северовосточном университете, США. Прозаик, автор книг: «Странные рассказы» (М., 1995), «Повезло» (США, 1997), «Время между» (М., 2000), «Кружок друзей Автандила» (М., 2006), «Лабух» (М., 2012), «Дом на Маросейке» (М., 2016) и многих журнальных публикаций. Постоянный автор нашего журнала.

знаменитость гастролирует — всего три концерта в городе, — и главное, коллега этот в музыкальные круги вхож, так что им обеспечены два места наверху, на хорах, откуда на органиста можно смотреть, — это прямо невероятная какая-то привилегия, а то ведь все, кто внизу сидят, только слушать могут, а кто играет, им даже толком не видать, это вам не концерт для фортепьяно с оркестром, когда все только и смотрят, как мужик во фраке на сцене выделяется. Вот он и пошел, только что и успел в номер заскочить рубашку поменять и галстук нацепить — все-таки выход в свет.

Ну, в общем, пришли они, как положено. Внутри красота, конечно, витражи там разные, темное дерево, скамьи резные, колонны со скульптурами, орган вверху чуть виден. Он начал было трубы считать, но сбился — маленьких почти и не видно снизу, да к тому же то одна колонна мешает, то другая — в общем, бросил. Побродили по залу, но народ все прибывал — аншлаг, что и говорить! — так что решили внизу, в толпе, больше не задерживаться, а пробираться к себе наверх. Это только снизу казалось, что до органа не так уж и высоко, а как пришлось по этой витой башенной лестнице подниматься внутри серого камня — взмок весь. Наверху орган действительно оказался огромным (трубы он решил посчитать попозже, когда концерт начнется), толстые дудки с дырками уходили прямо в крышу, светясь в сгущавшемся к потолку сумраке, как хорошо смазанные ружейные стволы. На крошечном пятячке у органного подножия перед сложным агрегатом с клавиатурой и многочисленными педалями стоял освещенный темно-желтым светом стульчик, стиснутый со всех сторон невесть как втащенными по узкой каменной лестнице (потом он сообразил, что их, скорее всего, втаскивали сюда на веревках прямо снизу) высокими деревянными стульями с резными треугольными спинками. Было этих стульев числом двенадцать (он бестактно хихикнул, подсчитав), и два предназначались им. Номеров на местах не было, но они заняли лучшие, как они решили, из оставшихся — человек шесть уже сидело. Быстро заполнились и остальные. Женский голос бог знает откуда что-то сообщил через развешенные внизу динамики. Снизу раздались аплодисменты: по-видимому, публика поторапливала с началом. Почти немедленно в ответ на них тот же приятный женский голос — откуда, он так и не понял — проговорил нечто длительное на незнакомом ему местном языке, наверное, имя и титулы исполнителя и программу концерта, снизу снова захлопали. Слегка пошевелила руками и окружавшая их музыкальная аристократия, до уровня которой они вознеслись благодаря связям его коллеги, и прямо перед ними в желтом круге появился невидимый снизу исполнитель.

«И хорошо, что они его не видят, — подумал он, — поскольку десяток человек еще способны сдерживать смех, а из сотен сидящих внизу кто-нибудь обязательно бы рассмеялся» — до того облик знаменитости не вязался с возвышенной музыкой. На стульчике ерзал, поудобнее прилаживаясь к пульту, маленький жирненький человечек в черном, из кругленького тельца которого нелепо торчали в стороны короткие ножки и ручки с пухленькими пальчиками. Казалось, что ему никак не удастся растянуть себя так, чтобы одновременно доставать до всех необходимых клавиш, педалей и рычажков, но он как-то извернулся, прилепил свои конечности к требуемым точкам, на мгновение замер и наконец извлек из трубчатой груды металла («прямо паучок какой-то на батарее центрального отопления», — подумал он) первый низкий и вибрирующий звук.

Орган всегда казался ему занудством, поэтому он даже не стал особенно вслушиваться в музыку, зачислив себе в актив уже сам факт присутствия в столь изысканном месте, а сразу приступил к намеченному ранее подсчету числа органных стволов. Он решил двигаться снизу вверх и слева направо, отмечая десятки загнутыми пальцами. Поначалу дело пошло, хотя вокруг что-то звенело и гудело, но через полсотни ему перевалить не удалось, что-то — он и сам не смог бы сказать, что именно — помешало. Он начал снова, снова сбился, потом еще раз, и опять с тем же результатом, и тут только понял, как отвлекает, более того, как будоражит его

внимание бьющаяся где-то в самом нижнем углу правого глаза нелепая черная фигурка. Он передвинул взгляд через шесть замерших в почтительном и понимающем внимании соседних тел и вонзил его в дергающуюся спину органиста.

Наверное, с точки зрения мухи, это и называется попасть в паутину. Паучок спиной ощутил прикосновение его взгляда и не глядя, но без промаха, метнул в его сторону первую толстую и низко гудящую нить. Он дернулся, но было уже поздно: внешне беспорядочно, но на самом деле в абсолютной, ведомой и слышимой только самому паучку гармонии черное тельце продолжало дергаться, сокращаться, вытягиваться, вырастать далеко за пределы желтого светового круга и вновь съеживаться до еле заметной на круглом кожаном стульчике вишенки, и при каждом движении выбрасывало в его сторону все новые и новые нити, заматывающие, опутывающие, обездвиживающие его на жестком деревянном сиденье, предназначенном быть ловушкой для подобных ему насекомых. Он еще пытался шевелиться, жужжать и бить крыльями в тщетной надежде разорвать сооружаемый вокруг него гибкий, сверкающий и смертельно прочный кокон, сплетаемый из тонких, с комариный писк, ниточек, скрепляемый нитями средней толщины, с голос любимой женщины и, наконец, запечатываемый толстыми канатами из рокота восьмибального прибора, но тщетно... Он был пойман намертво, и холодный ужас предсмертного восторга потек по его спине тонкими струйками пота, прорвался из глубины тела через мгновенно вспучившиеся на коже вулканчики обессиливающей дрожи и задвинул его глаза непроницаемыми шторками век, чтобы никакое внешнее действие не могло оторвать его душу от головокружительного покачивания на растянутой во весь огромный зал паутине. Он читал когда-то про девочку из давнишнего позапрошлого века, которая не хотела верить в смертельную жестокость природной гармонии и считала, что пауки служат няньками при мухах и всего лишь укачивают уставших и суетливых летателей на бескорыстно сплетенных гамаках. И это было правдой, как правдой было и то, что нянька-паучок, не обращая, казалось бы, ни малейшего внимания на своего очередного подопечного, продолжал тем не менее потихоньку пошевеливать его на бесконечной упругой волне, поворачивая спеленутую тушку поудобнее, чтобы безошибочными прикосновениями высосать его жизнь и душу и вобрать их в свое раздувшееся до полного света, потолка и неба тело...

Он не слышал, как аплодировал зал, как объявляли следующую пьесу, как одобрительно переговаривались в коротких паузах его соседи, как обеспокоенный коллега спрашивал, все ли у него в порядке и не хочет ли он выйти на воздух, а то тут и правда душновато, он не видел, как зажегся свет, как отлепилась от стула и от пульта кругленькая фигурка, как поклонилась она в никуда, прощальным жестом проводя розовыми сосисочками пальцев по обессиленно вздохнувшей клавиатуре органа... На резном коричневом стуле валялась его сухая опустошенная шкурка, которой понадобились бесконечные секунды, чтобы снова наполниться звуками, чувствами и ощущениями сегодняшнего дня.

Он не запомнил имени паучка, как ничего не оставило в его памяти и объявленное на чужом языке название исполнявшейся им музыки — программки они не купили, после концерта было не до разговоров, а в ночь он уже улетал, — но он узнает и пухленькую фигурку, и на века сплетенную сеть звуков, стоит ему еще раз увидеть их и услышать, почему и зачастил в концерты в надежде вновь почувствовать у себя на спине сладкий холодок обездвиживающего восторга. Пока напрасно. То есть ему нравится, ему даже кажется, что он что-то такое стал понимать, но не то, все не то... Паучок нужен... Жена, впрочем, довольна: чем невесть где с друзьями по вечерам шляться...

Разговор

— Добрый вечер. Марину позовите, пожалуйста.

— Добрый вечер. А кто ее спрашивает?

(Вот манера дурацкая! Хоть бы сказала — есть, нет. А то: «Кто?» Какое твое дело, «кто»? Как я тебе объяснять буду? Мать, наверное. Интересно, она в курсе?)

— *(мрачно)* Знакомый.

— *(с иронией)* Зна-а-а-комый... Марина!.. Тебя...

(Ну, держись. Шаги, что ли... Нет... Да что она там? Идет? Как начать?.. Как начать?.. Как начать?!)

— Алло *(и не знает, что ее ждет!)*.

— Марина? Это я! Только не вешай трубку... не вешай трубку.

(Боже мой, а я-то думала — все кончилось наконец...)

— Что те-бе на-до?

— Тебя...

(Меня! Интересно, куда — в койку, в гости?)

— И только-то? Такой дряни-то, как ты выразился? Может, конечно, я и дрянь, но тебе и этого слишком много...

(Господи — разговаривает! Разговаривает! И зачем только я тогда все наговорил, зачем?)

— Марина, Мариночка, Маришенька...

(Ну, опять те же штучки. Ты мне еще в шейку посопи!)

— Вот что, милый, ты этот лепет брось. Поначалу он на меня действовал, но наслушалась. Есть что сказать — скажи, нет — до свидания, и постарайся больше не появляться. Последнее верно даже и в том случае, если ты все-таки найдешь что-нибудь новенькое сказать, хотя я в этом сильно сомневаюсь.

(Она говорит со мной моими словами! Это я сам с собой говорю. Зачем мне все это надо было? Ну почему у меня все не по-человечески получается?)

— Хорошо. Я без этого попробую *(торопливо)*, но ты все равно меня выслушай. Ладно?

— ...

(Молчит. Значит, ждет! Она меня ждет! Я сейчас, сейчас...)

— Послушай, Ма... Не знаю, как дальше, опять тебе не понравится. Но не в этом дело, не в этом. И ты сама это понимаешь. Ты просто не можешь так взять и не говорить со мной, и не слушать меня, после всего нашего... Нет, неправильно! Это я не могу с тобой не говорить. И вообще. Понимаешь, я сам вижу — все не так, все из-за меня, наверное. Но ведь я такой же, как был. Я-то сам это точно знаю. И ведь я тебе такой очень даже годился. Значит, это с тобой что-то случилось. Конечно, иногда я заводился, но ты же знала, ты же знаешь, что бы плохого я ни сказал, это же только так, в споре, в ссоре, ведь я так не думаю и не чувствую — ты же знаешь! Так что же тогда? Почему вдруг? Ты что, только повода ждала? Последний раз ты сама меня подвела — я теперь понимаю — к этому «век бы тебя не видать»!

— Коли цитируешь, то давай точнее: «Дрянь! Сволочь! Век бы тебя, дуру поганую, не видать!». Это я не в плане дискуссии, а просто порядка ради, как ты любишь выражаться, а то ты так мило изливаешься, что, глядишь, и сам поверишь, будто кроме невинной «дуры» ничего и не выдал, а я, мерзавка, не в силах понять твоих бурных чувств, из-за пустяка завелась. И предпоследний раз вспомни. И предпредпоследний. Ну, и так далее. Прости, что перебила.

(Зачем она так? Ну, как она не понимает, что я правду говорю. Как ей объяснить?!)

— Оставь ради бога этот язвительный тон. Помню я, все помню. Но ведь не в этом сейчас дело. Я думал. Я много думал.

— Ну конечно, ты у нас в этом деле мастер!

— Не надо! Ведь все это ерунда! Ну, «дура», ну, «дрянь», ну, «сволочь», в конце концов, — мало ли какая гадость лезет на язык, когда заведешься, да еще после гостей и двух стаканов на грудь.

— Стаканы тут ни при чем. Ты и трезвый столь же категорически высказываешься. А потом, почему «не в этом дело»? А в чем? В твоих чудных душевных качествах и большом ко мне расположении, скрытых за грубоватыми ухватками? Да они так скрыты, что мне их и видеть-то толком не приходилось. Разве что в койке. Там ты и правда размякаешь. Да и то больше руками гладишь, чем словами.

— Значит, все-таки что-то неплохо было?

— Не лови меня на слове. Разве я говорила, что плохо? Я о другом сейчас. Я пока эти недели спокойно жила, тоже многое передумала. И потому сейчас с тобой говорить согласилась, что теперь могу спокойно это делать. Так что не думай, будто я снова на тебя польстилась и только ищущи возможности поблагопристойней раскаться и вернуться, так сказать, на ложе любви. Нет, дорогой, маком! Я ведь вот что сообразила: никогда мы с тобой на одном уровне друг на друга не смотрели — может, и был момент, но мы его проскочили. Ты, ты проскочил! Ты же умный! А я не понимала тогда. Теперь понимаю. Ты сам вспомни, как все было.

(Неужели... Нет, ты не можешь так, и я не могу... А вдруг правда?..)

— Зачем ты так говоришь? Разве плохо было? Ты же сама любила вспоминать... А я и сейчас все помню. Все. И где, и когда, и как, и во что была одета, и куда ходили...

— Не части, не части. Что-что, а память у тебя отличная. Это мы все знаем, а кто не знал, того ты сам просвещал. Если бы только меня помнил. А то я знаю, у тебя все записано в головушке — и я, и предыдущие, и параллельные — так? И справочник по математике, и стихов тыщи две — плохо ли к случаю девочку помоложе умастить — и бог весть еще что. Так что этим не козыряй. Я у тебя только на одной из полок, даже полочек... Так это я сейчас вижу, а тогда где мне было, школьнице вчерашней. И лестно, и страшно — кто за мной ухаживает! Девки в группе и смеялись, и завидовали, да и смеялись, потому что завидовали. Я хоть и гордилась, но в основном боялась — вдруг что не так скажу или сделаю, ты и прозреешь. Так что спасибо, хоть ума хватало помалкивать.

— Ну, положим, какой ты была, мне и тогда ясно было. И зря ты не веришь, что не в этом дело. Ты и в наивности тогдашней так хороша была, что у меня на любую твою чушь сердце замирало. А когда я понял — а я быстро понял! — как ты стараешься для меня посерьезней выглядеть — у тебя аж скрипело все, так ты старалась! — я от умиления чуть не плакал! Ты же ко встречам со мной, как к экзаменам, готовилась. Ты же на выставку какую-нибудь никогда не соглашалась пойти сразу. Только на следующий день. Думаешь, я не знаю почему? И сейчас знаю, и тогда знал: ты вечером или ночью там, не знаю, здоровья у тебя всегда хватало — что там ночь не поспать! — книжки у Ольги листала, готовилась, чтобы не осрамиться случаем, Мане с Моне не перепутать. Хорошо еще, что у тебя такая подруга с родительской библиотекой была, а то бы ты и в Ленинку поехала! Стала бы ты все это делать, если бы тебе просто лестно было, что я за тобой шьюсь? Ни за что не стала бы! Если бы я тебе самой не нужен был, ты бы с твоим характером не то что в книжки не полезла бы, а наоборот, еще нарочно стала бы всякую чушь нести — дескать, вот я какая. Пусть темнота и по музеям не хожу, а с ним, голубчиком, что хочу, то и делаю. Но ты же мне не просто нравиться хотела, ты и так видела, как я присох, нет, ты хотела еще, чтобы мне с тобой интересно было, чтобы мы не просто так, а парой стали. Что, не так разве?

— ...

— Алло! Алло! Ты тут? Ты чего молчишь? Я что-нибудь не так сказал? Снова начинаешь... Я ведь не хотел...

— А ты меня ничем и не обидел. На этот раз, во всяком случае. Я думала просто.

Пусть и медленно, но думала, Наверное, так все и было. Ты все-таки и правда умный. Я сама себе все это не всегда объяснить могу, а ты говоришь — и я чувствую: так и было. Да, влюбилась. И ты сам это знаешь. Не сразу, правильно. Сначала просто лестно было, потом вообще в этой коллизии — учитель и ученица — что-то есть. Если бы не с тобой говорила, то, пожалуй, Элоизу с Абеяром помянула бы, но тебя такими аналогиями не удивишь, тем более что это я от тебя и услышала. Потом перед девками гордилась, потом мне нравилось тебя слушать, а потом увидела, что вовсе ты не так уж и далеко и нечего мне с тобой на «вы» держаться. Тогда, наверное, и влюбилась по-настоящему. А когда любишь, ты и сам знаешь, не хочется неумной или малограмотной казаться, тут ты прав — потому и готовилась. А если бы не влюбилась, не затащил бы ты меня на своих Мане — ты бы сам тогда со мной на танцы в студенческий клуб ходил, да еще и радовался бы, если разок с тобой потанцую, в этом-то ты не великий мастер, и даже ради меня научиться не постарался.

— А что, жалеешь, что до меня по своим танцам не находилась? Кстати, я тебе всегда говорил — не надо поминать кого-нибудь вроде Абеяра, чтобы удивить. Это само собой должно получаться, автоматически, без подготовки, а то кажется, что ты урок отвечаешь.

(Ну, начал свою учебу! Даже сейчас пропустить не может!)

— Опять ты прав (*Объяснить ему? Нет, не поймет... Нет — объяснить! Пусть как получится... Пусть увидит...*), но, знаешь, сейчас меня это не задевает. Сначала радовало: гордилась, какой ты умный у меня. Потом бесило: понимала, что нарочно — не нарочно, а ты мне все время, какая я дура, показываешь. А сейчас — все равно как если со стороны смотрю. И еще — ну хорошо, ты, ну еще там Лешенька, твой дружок, гений номер два, или номер один, я так никогда и не могла понять, кто у вас под каким номером проходит, — уловите, что Абеяра у меня после подготовки выстрелил, но с вами-то — все! Все — не видаться мне больше и не говорить, подавитесь вы вашей автоматической эрудицией, тоже мне приверженцы классического образования, а ни один на своей девушке жениться так и не решился! Сколько вы нас с Милкой мучаете, да еще каждый может такого наговорить, что от пьяницы в автобусе не услышишь, зато у вас интонации интеллигентные! Ну и черт с вами — так о чем я? Ах да, так вот, ваша пронизательность мне больше не грозит, а для других, попроще, мой Абеяра на ура пройдет, так что уж лучше я буду первая в деревне, чем неизвестно какая с тобой!

(Что она несет?.. Что несет?.. Но сердится — значит, не все равно ей! Не все равно! Ведь только одно в этой говорильне верно — не женился! Дурак! Сам знаю, что дурак... Радость ты моя... Да я сейчас на животе готов ползти, только бы ты согласилась... Ведь не поздно еще? Правда ведь, не поздно, а?)

— Передохни, передохни. Все! Сдаюсь! С грязью ты меня смешала — там мне и место!

(Шут проклятый!)

— Не юродствуй. Ты всегда начинаешь ваньку валять, когда тебя уест что-нибудь, а ответить нечем.

— Да ничего я не валяю. Слушай, ведь действительно все правда — только это все вовсе не то, что ты наговорила, а одно только — что я, дурак и хам трамвайный, на тебе, красавице и умнице, не женился, а проживал с тобой, так сказать, в безнравственном сожителстве, да еще за все эти годы с твоей мамой не соизволил познакомиться. Вот — стержень, а остальное — от него отростки.

(Господи, сейчас он вывернет все наизнанку и я стану стервой, которая хочет такого чудного мужа заполучить! Ну почему у него все так переворачивается, почему?)

— Почему?... — *(Ох, неужели я себя опять не контролирую? Спокойно, только спокойно. Спокойненько... Раз, два, три... Главное — это спокойствие...)*

— Что почему? Ты что замолкла? Алло! Алло!.. Ты слышишь?.. Что, разъединилось? *(Вот дурак — у кого я спрашиваю, если разъединилось? Совсем ошалел...)*

(Заметался, миленький. Это тебе надо поспокойней быть, а не мне. Ишь... Ну, зачем я так? Ведь он же и вправду боится, что я разъединилась... Неужели все-таки без меня остаться боится? Или это опять выверты его дурацкие... Ну, повони, повони за все... Не убудет...)

— Ничего не случилось, дорогой мой. Просто мне доставило удовольствие послушать, как ты меня зовешь, так сказать, из мрака своего одиночества. И то сказать, как я тебя понимаю — такой телки лишиться! Второй такой тебе уже не найти. Труба у тебя уже пониже и пар пожиже. Так что зови. Должна сказать, что это, в общем, даже приятно, если забыть, конечно, что ты любую тоску можешь по телефону изобразить, решая кроссворд. Проходили. Я еще помню, как ты от меня своей предыдущей, Оленьке-зануде, звонил и что говорил, меня при этом по заду наглаживая. Тогда это смешным казалось, но мне в науку тоже пошло. *(Ох, зачем я это лягнула? Не надо было. Я же сама его от этой Оленьки руками-ногами отбивала...)*

(Ах ты дрянь, куда же ты бьешь? Хоть и не так все было, но все равно я этого всего вспомнить без огорчения сам не могу. Даже сейчас взмок весь... Но ведь и это тогда только для тебя... Как ты не поймешь? Как же ты...)

— Это ты зря вспомнила. Ну да я сейчас препираться не хочу. Я хотел тебе сказать до этого, что готов был тебе то самое удовольствие — звать тебя, откуда там ты сказала — в любых количествах доставить, лишь бы знать, что для тебя это и вправду удовольствие. Нет, как-то ты меня осекла тем, что сейчас сказала. У меня столько слов было, а сейчас они как-то не выговариваются. Это ерунда, наверное... Но как-то... Видишь ли, я ни на что не обижаюсь. Если тебя не будет, то это больше любой обиды, но просто есть что-то, что — ну как бы тебе объяснить — ну, что ли, в моем представлении ты не должна была так говорить, или уж как-то помягче касаться, ну, понимать как-то. В тебе ведь жестокости не было. Никогда. Обругать — одно, а вот так — другое. И сразу все труднее становится... Ты...

(Ну, пошел туманные чувства выразить! Я и сама знаю, что зря брякнула, так что мне теперь — удавиться?)

— Может, и погорячилась, но школа твоя — вспомни, как ты каждый этап моего недлинного жизненного пути умел в нужную минуту мне в вину поставить. Каждый! Где ты их только узнал все, до сих пор ума не приложу — и уж тогда не миндальничал. А мальчиков моих тогдашних как ты... Мне, дуру, уже казаться тогда стало, что и впрямь позор какой, что я с ними что-то имела, а потом я поняла, что ты просто весь исходишь от того, что я вообще с кем-то что-то имела, а не прямо из морской пены только для тебя родилась. Да если бы я с Наполеоном спала, ты умудрился бы доказать, что все полководцы мразь, а те, кто с ними спят, — мразь вдвойне. Так что потерпи и ты.

— Послушай, зачем ты из себя меня корчишь? Я тебя за то и люблю, что в тебе многое по-другому, чем у меня, а многое лучше, наверное. Я же никогда не пытался твое нутро переделать, а больше антураж наводил, зачем же ты у меня ненужное хватаешь, а за хорошее даже спасибо не скажешь?

— Ладно, знакомая песня. Тебе бы миссионером служить, и хорошо бы тебя дикари сожрали до того, как ты на мою голову свалился! И не ври. Ты меня как раз точь-в-точь под себя подгонял и как злился-то, если где-то не сходилось. Это тебе не Пигмалион, точнее, это мне не Пигмалион был. И не этот, как там... ты мне давал читать... американец этот, забыла, от таких бесед последнее вылетит! Да, Джеймс твой любимый. Как там ее звали?.. Изабелла, да? Так тех тоже воспитывали — одну манерами, другую деньгами — не так уж плохо, а ты меня умом, как дрессировщик собачку — это значит то-то, это — то-то, это тогда было, а это — тогда-то, рассуждать так надо, а так нет, тут правило исключенного третьего работает, а тут еще что-то. Может, это все и неплохо, но это если в придачу ко мне, а не вместо меня. Так что я,

может, тебе и благодарна, но уж точно не за то, с каким трудом я собой осталась или, точнее, снова становлюсь.

(Неужели она так вправду думает? Неужели так было? Нет, не может быть... Она просто не хочет сейчас видеть, что ей от меня прок был, но ведь речь не об этом... Не об этом же речь!)

— Не оплакивай себя и не хули! Уничуждение паче гордости. У тебя всегда собственного ума хватало, и я это всегда говорил, а иначе ничему бы я тебя научить не смог. И сейчас ты, хоть и горячишься — ты ведь меня не обманешь своим спокойствием, — но многое правильно говоришь. И можешь мне поверить, что я понимаю, ну, не все, конечно, так, как ты говоришь, но понимаю. И не звонил тебе эти полтора месяца не потому, что пробовал без тебя обойтись — я сразу понял, что этого не смогу; и не чтобы тебя проучить — я сам «проучивался» в сто раз больше — ведь я всегда к тебе больше рвался, чем ты ко мне... Нет, я просто боялся, что если сразу говорить стану, то сорвусь как-нибудь, не смогу тебя слушать и понять не смогу, а сейчас могу... Верить ты мне наконец? Верить? — *(Я больше не могу... Я весь выжат. У меня сейчас голова разорвется. Я не могу даже толком сказать то, что хочу. Почему с ней у меня никогда не получается?... Каждая мелочь в сторону уводит... И без нее не получается... Да услышь же ты наконец... Не могу!..)*

(Я больше не могу! Я сейчас расплачусь! Не знаю, от жалости к нему, к себе или просто от злости. Я убью его прямо по телефону. Ну перестань же ты меня мучить... Что же будет, господи?..)

— ...

— Ну, ответь же, веришь? Ну, не можешь сейчас, подумай, подожди, я тоже подожду, я тебе через несколько дней опять позвоню, ладно?

— Звони, звони... *(Правда хочу?)* если делать нечего, потрепемся вроде сегодняшнего... *(А ведь все равно позвонит.)*

(Ну вот, все зря. Ей плевать. Но как же... А может, прямо завтра позвонить?)

— Маришенька, я тебе завт...

Ту-ту-ту-ту-ту.....

Песнь о Петровиче

Невелик человек был Петрович. Если уж честно говорить, то и совсем мал — и то, что за птица: инженер в отделе снабжения. Ну, пусть даже не просто инженер, а руководитель группы, все равно — почету пшик, да и зарплата практически такая же. Только и было в нем гордости, что гендиректора фирмочки нашей он еще с юных лет знал. В каком-то там студенческом клубе они вместе подвизались — то ли пели, то ли плясали, то ли марки коллекционировали... Никто из нас этого толком не знал, но знали, что уж кто-кто, а Петрович за директора всегда горой — он у него и умнее всех, и справедливее, и организатор, и талант редкий — только удивляться остается: чего это мы еще до Майкрософта не дотягиваем с таким-то руководителем?

Мне, конечно, трудно судить, какой он там действительно — вроде ничего, но мы-то в отделе главного механика мало с ним виделись, разве что на общих собраниях; для нас главный механик всех важнее был — сильнее кошки зверя нет, но вот что ума у директора хватало именно на Петровича дела всякие щекотливые валить, это точно, такого от народа не скроешь. Тем более, что и я, и еще кое-кто из нас с Петровичем даже корешился — вместе из одной лопнувшей фирмочки сюда перебрались.

И Петрович — в обычной жизни человек скромный, нетребовательный и вполне порядочный — на всякие дела, как бы они там ни пахли, лишь бы еще и директорский запах от них шел (кстати, директора он, подобно еще нескольким мужикам, с большим или меньшим основанием считавшим себя приближенными к высшим

компанейским сферам, дружески звал «дядя Коля», а не Николай Максимович, или там даже «шеф», или «патрон»), так вот на такие дела с директорским духом кидался он как одержимый. И тут уже не было для него ограничений — пусть там эти дураки (все остальные то есть) говорят что хотят, а дядя Коля ничего плохого от старого друга не потребует, да и сам ничего дурного не делал и не делает, так что вся эта не совсем чистая кажимость некоторых таких поручений его, мудрого Петровича, обмануть не может, и он понимает, что в фундаменте всех этих дел лежат основания правильные, разумные и справедливые, только вот разглядеть их не всем дано, а вот дяде Коле дано — потому он и начальник. Вот так верил Петрович — как это там говорили, святая простота? — в своего директора.

Самое удивительное, что самого дядю Колю Петрович видел разве что по особым случаям — в президиуме, а все указания от него получал через какого-то странного типа из отдела маркетинга, которого у нас за несколько лет его работы так толком никто и не узнал — все время он в каких-то деловых разъездах был — и которого все называли странным именем или кличкой «Лютик», хотя фамилия его была вовсе не цветочная, а самая что ни на есть обыкновенная — Свиридов, да и звали его вовсе не изысканно — Иван Митрофанович, разве что он часто насвистывал «Лютики-цветочки расцвели на кочке...», может, отсюда и пошло. Но, в общем, цветочек этот прирос у нас как следует и даже расцвел вполне — то он на экспедиторской машине к работе подкатывает (а кто дал-то?), то автобус служебный его транспортирует (одного-то!), а пару раз даже и на директорском «вольво» его видали — Петровича-то так ни разу не подвозили, это так, к слову. Но все равно Лютик этот — мужик не очень: вроде никому ничего конкретно плохого не сделал, а все равно его сторонились; флюиды, так сказать, не те. Вот этот самый Лютик и гонял Петровича почему зря, в роль вошел — покрикивал даже, но не дурак, каждый раз, как пережмет да схамит, тут же и добавит, что это все, дескать, не ему нужно, а для друга верного, для дяди Коли, то есть надо поехать, устроить, пособить, хорошо хоть не украсть и не повеситься, а то чего в горячке не натворишь!

И говорили мы Петровичу это всё, ох, говорили — и не раз, и не два, и не двадцать два, но его как заклинило. Вот ведь преданность какая — ему бы где-нибудь в железном средневековье в вассалах ходить под таким господином, как дядя Коля, а Лютик бы у них за герольда служил — приказы доставлять. Петрович бы там в одиночку крестовый поход провернул, если бы его княжеская милость приказала. Тьфу!

И так он со своими тремя ребятами только и занимался что маленькими крестовыми походиками за всякой всячиной, оставаясь при этом, простите за каламбур, при самом что ни на есть пиковом интересе — премии и то реже других получал. А ведь, хоть звезд с неба не хватал, не без царя в голове мужик — если давал ему Лютик неделю-другую передыха, он, конечно, скучал без личных дядиколиных заданий, но, с другой стороны, чтобы не бездельничать — этого тоже не любил, — он иной раз за эту неделю со своими молодцами чего-нибудь такое учинит — ахают люди: то для одного цеха чего-нибудь изобретут — инженеры же все-таки, то для другого... Сколько раз его звали плюнуть на снабжение и обратно в цех — ему ведь там самое место. Так нет — там, видите ли, рутина, а он по призванию человек живой, на одном месте застаиваться не любит, ему простор для деятельности подавай, да и распоряжения: одно дело их от начальника цеха получать, а совсем другое — с самого веру. Так что маленькое свое подразделение он рассматривал как спецрезерв Ставки: разведка боем — он, отход прикрыть — опять-таки он, и всегда по личному указанию!

Я почему все это рассказываю — нет, не в том дело, что на этом уже тьма народу попалась, не он первый, да и последнего еще не видать, — а то плохо, что мужик он был свой, нормальный, и выгоды себе не искал, как бывает, да опять же и знал я его немало лет.

Но что верно, то верно: вся эта суета к своему логическому концу все же пришла.

Читаешь, понимаешь, про такие дела в газетах или по ящику смотришь — аж душа горит, а как до своего добрались — жалко. А дело-то уж какое привычное, как по шаблону. То ли у нас железо лишнее было, то ли у соседей — вон машина ихняя через дорогу, — короче, было какое-то, ну вот Лютик и передал Петровичу от друга его, что, дескать, железо надо реализовать, а в обмен чтобы досок, вагонки кубов этак ...дцать — всякое теперь говорят, кто говорит, что и вправду нужна была в пятый цех, там действительно ремонт начали, кто — что кто-то из дирекции в загороде строиться начал, теперь узнай поди, да и не в этом дело. Дело в том, что клиент тот, который доски должен был дать, заартачился и все тут! Петрович и так, и эдак — толку нет. Ну, нет так нет — доложи и успокойся, но не тут-то было: как же, дядя Коля ждет! Он с Лютиком советуется, а у той гниды одно на уме — ты ему, дескать, дай, он того и ждет. А что давать-то? Хоть премию выпишите. А зачем премию — ты с тех, кто железо просит, возьми: они тебе, ты — ему, и все квиты, может, они еще потом между собой делить что будут, глядишь, все к хозяину-то и вернется, сочтутся... Это уж Петрович потом делился. Вроде бы он никогда раньше такими уж прямо открытыми делами не занимался, не те, понимаешь, фокусы, и сейчас не стал бы, но Лютик, змей, шипит в ухо — не будь дураком, и шеф так думает, его и совет, а если что, говорит, так прикроет. Не знаю, как уж там в Петровиче любовь и долг сражались, но любовь всегда побеждает — и взял, и дал — железа нет, вагонка есть, только и пройтись гоголем перед дядей Колей, но тут их всех — троицу эту окаянную — любителя железа, владельца дерева, да и Петровича заодно, как говорится, за жопу и в конверт. Вышли на них эти самые борцы с экономическим преступлениями по поводу взяток...

Он к шефу — спасай, а у того совещание срочное, а вечером в Европу летит контракт обговаривать, так что давайте по его возвращении заглядывайте. Он к Лютику, а тот — да разве ж мы так тебе советовали, деньги, что ли, брать да давать, мы, дескать, в том смысле, что одолжения какие, услуги, ну и понес всю эту парашу... Потом еще два раза рвался Петрович к директору, но все никак — в лучшем случае Лютик издали ручкой помашет, не трусь, мол, мы тут не дремлем, все образуется — и всех дел. Как до трех неудач дошло, сдался Петрович, замолчал, а с Лютиком здороваться бросил и просто ждал, чего там на его счет официальные, так сказать, лица решат.

Пока суд да дело, над ним на фирме разбирательство устроили — не исчезают советские привычки! Я тогда на собрание это не пошел — все и так было ясно, а смотреть, как Петровича ногами топчут, не хотелось, к тому же я, как, впрочем, и все другие, уверен был, что он до самого упора не себя защищать, а дядю Колю покрывать будет, может, даже и не совсем понимает, как тот его с легкой лютиковой руки подставил. Нет, не пошел и все. Потом, правда, не удержался, спросил у Глебы, приятеля своего из дирекции, — ну как там, чего с Петровичем-то?

— Как-как, — отвечает. — А то ты сам не знаешь как. Как положено. Про дядю Колю вообще и речи не зашло. Лютик из задних рядов — поближе к выходу — наблюдал. Петрович кругом виноват — снять, лишить, перевести, прокуратуру даже пару раз помянули.

— А он?

— А что он? Убит, конечно. Как есть убит...

...

И в ущелье Ронсевала

Больше рог не протрубит.

Андрей Резцов

Рукопись, найденная в эсэмэсках

Рассказы

Входят симпатичные поварихи

Я прихожу, сажусь, беру меню.
Начинаю зевать и позвякивать вилкой о фужеры.
Подбегает официант.
«Позовите повара! Приведите всех работников кухни!» — говорю.
Входят симпатичные поварихи.
Я им ласково улыбаюсь.
Они предлагают борщ понаваристее зачерпнуть со дна.
Я пью водку рюмку за рюмкой,
заедаю горячим борщом,
который я НЕНАВИЖУ.

Много лет назад я был второклассником и ходил в школу во вторую смену.
Родители работали, уходили рано, приходили поздно.
Вечером они радостно ели борщ, наваренный в большой кастрюле,
чтобы хватило на всю неделю.
Я борща не любил, ждал редкого харчо или того волшебного супа пити,
самого вкусного в мире,
который готовили в городе, где у всех есть сады.

Как-то у нас остановился родственник дядя Володя,
приехавший в командировку.
Он хорошо готовил, оттер маму от плиты.
Обещал в следующий раз приготовить суп пити из гороха нут из своего сада,
что в городе, где у всех есть сады.
Вот я и ждал суп пити дяди Володи,
ждал его в командировку.

Андрей Резцов родился в 1963 году в поселке Лобва Свердловской области. Окончил мехмат МГУ, кандидат физико-математических наук. Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Вышгород» (Галлинн), «Новый мир», «Волга», «Новая Юность». Живет и работает в Сиднее, Австралия, 33.8688° южной широты 151.2093° восточной долготы.

Все эти рассказы написаны на мобильном телефоне в формате эсэмэсок.

Прошли годы.

Дядя Володя уехал из города, где у всех были сады, в Белгородскую область.

Вся его большая семья переехала туда из города, где у всех были сады.

Мой отец общался с ними эсэмэсками.

Сын дяди Володи поселился рядом с отцом, когда его по ранению комиссовали из армии, после службы в городе, где у всех были сады.

Дядя Володя постарел, уже плохо видел. Я не напоминал никому о супе пити.

Недавно дядя Володя умер.

Впервые я попробовал суп пити в армянском кафе в городе Мельбурн, в Австралии. Горошек нут был не из сада моего дяди Володи.

Есть ли сейчас сады в городе, где раньше у всех были сады?

Просто ИГОР

Живет в Париже, во Франции этой парень простой ИГОР.

Все понимают, что он славянин, из восточной Европы пацан.

Бизнес у ИГОРА небольшой, но нужный простому народу.

Вальяжно раскинувшись в кресле Людовика 13-го, звонит ИГОРУ владделец магазина русской еды БОЛОЛАЙКО.

Нужно ему срочно двадцать килограммов творога, такого, как у нас делали при царе или позже, но покупать надо было на рынке и дорого.

Яволь-да! — отвечает ИГОР и замешивает молоко и закваску

в медном тазу, что привез во Францию. Думал, что зря вез.

Через пару дней заказ БОЛОЛАЙКИ готов, деньги получены.

Вальяжно раскинувшись в кресле Людовика 14-го, звонит ИГОРУ владделец магазина югославской еды СЕРБАН-ЛАЗИКО.

Нужно ему срочно двадцать килограммов колбасы-салями, такой, как у них делали при их эрцгерцоге или позже, но покупать надо было на рынке и дорого.

Яволь-да! — отвечает ИГОР и замешивает фарш и специи

в медном тазу, что привез во Францию. Думал, что зря вез.

Через пару дней заказ СЕРБАН-ЛАЗИКО готов, деньги получены.

Вальяжно раскинувшись в кресле Людовика 15-го, шлет эсэмэску ИГОРУ владделец магазин австрийской еды ЗАЛЬЦБУРГКЮХЕЛЬН.

Нужно ему срочно двадцать килограммов селедки засола по-зальцбургски, такой, как у них делали при их кайзере или позже, но покупать надо было на рынке и дорого.

Яволь-да! — отвечает ИГОР и замешивает селедку и перец-умелец

в медном тазу, что привез во Францию. Думал, что зря вез.

Через пару дней заказ ЗАЛЬЦБУРГКЮХЕЛЬНА готов, деньги получены.

И вдруг незадача! Все три магазина позвонили одновременно,

а тазик один. Тот, что ИГОР привез во Францию. Думал, что зря вез.

Что делать? Надо еще два тазика. У вас нет?

Турмерик

Сосед Рината (назовем его Икс, вскоре поймете почему) всю жизнь проработал в различных странах полуострова Фангопура. Редко-редко он числился при посольстве. В основном, Иксу поручалось внедриться, вжиться и затаиться. Что он и успешно делал, о чем слал эсэмэску в Центр. Никто из нас в городе Чашки Свердловской области не знает его настоящего имени. Да и не интересуемся мы. Икс очень тоскует по индийской кухне и особенно по Куркуме (Турмерику). Но сегодня, в новогодний вечер, будет только наша еда, чашкинская народная. Поэтому грустно сидит Икс на крылечке и поет негромко песню на мелодию уральской казацкой походной:

«И тоска за мною гонится,
Словно черный хмурый бык.
Турмерик ты мой турмеристый,
Турмерявый турмерик».

Суровые мужские слезы падают из глаз этого человека-скалы. Затем вдруг Икс прекращает плакать и петь, вытирает слезы и подзывает к себе ребятню. Он щедро угощает их шоколадными батончиками «Сникерс» и рассказывает им (в который уже раз?!) свою знаменитую Сказку про Эффект Вавилова — Черенкова:

«Многие знают-слышали про Эффект Вавилова — Черенкова (излучение Вавилова — Черенкова). Это свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде. Черенковское излучение широко используется в физике высоких энергий для регистрации релятивистских частиц и определения их скоростей.

Но гораздо менее известен Эффект Свеченцева—Прозрачносредова. Это когда черенки для лопат норвят упасть, как их ни подпирай ящичками с гвоздями».

Дети едят шоколадные батончики «Сникерс» и из благодарности внимательно слушают сказку дяди Икса.

Картина Саврасова «Грачи прилетели»

Специалисты Университета Гидравлики и Объединения «Гидравлика», что в городе Чашки Свердловской области, обнаружили, что картина Саврасова «Грачи прилетели» написана поверх картины Серова «Девочка с персиками».

В свою очередь, девочка, а особенно ее персики, написаны поверх картины Брюллова «Последний день Помпеи». И только по самому краю, где-то трехсантиметровая полоска живописи покрывает картину художника Сурикова «Утро стрелецкой казни». Все открытия были сделаны благодаря технологии Остронаправленного Гидравлического Удара, ранее используемого только в оборонной промышленности и при производстве беляшей мгновенного приготовления.

На основе вышеприведенных результатов ученые-гидравлики из Университета Гидравлики и Объединения «Гидравлика», что в городе Чашки Свердловской области, выдвинули смелую гипотезу, что все четыре живописца, на самом деле, одно и то же лицо — художник Перов, известный также как автор картины «Охотники на привале»

и самого лучшего портрета Ф.М.Достоевского. Мы попросили Рината Барабуллина, ведущего научного сотрудника отдела Остронаправленного Гидравлического Удара Объединения «Гидравлика» прокомментировать (посредством эсэмэсок) сообщение прессы. Ученый скромно заметил, что факты очень свежие и сырые, а также призвал подождать до официальных заявлений правительства.

Премию Худерхухеля фон Бурхаузенга? Не вручили

Все знают, что мне в очередной раз не вручили премию Худерхухеля фон Бурхаузенга. Не вручили, сорвалось. Решил я исправить ситуацию в корне и получить- таки эту ускользающую от меня премию. К вопросу подошел и с научной, и с практической сторон. Прочел книги всех победителей за прошлые годы. Особенно трудно дались непереведенные на русский язык книги нынешнего лауреата с острова Суматра (имя произнести не могу) и победителя прошлого года филиппинца из Малайзии (имя произнести могу, но стесняюсь). Анализ творчества победителей показал следующие три фактора успеха:

Лаконичность в выражении чувств. Пусть читатель сам догадается, что назойливо дымящийся пучок травы, который никак не хочет разгореться, ведет не только к отсутствию обеда для главного героя. Холодная печка, пустая тарелка — это слезы матери, провожающей своего младшего сына в далекий город Нью-Йорк, где он купил студию звукозаписи и два ночных клуба.

Поэтичность в выражении насилия и смерти. Герой плохо спит всю ночь из-за шума дождя по пальмовым листьям и криков диких обезьян в банановой роще. Утром он аккуратно пробирается по коридору, пытаясь не наступить на спящих там постояльцев, которым не повезло с получением комнаты. Случайно зацепившись пяткой своих парусиновых туфель за человека в пенсне, наш Герой вдруг понимает, что этот спящий напоминает ему Антона Павловича Чехова. По лицу и пенсне Чехова пробегает малюсенькая ящерица. Она поворачивает свою головку в сторону Героя, который благодаря этому маленькому холоднокровному динозаврику вдруг понимает, что это был не Чехов, а Троцкий. Все в гостинице (кроме нашего Героя) мертвы, но их лица спокойны.

Бедность, переходящая в философичность. Обнаруживается, что младший сын матери (см. выше) разорен, должен всем денег и пытается скрыться от кредиторов в тихой гостинице в далекой от Нью-Йорка стране. Вот-вот он спасется, нервно стучит в закрытую дверь, но постоялец в комнате не открывает. Тот не спит, но думает, что это дождь стучит по пальмовым листьям, а в банановой роще кричат дикие обезьяны. Чехов/Троцкий (сын бедной женщины) прощает глуховатого и глуповатого постояльца и умирает умиротворенный вместе со всеми остальными, кого не пустили спрятаться в комнату. Убийцы уходят. Шум дождя и крики обезьян прекращаются.

Герой обнаруживает, что никто не приготовил ему завтрак (он так и не понял, что все вокруг убиты). Он смахивает ящерицу со своего пенсне, сам пытается разжечь огонь в печке. Назойливо дымится пучок травы, который никак не хочет разгореться. Герой задумывается, вспоминая свою маму, когда она готовила ему еду перед отлетом в далекий город Нью-Йорк, где он купил студию звукозаписи и два ночных клуба. Неожиданно Герой получает очень странную эсэмэску...

Захват из-за горы?

Местный шаман навещает своего внука в интернате. Мальчик уже успел в очереди за гороховым супом познакомиться с девочкой по фамилии Квадратная. Внук просит дедушку-шамана помочь девочке. В ходе колдовства и танца вокруг костра колдун кричит голосом совы, совсем как там, в Уссурийском крае. Вдруг он падает замертво. Но крик совы продолжается. Он нарастает, приближается и превращается в ... сову. Шаман приходит в себя, гладит таинственную птицу, шепчется с ней о чем-то колдовском и тайном. После этого сова улетает обратно в далекую тайгу у самой реки Усури. Шаман курит трубку и думает. Он это делает три долгих дня и три долгие ночи. Наконец Шаман сообщает, что отец девочки жив, но он далеко-далеко в Малайзии.

За два года до описываемых событий, но также через два года после пропажи отца девочки Квадратной, в самом центре Малайзии погонщики слонов находят странного человека, который ничего не помнит, но крепко сжимает ружье. Он ест селедку без предварительного обжаривания в пальмовом масле. Эта странность наводит погонщиков на мысль, что найденный человек не малазиец, а русский. Человек Без Памяти (так называют его погонщики слонов) постепенно начинает говорить по-малазийски, но все равно ничего не помнит из своего прошлого. Только через два года после своей встречи с погонщиками Человек Без Памяти случайно роняет молоток себе на ногу. Это незначительное (казалось бы) событие восстанавливает его русский словарный запас и память. Он еще крепче сжимает ружье и уходит из бригады перегонщиков слонов в сторону ближайшего портового города. Все погонщики бросаются в погоню. Они долго преследуют русского в джунглях, наконец настигают его и ...

... дарят ему одну из слоних со слоненком поушастее.

Девочка пытается побудить директора интерната начать поиски ее отца в Малайзии. Но тщетно. Добрый директор распоряжается выдать ей еще одну тарелку горохового супа. Когда плачущую девочку уводят, директор (с искаженным лицом) шлет эсэмэску, получает ответ и звонит по телефону кому-то. Кто же взял трубку на другом конце линии? И почему они разговаривают на редком Малазийском диалекте?

Вот перевод на русский того телефонного сообщения, что директор быстро, но четко проскрипел в трубку:

*«хобачка-бобачка бежала по дорожке-борожке. вдруг видит — лось-шмось ломится
сквозь тайгу-майгу, весь какой-то озабоченный-забобоченный...
а вокруг красотища-хрища и птички-бибички поют...»*

«Кодовые слова, все зашифровано!» — скажете вы и не ошибетесь ни разу.

Багор Русский

Утром пили кофе с белым хлебом-сайкой.

Сайка — булочное изделие, традиционно изготавливаемое в России и на Украине. Это как бы три небольшие буханочки, слепленные в одну паровозиком. По наиболее распространенной версии, рецепт приготовления саяк появился на Руси в конце XVII —

начале XVIII века от новгородских купцов, перенявших его у жителей Прибалтики. Это подтверждает и то, что на современном эстонском языке saia означает «белый хлеб».

Сайку они нарезали в толщину тостов и зажарили на сэндвич-прессе. Ринату понравилось лить деревянной шишкастой палочкой-медовушкой ароматный мед на горячий тост и съесть это великолепие, стараясь не пролить мед дальше, на скатерть с традиционной финской вышивкой. Он как-то не обратил внимание, что на соседнем участке рядом с пчелиными ульями белело неподвижное тело пасечника, от кого и был мед. А оно белело и белело. Пока Ринат не увидел это безобразие.

Ринат сидел за большим столом, пил хороший крепкий черный кофе, ел сайки и мед. А про себя, внутри головы, бесшумно писал свою очередную колонку в газету «Беляшечный Боевой Листок»: «Недалеко от винодельни, на пасеке между ульев, полных добротного меда, обнаружен труп пасечника в белом комбинезоне. Среди подозреваемых и наш специальный корреспондент Ринат Барабуллин, совершенно случайно оказавшийся неподалеку. Ринат нам передает эсэмэсками...» Что он передает, Барабуллин никак не мог придумать. Казалось, что кроме него никто не заметил белеющий невдалеке труп. Женщины судачили о своем, о бабьем. Винодел молчал и рассматривал солнце через только что пожаренный тост сайки.

Барабуллин вновь перевел свой пронзительный испытывающий взгляд на пасеку и не увидел там ничего интересного. Ульи были, пчел с такого расстояния не разглядеть, а труп пропал. Как это могло случиться? Кто и куда спрятал мертвого пасечника? На эти вопросы срочно нужно было ответить для подготовки жгучей публикации в газете «Беляшечный Боевой Листок».

Из четырех подозреваемых, допивающих кофе и доедающих мед с сайками, Ринат мог смело вычеркнуть себя. И, немного сомневаясь, свою жену Зину. Она всегда поступала непредсказуемо, мыслила широко и авантюрно. Ее Барабуллин временно оставил под вопросом. Хозяйка финка за время завтрака, похоже, отлучалась только на кухню, что располагалась в задней далекой части дома. Могла ли она оттуда дотянуться до трупа и оттащить его? Могла, если использовала багор. Есть ли у них в доме такой ручной пожарный инструмент, также популярный у речников и лесосплавщиков? Вряд ли нужен багор простому виноделу и его простоватой жене. У них секатор главный инструмент, используемый для подрезания лозы. Винодел вдруг встал и обратился к Ринату: «Хочешь, мил человек, я покажу тебе мою уникальную коллекцию багров?»

В большом, как бы авиационном амбаре, где находились также высокие винодельческие цилиндры-цистерны для брожения молодого вина, вдоль задней стены были закреплены различные багры. Полсотни или больше, все пронумерованы и снабжены табличками с описанием. Позиция номер шесть — Багор Русский Производства гор. Чашки Свердловской области — отсутствовала. Уральского багра не было. Винодел скривился на лицо и, похоже неподдельно, растерялся. У него до этого никто никогда не крал багров.

Венок Евгению Евтушенко

Не стало Евгения Александровича Евтушенко, самого знаменитого нашего поэта, человека-эпохи, неумного «шестидесятника», такого яркого, шумного, неудобного то одним, то другим, раздражавшего, восхищавшего, удивительного и удивлявшего до самых последних дней.

Евгений Евтушенко — давний автор и друг нашего журнала. За последние десять лет его лучшие стихи не раз появлялись в «Дружбе народов» в рубрике «Золотые страницы». Когда наш журнал был выброшен на улицу без перспектив на будущее, Евгений Евтушенко написал В. Путину гневное и страстное письмо в защиту «Дружбы народов». С сердечной благодарностью мы все помним об этой драгоценной поддержке.

В этом «Венке» собраны стихи разных поэтов, посвященные Евгению Евтушенко и его светлой памяти.

Олег Хлебников

Это Женя

«Это Женя, — говорил он, — это — Женя».
Дольше часа разговор не прекращал.
И пускай — из Оклахомы,
 где блаженно
к русской лирике мулатов приобщал.

Неужели не услышу «Это Женя...»?
И его неотвратимый монолог,
никогда не признававший пораженья
чувства доброго и выстраданных строк.

Женя, Женя Алексаныч, — так бывало
называл его
 по праву младшинства.
И душа моя тихонько ликовала
от навеки обретённого родства.

Ликованье моё тоже не забудьте
на Суде Всевышнем,
 оправдайте за
все любви его, лёгкие как будто,
и что сам творить пытался чудеса,

и за эти властью ссуженные крохи...
Но важней — душа его не проспала
потрясения, сдвигавшие эпохи...
А сейчас дела у нас бессонно плохи.
Но звонка не будет — ночью ли, с утра:
«Это Женя...»

Хоть вставать и так пора.

9.04.2017

*Владимир Некляев**Мой друг, мой брат*

В день, когда были написаны эти стихи, я, превратившись из кандидата в президенты Беларуси в арестанта, дежурил по девятой камере внутренней тюрьмы белорусского КГБ. К вечеру заскрипел ключ в замке, распахнулась дверь: «Мусор!» Вынос мусора — обязанность дежурного. «Быстро, б..! Бегом, б..!» В обнимку с мусорным ведром выскакиваю в клозет, где среди смерзшихся отходов человеческой жизнедеятельности вижу обрывок газеты. Использованный в клозете клочок. И вправо, в картонный ящик выбрасывая мусор, я влево выворачиваю шею — и разбираю на газетном клочке в желтых разводах последние слова: «Держись, Володя! Твой брат Евгений Евтушенко».

Мне горло перехватило...

Он жил, преодолевая время всеобщей нелюбви. Это невыносимо трудно: любить, преодолевая. Но Евтушенко справлялся с этим. Он был двужилен. Любовь давала ему невероятную мощь и силу, сравнимую с мощью и силой Маяковского: «Это сквозь жизнь я тащу миллионы огромных чистых Любостей и миллион миллионов маленьких грязных любяток».

Увидев в тюрьме обрывок газеты с письмом Евтушенко, я перестал и бояться, и мучаться. Если бы из-за меня погибли люди, он бы мне не написал. И той же ночью, прислушиваясь к тюремным звукам и невольно напрягаясь каждой жилой на каждый стук и скрип, я написал ему...

Мой друг, мой брат, привет тебе, привет!
Ты руку подал мне в нелёгкий час, не мешкая.
Поэт в России больше,
чем поэт —
И в Беларуси он ничуть не меньше.

Ну вот ему и вышел укорот.
В том ничего невиданного нету.
Пророс 37-й гадючий год
Из ненависти подлецов к поэтам.

Неся кресты, терновые венцы,
Поэты, наши кровные отцы,
Шли по этапам, вешаясь, стреляясь,
А вслед им ухмылялись подлецы,
В самих себе, как в коконах, рождаясь.

Они себе цепляли ордена
И на погонах звёзды зажигали...
Они украли наши времена!
Они страну у нас с тобой украли!

Украли нашу музыку, стихи,
В лай превратили речи нашей звуки,
По всем святыням расползлись, как мхи, —
Не трогайте моё! Отдайте, суки!

Пусть я кричал про то не по уму,
Пусть не туда я встрял — и мне за это
Башку отбили, бросили в тюрьму,
Но я не предал сам в себе поэта.

Поэзию не предал, видит Бог...
Одно мне душу мучает до жженья:
Какой за нами неоплатный долг!
С ума сойти! Но мы оплатим, Женья!

Не отдадим на поруг и на смех
Святое наше братство цеховое...
Мы, может быть, последние из тех,
Кто твёрдо помнит, что оно такое.

Ещё вдохнём мы терпкой густоты
Вина, стихов и, как не раз бывало,
Я выпью за Есенина, а ты,
Со мной обнявшись, выпьешь за Купалу.

И будут в окна бабочки на свет
Лететь всю ночь, и лики с небосвода
Всю ночь смотреть... Привет тебе, привет,
Мой друг, мой брат!.. Привет тебе, свобода!

Марина Кудимова

* * *

Меж праведников и быдел
В рубахе цветной стоишь.
За тех, кто тебя обидел,
Прощенья прошу, — услышь.

Сама не подам и виду,
А ты хоть весь мир зови
На Деву глазеть Обиду —
Она пострашней любви.

Любовь — птицеловный пищик,
Обида — больной койот.
Любовь своего не ищет,
Обида не выдаёт.

Сочится вина, как пульпа...
А если и я среди всех
Прописана, — mea culpa,
По-русски сказать — мой грех.

Зачитана Книга Чисел...
Я выпью на все гроши
За тех, кто тебя возвысил
До туда, где ни души,

Зажав оформленье вида
На жительство визави
С пустыней твоей обиды
И небом твоей любви.

*Илья Фаликов**На полях книги*

Смехотворен карликовый шопинг,
если ты верста и каланча.
Мал жирафу нобелевский смокинг
или шуба с царского плеча.
В облаке, где жарко до озноба,
предложи собрату свой пиджак,
ибо обескожены вы оба.
Носороги сделаны не так.
Но тебе подобий нету, кроме
лома, тоже бывшего тобой.
От тебя остался в Оклахоме
след, во льду прорубленный стопой.
Загнан в угол, где стоят два друга —
старые ботфорты Сирано,
финиш марафона, род недуга.
Стыд неоперабелен давно.
Там, где ты по шарикуну шатался,
именем твоим горит звезда,
и на звёздной карте город Талса
от тебя остался навсегда.
Кончен приступ жалобы какой-то
и пожизненная беготня.
Лупит нефтяной фонтан из кольца,
выкрасив ковбойского коня.
Ноги в руки, будь собой, не мешкай,
волка кормят ноги, а не лес, —
вновь разбудишь утренней пробежкой
каменные тени Пер-Лашез.
Это из неволи половецкой
в полых кедах вырвался бегун
там, где хрипло дышит соловецкий
камень или блоковский валун.

Алексей Ивантер

* * *

Хорошо всегда быть сбоку,
Трудно вечно на виду!
Вот и кончилась эпоха,
Вновь — в семнадцатом году.
Всех она поставит к стенке,
Всех заставит завязать.
Умер Женя Евтушенко.
«Больше нечего сказать».

Александр Городницкий

* * *

Безжалостна беда сей горестной утраты.
К минувшим временам назад дороги нет.
Он первым в пору был шестидесятых,
Когда забрезжил нам в окне неяркий свет.
Тот век теперь далёк. Припомним годы оны, —
Мир песен и бесед тех юношеских лет,
Когда от звонких строк гудели стадионы,
И на Руси поэт был больше, чем поэт.
Кружится лист, скользя над плитами надгробий.
Оборвана стезя, и всё пошло не в лад.
Ушли его друзья: Андрей, Василий, Роберт.
Ушли его друзья: и Белла, и Булат.
Умолкли в век иной тех песен отголоски.
Всё в Лете утечёт сегодняшней порой.
Покажется смешной и перепалка с Бродским,
И гамбургский расчёт на первый и второй.
В круговороте дел, подумав хорошенько,
На свой вопрос ответ отыщешь без труда:
Той славы, что имел Евгений Евтушенко,
Не знал другой поэт нигде и никогда.
Тускнеет неба шёлк. Неумолимы будни...
С минувшим рвётся нить. Вращается Земля.
Последним он ушёл, как капитан на судне,
Что должен уходить последним с корабля.
Далёкие года. Забывшиеся сплетни.
Июльского дождя на перепутьях след.
Он первым был тогда, — теперь он стал последним,
И уходя, он гасит в доме свет.

2.04.2017

Виктор Куллэ

* * *

Оставим мелкие придирки.
Как намекнул иной поэт,
они — буравят в небе дырки,
чтобы потом сочился свет,
которого и так немного...

А вы попробуйте: письмом
поймать невнятный отзвук Бога
в себе самом.

1.04.2017

Мария Ватутина

* * *

Ты думаешь, следы старения —
Морщины, впалые глаза,
А это всё следы мучения,
Которых вынести нельзя.

Ты думаешь, чего он тужится,
За ради красного словца.
А это на поверку — мужество:
Отдать все силы до конца,

Летать по миру, словно маятник,
Хотя и цел уже не весь,
Чтоб не себе поставить памятник,
А строгой щедрости небес.

И как-то даже с благодарностью
Тем взглядом праздничным своим
Смотреть на тех, кто с небездарностью,
За то, что следуют за ним.

Инна Кабыш

* * *

Для кого-то умер Евтушенко —
ну поэт, ну больше, чем поэт —
для меня ж — нашла на стенку стенка,
рухнул дом
и вырубился свет.
Никогда уже не будет больше —
хоть чини его, хоть не чини.
Ну и боль — о Боже! — ну и боль же:
я не виновата, извини...

Игорь Волгин

* * *

Наставник нашей юности, кумир
аудиторий, баловень подмостков,
не менее известный, чем Шекспир
(а может быть — и более!), в подростках

будящий чувства некие, во зло
вонзающий гражданственное око, —
да-да, конечно! Всё это прошло.
Мы нынче смотрим трезво и жестоко.

Обрядом, совершенным впопыхах,
по горло сыт! Не пребываю верен.
Но в отроческих каяться грехах
на площади базарной — не намерен.

Всего хватало: благодати и зла,
бравяды и пророческого пыла.
Но жизнь — была. И молодость — была.
И — правда жгла. И что-то в этом было.

Константин Кедров-Челищев

* * *

За Евтушенко Господу молюсь
Он русский поэтический святой
Его стихов лирическая грусть
Нас освещала высшей красотой
Поэта святость — только красота
Всё остальное это так, не в счёт
А красота его и высота
Своей небесной музыкой влечёт

Сказал: «Я Ангел, только, вот, курю...»
Проговорился в юности поэт
Благодарю — за всех благодарю
Таких поэтов больше в мире нет

Поэт сибирских полустанков
Поэтом был не на бумаге
Один он вышел против танков
На мостовых священной Праги

Один сказал про Бабий Яр
Когда про это все молчали
В любви и в ненависти в яр
В финале честен как в начале

Не безразличен был ко всем
И был любовью всех отмечен
А вместе с тем среди систем
Не вечны все, весь мир не вечен

Все перед бездною стоим
И шепчем вечным шепотом
Поэт никем незаменим
Но что потом — ничто потом...

31 марта 2017, 23 ч.

P.S.
Ушёл и нет равновеликого
Теперь на небе вижу лик его

Илья Фаликов

Напоследок

Апрель Евгения Евтушенко

Было плохо слышно.

— Я стал одноногий, ты знаешь об этом?

— Да.

— Да?

— Да.

— Ничего, говорит он, я уже пережил это загодя, Рузвельт в каталке войну выиграл, врачи здесь хорошие, есть хорошие протезы, лишь бы заражение не пошло выше.

Голос молодой, когдатосний, евтушенковский, сильный и здоровый.

Я говорю: моя книга закончилась на мае—июне 2013-го — может, продолжить?

— А зачем?

Не хочет огласки.

Рассказывает: тамошний медбрат Тетрас, парень из Эритреи, после операции встал на колени, взял его за руку и произнес горячую молитву о пресечении дальнейших испытаний.

— Ты знаешь о такой стране — Эритрее?

— Прародина Пушкина, — отвечаю.

Почему-то возликовал, что знаю, и говорит: в этой молитве я услышал голос Пушкина. От этого эфиопа веет колоссальной внутренней силой. Таким был мой друг Джумбер.

Попутно вспоминает историю: Стивен Коэн, преподавая в Принстоне, сошелся со своей студенткой, в Америке это вещь неприемлемая, пришлось уйти с кафедры, и они поженились, это была любовь. Она долго не могла родить, были выкидыши. Однажды, будучи вместе с Машей в гостях у Коэнов, он — в ответ на слезы хозяйки дома — собрал в себе все свои внутренние ресурсы, подошел к ней, поднял подол и поцеловал в область пупка. Присутствующих это ошарашило, а она вскоре понесла и родила «мою дочку». Которой нынче уже 23 года.

Утешал меня он, а не я его:

— Не печалься, найдем выход.

Он так и сказал: не печалься. Мы попросались.

ОТ АВТОРА. Читатели «Дружбы народов» уже знакомы с публикацией отрывков из книги «Евтушенко. Love story» (2013, №7). Книга вышла в серии «ЖЗЛ: Биография продолжается...» (2014). Теперь она выходит в классическом формате ЖЗЛ. Увы, причиной переиздания послужила смерть героя. Текст книги минимально поправлен и дополнен финальной главой — о последних трех с лишним годах Евтушенко.

— Поклон Маше.

— Она на пределе. Ведь и мать ее недужит.

Этот разговор был 13 августа, а вскоре он прислал мне для передачи журналу «Сноб» довольно пространное эссе «Берингов туннель» на материале детства по преимуществу. Эссе перетекло со временем в роман. Его Сибирь близка Берингову проливу, а это означает связь двух материков и общую всепланетную взаимосвязь. Написано с жаром, именно на пределе, с неискоренимой убежденностью в своей правоте.

Двадцать пятого августа — следующий звонок:

— Ты знаешь, что я стал на полноги короче? — спрашивает, словно не было первого разговора, и не дождавшись ответа, продолжает: — Ну как тебе моя первая послеампутационная вещь?

Жестко шутит. Я знал, что он великий человек, но такого терпения, такого приятия судьбы — не ожидал. Оказывается, за три последних года он перенес семь операций на ноге. Не знал и о том, что шесть лет назад ему поставили онкологический диагноз и он перенес операцию на почке. Он об этом молчал, стиснув зубы, и СМИ, естественно, не кричали.

Не об этом ли говорит Павел Басинский в своем отзыве на первый том антологии «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» (Российская газета. 2013. 26 августа):

Отчетливо видишь и переживаешь, как вся древнерусская и средних веков поэзия пронизана муками и страданиями, и не какими-то там душевными, а буквально физическими. Но эти корчи и стоны всегда просветляются удивительным достоинством русского человека и даже его ироническим взглядом на свои муки. А потому что вместе с этим живет непосредственное ощущение небесной перспективы, где рай и грехопадение случились как будто совсем недавно, как будто вчера, а завтра вот-вот будет жизнь вечная.

О евушенковском несчастье внезапно, обвально, хором и врозь заговорили все российские СМИ в отрезке времени от 19 до 23 сентября. Это он позволил сам — после долгого утаивания: рассказал о случившемся издателю Геннадию Крочику, а тот — прессе.

Полосы его жизни — черные и светлые — не перемежаются, а сливаются, создавая довременный цвет раскаленного напряжения, какой-то единой гаммы, спрессованного спектра. Рассказать миру о себе сегодняшнем он смог после большой радости: 4 сентября стало известно, что его антологический первый том получил Гран-при на конкурсе «Книга года».

Пятого сентября Театр на Таганке открыл сезон — юбилейный, пятидесятый — смеховским спектаклем «Нет лет», словно дополняя премиальные успехи этого года. Овации зала были благодарностью поэту и заочной поддержкой его в трудные дни: Москва слухами полнится.

Двадцатого сентября по каналу «Культура» в новостях был воспроизведен телефонный разговор тележурналиста с Евушенко. Бодрым голосом он говорил о том, что работает над антологией, что у него выходят разные книги, намечаются концерты и скоро он приедет в Россию. Безумец.

Потекли иные дни и годы — вплоть до апреля 2017. Десятого числа исполнится 80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной. В этот день будут отпевать Евгения Евушенко.

совет: таких людей, как Евтушенко, вербовать не нужно, они будут совершенно бесполезны в этом качестве, поскольку это люди неконтролируемые. Но пытаться их использовать, не ставя об этом в известность, она рекомендовала. Что любопытно, люди, которые говорят, что Евтушенко был агентом КГБ, ссылаются именно на этот эпизод из книги Судоплатова, который утверждает нечто прямо противоположное».

Сюда можно подверстать высказывание видного переводчика Виктора Гольшера, переведившего тексты Бродского и весьма ценимого им. Гольшер отвечает журналисту:

«Вы считаете, что Евтушенко через себя переступал, — не думаю. Он так устроен, ему не надо было подличать, чтобы напечататься. Он мог и вполне коммунистическое напечатать. У него широкая душа была, а у Бродского — тесная. "Входите тесными вратами". Чего-то он просто не мог написать. Я думаю, что это не переступание через себя. Хотя хорошие стихи, может, и не всегда получаются из этого. Это просто устройство другое и другие возможности».

В другом случае газетчик спросил у Евтушенко:

— Поэт Евгений Рейн как-то сказал, что Пастернак писал на пастернаковском языке, Мандельштам — на мандельштамовском, а Ахматова — на русском. А на каком языке пишет Евгений Евтушенко?

— Мне трудно обсуждать себя. И я не могу быть объективным по отношению к самому себе. Тот же поэт Евгений Рейн, друг Бродского, когда составлял список великих русских поэтов, включил меня туда. А Бродского нет. Вот этому парадоксу я был поражен.

Весьма кстати 23 октября сетевое издание COLTA.RU публикует разговор поэта с Элизабет и Хайнцем Маркштейнами, состоявшийся в Вене в первые дни после отъезда Бродского из СССР. Это те люди, литераторы, которые встретили его в Вене 4 июня 1972, поскольку Элизабет с Иосифом были знакомы по Питеру, куда она приезжала несколькими годами ранее.

— (*Хайнц*) Когда вы начали писать?

— Eighteen. 18 лет. When I was eighteen.

— Как вы относитесь к Чухонцеву?

— Никак. Я знаю, что о нем говорят то-то, то-то и то-то. Это абсолютный эклектик и не очень высокого качества.

— А мне он очень понравился. Я с ним познакомилась. Он интересный.

— Стихи его очень скучны, по-моему. То есть не скучны, там все... Надо сказать, что, конечно, не пристало так говорить — дело в том, что они все там занимаются нелегально сказать, что плагиатом, но воровством — да. Потому что к ним в «Юность» приходит очень большое количество стихотворений, и я не знаю, как это происходит — сознательно или бессознательно, но они просто очень многое крадут. Поэтому последние годы я им ничего не давал. Правда, кое-что расходилось, и так далее, и так далее. Я просто помню, как, скажем, я давал стихи в День поэзии — их не напечатали, а потом появились стихи какого-то Соколова, еще чьи-то, Ряшенцева, Чухонцева, где было много тех же самых приемов. Например, они никогда... Ну, я не хочу о себе ничего такого хорошего сказать... Но никогда никто из советских поэтов не писал свои стансы. Знаете, своя строфа. Я довольно много этим занимался, мне это просто было интересно... Ну, в общем, неважно. И вдруг я смотрю — моя строфа.

— Ну, я думаю, это подсознательно. Как у композиторов.

— Знаете, может быть, это, конечно, подсознательно, ничего не имею против подсознательных процессов, но мне, скажем, все-таки неприятно. Бывало неприятно. То есть мне, конечно, все равно, наплевать, и чего там делить. В конце концов, что это все такое — это все удовольствие, в общем. Каждый получает свое в тот момент, когда он делает.

— А Коржавин?

— Ну, по-моему, плохой поэт. Совсем плохой. Ну, то есть у него очень хорошая ориентация и хорошие политические мнения, все как полагается. И может быть, даже вкус, он любит хороших поэтов, но писать он сам... Но это с моей точки зрения, вы знаете, только с моей. <.... >

— (*Хайнц*) А Евтушенко — это большой поэт?

— Евтушенко? Вы знаете — это не так все просто. Он, конечно, поэт очень плохой. И человек он еще худший. Это такая огромная фабрика по воспроизводству самого себя. По репродукции самого себя. Но он гораздо лучше с моей точки зрения, чем, допустим, Вознесенский. Потому что он человек откровенный, во всех своих проявлениях — Евтушенко. И он не корчит из себя *Artist*. Он не корчит из себя большого художника. Он теми известными ему и понятными всем остальным средствами добивается того, что он хочет. Его стихи можно просто бросить так, не дочитывая, станет противно, и так далее, и так далее... А вот с Вознесенским у меня всегда одна и та же история — мне просто делается физически худо. То есть когда ты видишь его стихи — это нечто оскорбительное для глаз. Для глаз и для всех остальных органов чувств, которыми воспринимается текст. Это именно воспринимается как какое-то оскорбление. Я не знаю, вот в этом смысле он, конечно, неподражаем. Второго такого нет. Потому что это бывает все что угодно. Ну, бывает глупость, бывает банальность, бывает бездарно, бывает пошло, скучно, я не знаю как, но он дает какое-то совершенно омерзительное качество. И с моей-то точки зрения Евтушенко гораздо лучше, потому что худо-бедно он пишет стихи по-русски, понимаете? А этот корчит из себя бог знает что — авангардиста, французского поэта и так далее, и так далее.

У меня вообще довольно сильное предубеждение против каких бы то ни было определений, кроме «русский».

— (Элизабет) Я совершенно согласна с вами.

— (Хайни) А Евтушенко совсем не поэт?

— Вы знаете, нет, почему — у него есть стихи, которые, в общем, можно даже запоминать, любить, они могут нравиться. Мне не нравится просто вообще уровень всего этого дела. То есть в основном. Основной такой... дух не нравится этого. Просто — мерзит. Но вообще стихи есть хорошие. Объективно говоря, хорошие.

Что сказать по этому поводу? Лучше бы он — Бродский — остановился на этом, хотя бы вот и таком мнении навсегда. Степень несправедливости — и не только по отношению к Евтушенко — здесь самоочевидна. Но на Запад в себе он привез Евтушенко, еще не дозагруженного позднейшей ненавистью.

В конце 2013-го заболел и слег в больницу Станислав Лесневский, старый друг, издатель двух его книг — «Окно выходит в белые деревья» (составлена Марией Евтушенко) и «Сто стихотворений» (составлена мной). Евтушенко пишет: «Дорогой Стасик, выздоравливай, родной. Нас так мало осталось и нам надо подольше жить, потому что мы хранители исторической памяти надежд России и должны в своих ладонях защищать все слабеющее пламя пастернаковской свечи, чтобы кто-то из нового поколения успел перехватить его и спасти, пока оно окончательно не погасло. Спасибо тебе за то, что ты нашел возможность даже из больницы передать мне и Маше привет. Меня это до глубины души тронуло, и на глазах у меня слезы. Нет ли у тебя в больнице мобильного телефона, чтобы я мог тебе позвонить?»

Женя и Маша — нежно любящие тебя за тебя Самого».

Я люблю тебя за тебя самого,
уникальный наш Стасик Лесневский.
Как от Блока в тебе слиться всё так смогло —
воздух шахматовский, и невский...

Пусть до классиков наших мы не доросли,
мы, как в церкви одной, с ними вместе,
став молитвой живой о спасенье Руси,
её совести, слова и чести.

30 декабря 2013

Лесневский ушел в январе 2014 года. С ним ушло и его издательство «Прогресс-Плеяда». Которое жило благодаря сестринским усилиям и материальным средствам Ирины Стефановны Лесневской. Сейчас она строит Мемориальную библиотеку имени брата в селе Тараканово, близ Шахматово. Все увязывается. Последний

евтушенковский приезд на Блоковский праздник был 7 августа 2016. В свое время — 6 августа 1972 года — он открыл первый такой праздник.

Помнится, Лесневский радостно удивился, когда я отобрал в евтушенковскую книгу лирики «Сто стихотворений» целых пять вещей, связанных с Блоком. Что же тут удивительного? Поэты взаимодействуют, не всегда зная об этом. В книге Романа Тименчика «Анна Ахматова в 60-е годы» (М.: Водолей Publishers, 2005) сказано: «21 октября 1962 г. В "Правде" было опубликовано стихотворение Е.Евтушенко "Наследники Сталина", и 25 октября А.А. набрасывает своего рода "ахматовскую" версию того, как об этом надо говорить в стихах — "Защитникам Сталина":

Это те, кто кричали: «Варраву
Отпусти нам для праздника»... те,
что велели Сократу отраву
Пить в тюремной глухой тесноте.
[Знатоки и любители пыток],
Им бы этот же вылить напиток
В их невинно клеветущий рот,
Этим милым любителям пыток,
Знатокам в производстве сирот».

Четырнадцатого апреля 2014 года в Малом зале ЦДЛ — мероприятие, названное «Вечер пяти поэтов». Оно было посвящено памяти Станислава Лесневского, сведшего этих пятерых поэтов путем издания их книг в серии «Сто стихотворений» — последних в этой серии (всего — 28 книг). К микрофону вышел Владимир Радзишевский, научный редактор евтушенковской «Антологии», с неожиданным текстом в руках:

Выпуск «СТОСТИХОТВОРЕНИЙНЫХ КНИГ» этих пяти авторов является прекрасным последним подарком ушедшего от нас Станислава Лесневского, — подарком всем, кто любит поэзию в целом больше, чем только собственные стихи. Это относится и ко всем авторам этих книг. К сожалению, сегодняшнее расплодившееся безграмотное графоманство не сочетается с упоением поэзией, как таковой, которая выше каждого из нас в отдельности, потому что состоит из многих бесценных личностных слагаемых.

Никогда не забуду, как однажды я приютил у себя в Переделкино исключенного из Литинститута одного молодого пиита, потому что его согласились восстановить лишь при условии, что он не будет жить в общежитии, где он достаточно проявил свое высокомерие к товарищам. Короче говоря, я его пригрел, хотя мне говорили, что он того не стоит. Через несколько месяцев я прилетел из США на похороны Владимира Соколова. Я успел только переодеться на даче, сел в машину и вдруг увидел рядом стоящего данного пиита. «Садись, — сказал ему. — А то на похороны опоздаем». — «Так я даже не был с ним знаком, — ответил пиит. — Это всё дела вашего поколения, а не нашего». Меня это потрясло. Я понял, что из него не может получиться поэт.

Ни одного из пяти авторов, кому посвящен сегодняшний вечер, я не могу и представить в подобной роли.

Недавно по телевидению одна филологически образованная дама, награжденная многими учеными степенями, а также и поэтическими премиями, на вопрос, кого бы она назвала из людей своей профессии, достойных сегодня звания поэт, с горьким вздохом снежной королевы, находящейся в полном одиночестве на вершине ее жанра, красноречиво пожалала плечами и горестно развела руками. Поэтому я готов оставить ее в приятном заблуждении — в элите, состоящей только из нее самой. Я бы искренне посочувствовал ее несчастью, если бы в ее основе не было ничем, к стати сказать, не оправданного незамечания всех других живых поэтов.

Если братства нет даже среди поэтов, то кто же тогда будет его проповедниками и менестрелями. Я люблю всех из этой сегодняшней великолепной пятерки за то, что ни одного из них даже и представить нельзя завидующими, элитарничавшими, циничествующими. Я помню их во многих случаях с наслаждением подхватывающими и повторяющими чужие строки, а не растаптывающими их вместе с авторами. Все они не похожи друг на друга, и им не до зависти, потому что при их занятости

распространением самой главной красоты, которая и спасет мир, — красоты совести у них просто-напросто для зависти в душе нет места.

Однажды Шостакович в моем присутствии поставил второй раз подряд запись «Военного реквиема» англичанина Бенжамина Бриттена. Когда я просмотрел библиотечный формуляр Сергея Есенина, я был поражен его ненасытностью в чтении. Никто, может быть, так высоко не оценил противоположного себе во многом Маяковского, как Пастернак, так нежно написав: «Ты спал, постлав постель на сплетне, Спал и, оттрепетав, был тих, Красивый двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих».

Поэтому и не ветшают грациозные песни Димы Сухарева, до сих пор остающиеся такими чистыми и молодыми, похожие чем-то на его жену Аллу, — песни, которые не вынешь из идеализма всего лучшего в шестидесятничестве. Я как-то возвращался по оклахомской степи летней ночью, кондиционер у меня сломался, и я вынужден был из-за духоты открыть окно машины и поставил в плеере сухаревскую «Бричмуллу» — так, представьте, ведущий гигантский холодильник на колесах американский шофер, голый до пояса от жары и тоже открывший окно параллельно идущей громадины, когда песня закончилась, показал мне большущий палец.

Таковы и мушкетерские песни Юры Ряшенцева — тоже золотой фонд шестидесятых.

Замечательно двупоэтие Илюши Фаликова и Наташи Аришиной. Стихи у них естественно соседствуют в общих книгах, хотя они, эти стихи, одновременно во многом и спорят друг с другом. Илюша как критик был абсолютно прав, назвав стихотворение Володи Британишского «Когда страна вступала в свой позор, как люди входят в воду — постепенно...» великим, а скольких он открыл среди молодых.

Владимир Мощенко написал дивный автобиографический роман о венгерской диссидентке Агнешке и драгоценный для истории автопортрет военного командировочного, который никак не мог скрыть от будапештцев, что он русский, несмотря на все инструкции начальства. Маленькое стихотворение об этом дорогого стоит — оно стало историческим документом.

Когда-то в раннем отрочестве кто-то спросил меня: «А кем ты себя считаешь, мальчик?» — «Как это — кем? Поэтом», — гордо ответил я. Отец, слышавший это, сказал мне: «Женя, это же все равно, что ответить про себя самого: я хороший человек».

Так вот, все эти пятеро сегодняшних авторов — хорошие поэты, потому что они хорошие люди, и наоборот. Таким же был и Стасик, который издал их книжки.

Не расставайтесь, ребята, после выступлений. Побудьте подольше вместе. Я мысленно буду с вами. И тогда:

Чарочку за Стасика,
ни при каких президентах не перекарасика!

Чарочку за Наташу Аришину,
не на брильянты ? на книжки
мужа свою разорившую!

Чарочку за Илюшу Фаликова —
пиита, надо сказать, не маленького.
Но, раздвигая все мыслимые пределы,
он обо всех вас напишет еще ЖэЗээЛы!

Чарочку за тебя, Сухарев Митенька,
в отличие от меня избежавшего в поэзии митинга.
Твои песни я слышал в степи и кубанской, и омской,
и, представьте себе, в оклахомской.

Чарочку теперь за Юру Ряшенцева —
мушкетера, чести своей не теряшенцева.

А теперь и чарочку за Володю Мощенко,
кто развернулся во всю богатырскую моченьку,
скрестив и призывок церковного звона
со звуками лиры и саксофона!

Четвертого июня в художественной галерее «Екатерина» на Кузнецком мосту прошел вернисаж Олега Целкова. Я записал в дневнике: «Целков — более полувека эпатажа, несколько однообразного, но временами мощного. Холсты «День рождения с Рембрандтом», «Портрет Коринца», «Маска и стрекоза» — вот что-то такое, что близко реализму и мне близко. Сам он симпатичен: небольшой, лысый, безбородый, в черных брюках и коричневатом пиджаке в светлую клетку.

Был бомонд. Евгений Сидоров, Марк Захаров, Найман, Познер, Шакуров. Хорошо говорил артист Шакуров. Вообще насобиралась толпа. Гудели, мешали ораторам. Женя среди всех самый несчастный. Худенький, невесомый. А ползет по высокой лестнице на второй этаж со своей тростью. Он произнес проникновенную речь. Выдавали клубнику, и шампанского хоть залейся. Маша прилетела. Поседела.

Четырнадцатого декабря 2014 года практически по всем российским и мировым агентствам прошла тревожная информация: Евгений Евтушенко госпитализирован в одну из больниц Ростова-на-Дону. У меня есть дневниковая запись от 3 января 2015 года: «Около семи вечера позвонил Женя. Из ЦКБ¹. Прочел нам с Натальей (подседа к трубке) новый стих — про кино. Голос чистый, сильный. В Ростове было так. Он измотался на концерте, лег на полчаса в ванне, стал вылезать, потянулся за "ногой" (протезом), потерял сознание, нашел себя на полу, кровь хлещет, две дырки в голове, надел трусы и "ногу", стал звонить на рецепшн, никто не берет трубку, спустился в лифте, на нем ничего, кроме трусов и рубашки из крови с головы до ног, в отеле нет бинтов, "скорая" из другого конца города ехала 45 минут. Наложили шов, пришел в себя, позвонил Маше, та — Рошально², тот — министру медицины. В Ростове пурга, присланный за ним самолет из Москвы кружил три часа, не мог приземлиться. Служащие отеля украли пленку видеонаблюдения и загнали в сеть. Но это, говорит, уравнивается участием во мне других — замечательных — людей. Хвалит дирижера Мишу Каца. Который хочет найти композитора для поэмы "Коррида". Просит принять участие в вечере на ЗИЛе. Будут Гафт, Арканов...»

Об этом вечере, который прошел 6 января, написал И.Виравов в «Российской газете» 20 января:

Евтушенко, обещали, прочитает два-три стихотворения, и всё. Силы, мол, надо поберечь — человека только что вытащили из «исчезновения», как он сам сказал. А он — никак не мог остановиться. Выступили и Валентин Гафт, и Аркадий Арканов, и Илья Фаликов. Стихи из спектакля «Нет лет», поставленного Смаховым, читала актриса Татьяна Сидоренко и ее коллеги по Театру на Таганке. Звучали строки Маяковского, Межирова, Владимира Соколова. О любви, о России и о войне — три ключевых было слова в этот вечер.

Евтушенко прочитал свой новый «Шпинделёк» — новые стихи. Про то, что у всех у нас «из душ какой-то выпал шпинделёк». Тот самый ограничитель, который нас удерживал от жадности, продажности и спеси. Ведь мы же — «Мы распоясались до ух-ты, ах-ты, / аж до такой купечской широты, / что даже не влезают наши яхты / в иные европейские порты»...

...Евтушенко прочитал одно, потом второе стихотворение о войне. Первое — «Итальянские слёзы». Второе — о футбольном матче сборных СССР и ФРГ в 1955 году. Матч окончился со счетом 3:2 в нашу пользу. Но дело было не в счете. «Кончатся войны не жестом Фемиды, / а только когда забывают обиды, / войну убивают в себе инвалиды / войною разрезанные пополам».

И уж совсем напоследок — было два стихотворения о любви. Жена Маша уже стояла за спиной у Евтушенко, он прижимал ее ладонь к своей щеке — и читал, читал посвященное ей: «Я люблю тебя больше природы — / Ибо ты как природа сама. / Я люблю тебя больше свободы — / Без тебя и свобода тюрьма»...

¹ Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации.

² Доктор Л.М.Рошаль.

Игорь Шкляревский поместил в № 3 журнала «Знамя» стихи:

Удаляясь, предметы
становятся меньше,
а поэты становятся больше.
Евтушенко — великий поэт.
От Китая до Польши
его узнавали вороны.
Собирал стадионы,
платил в ЦДЛ за друзей.
Так зачем он на старости лет
затерялся в песках Оклахомы
и стареющей славе своей
иногда назначает свидания?
А затем, что не может поэт
получать подаяния
от собирателей пуговиц
с красного пиджака,
в котором дразнил быка.

Когда-то — в июле 1974-го — давненько! — Евтушенко посвятил Шкляревскому замечательный стишок «Цветок картошки», написанный в больнице МПС, где он, еще вполне молодой, оказался с болезнью сердца.

Охальник,
но не богохульник,
люблю, как божий дар, багульник,
и ландыши,
и васильки,
но ненавижу мочесточный
любой одеколон цветочный,
растливший запах непорочный,
как будто химиостихи.
А больше всех —
не понарошке
люблю цветок простой картошки,
как будто брата своего, —
за дух земной без карамели,
за то, что сделать не сумели
обман
хотя бы из него...

2015-й был объявлен Годом литературы. Евтушенко писал из больницы: «Сейчас мы вместе с моей женой Машей завершаем в больнице "Антологию поэзии правого дела", в которой будут сплавлены в одно понятие — поэты-фронтовики и те, кто были фронтовиками по сути, кто еще с детскими лопаточками и ведерками песка стоял в 41-м году во время первых бомбежек Москвы...

Я обратился к нашему государству с просьбой, чтобы мне доверили право — составить на основе моей 5-томной "Антологии русской поэзии" два мегаконцерта, которые произошли бы в Москве и Питере. Это могло бы стать очень ярким и крупным событием Года литературы.

И второе: я попросил, чтобы мне также доверили — с хорошим небольшим молодым коллективом — дали бы один вагон, чтобы проехать по всей Восточно-Сибирской магистрали до Владивостока (по этой магистрали я когда-то пытался добраться на войну от станции Зима). Восстанавливая хорошие традиции агитбригад, — везде, где нас будут принимать, останавливаться и читать стихи с нашей молодой командой...

Жду от государства ответа».

Вагона ему не дали, но фантастическая гастроль состоялась. Конец мая — середина июля, почти полтора месяца. В сопровождении жены Марии и большой группы артистов, среди которых С.Никоненко, И.Скляр, О.Погудин, С.Моховиков, Д.Харатьян, К.Сафонов и др. Молодые певцы — Марина Ивлева из Владимира и Евгений Сорокин — прекрасно пели песни войны и романсы. Был Денис Константинов, который играл роль юноши Жени в фильме «Похороны Сталина», и он читал «Послание Чаадаеву» Пушкина, «На смерть поэта» Лермонтова и монолог Чацкого. За 40 дней объехали 28 городов от Воронежа до Находки и Биробиджана. Посетил родину — станцию Зима. Участники шоу работали, так сказать, вахтовым методом: кто-то подъезжал, кто-то уезжал. Все закончилось 17 июля.

Очень много разговоров и высказываний было в той поездке, в том числе о политике. Будучи в Омске, 17 июня он говорил со сцены: «Когда меня выбрали депутатом, я попал в украинскую Раду. И вот там мне не все понравилось, то есть не то чтобы не все понравилось, у меня голова пошла кругом. Я почувствовал скрежет качающейся Вавилонской башни. Они хватали друг друга за чубы, кричали, оскорбляли, какие-то националистические лозунги выкрикивали. Мне стало горько-горько, я начал думать: "Боже мой, во что я попал". Я даже не догадывался, что, оказывается, под мишурой о братстве живет ненависть, причем расовая ненависть. Я не предполагал, что она в таких количествах и что такие вещи могут говорить. В этот период меня выручили стихи. Ночью, когда от всего этого не мог заснуть, я написал стихотворение, которое стало песней. Музыку на него написал Раймонд Паулс, оно называется "Дай Бог"».

Под конец 2015 года стало известно, что среди номинантов Нобелевской премии есть и Евгений Евтушенко. Итальянский ПЕН-клуб выдвинул его. Опять забродили разговоры о Нобелевской премии.

По решению Благотворительного фонда Владимира Высоцкого 31 января 2016 года одним из лауреатов премии «Своя колея» стал поэт Евгений Евтушенко за верность отечественной литературе и прогрессивный литературный тур 2015 года.

В январе 2016 года на Урале рядом с перевалом Дятлова было найдено тело мертвого человека. Группа туристов обнаружила его в избушке, стоявшей в 20 километрах от перевала. Это был отшельник-сектант Олег Бородин. Он два года кочевал без денег и еды. У Бородина были фотоаппарат и дневник, который, как оказалось, исписан стихами Евтушенко.

В апреле 2016 стало известно имя очередного лауреата премии «Поэт». Наум Коржавин. Это была очередная победа Евтушенко — он выдвигал Коржавина еще в позапрошлом году, о чем я знал из наших телефонных бесед. Через некоторое время ему самому дали новую награду — итальянскую Премию Вергилия. Мало того. Он получил в Париже медаль ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в развитие культуры, укрепление межкультурного диалога и отношений между народами», которую вручил ему эфиоп, родственник Пушкина (версия Евтушенко). Это было по осени, и чуть позже, 28 октября, в Бруклине состоялся трехчасовой вечер Евтушенко. Там ему выдали медаль Пушкинского общества в Америке «За вклад в развитие русской культуры в США». Звон медалей, скажем прямо, ласкал слух нашего героя.

В конце октября Первый канал ТВ произвел новый фурор. «Таинственная страсть», сериал по роману Аксёнова. Евтушенко начал смотреть взахлеб, растрогался, прельстился обликом Чулпан Хаматовой, тут же похвалил в «Комсомолке», но по ходу действия — после третьей серии — опомнился, отшатнулся — с экрана полезло прямое безобразие, оскорбительное вранье. Это было тем более неприемлемо, что к телевизору прильнула многомиллионная масса, в основе своей ничего не помнящая и попросту не жившая тогда.

Евтушенко собирался подать в суд на кашеваров этого кино, но руки не дошли. Были и стихи-отповедь, не слишком удачные.

Второго августа он пришел на гражданскую панихиду в ЦДЛ: провожали Фазиля Искандера. На сцене Большого зала, где стоял гроб в цветах, он вспомнил о давней дружбе: он был редактором первой книжки стихов Фазиля. Это вообще был прощальный август. Седьмого числа он простился с Шахматовом.

Время пропиталось духом скандалеза. Произошел некоторый переворот в Российском ПЕН-Центре. То есть — перевыборы. 15 декабря Евтушенко пришел в Малый зал ЦДЛ. У него, вообще говоря, уже давно была своя, совершенно наивная идея — организовать в единый союз писателей, без деления на элиту и прочих, без рудиментов прежнего — советского — союза писателей с его бюрократизмом и латентно-очевидным неравенством. В ПЕН-клубе уже несколько лет шла смута. Ее затеяли лица, которых сейчас не стоит упоминать, и далеко не все они творчески несостоятельны. Раскололись по идейным соображениям и, вероятно, материальным. Внешне раскол проходил по «крымско-украинской» линии. Из ПЕНа вышли многие литераторы, в том числе одаренные. Собрание шло бурно. Был выбран новый исполком. Евтушенко унес оттуда головную боль и душевное недомогание. Литераторские склоки обрыдли, 22 декабря он уже дает концерт в Сыктывкаре, а 26-го встречается с читателями в магазине «Москва».

Тридцать первого декабря 2016 года у четы Евтушенко — тридцатилетие свадьбы. Евтушенко улетел в Талсу. В Москву доходили сведения о его планах, связанных с грядущим восьмидесятипятилетием. Намечался фестиваль — концерты в Зале Чайковского, Большом зале консерватории, Кремлевском дворце. Началась продажа билетов.

Первого апреля мир облетела весть о срочной госпитализации Евтушенко. Днем я вышел на улицу. Над Новым Арбатом сияло бездонное синее небо. Его украшал белый инверсионный крест — след двух разминувшихся военных самолетов. Оставалось молиться. В тот же день Евтушенко не стало. Он знал, что умирает. Своему московскому продюсеру сказал по телефону из больницы: я уйду, но пусть мой фестиваль пройдет по плану. В больничной палате вокруг него была семья, его руку в течение часа, до остановки сердца, держал сын Женя. Конец пришел во сне.

Шестого апреля прошла церемония прощания в Арт-центре «Лортон» при Университете Талсы. Собралось более 600 человек. Говорили по-английски. Сыновья Женя и Саша читали отцовские стихи: один — по-русски, другой — переводил на английский.

Интернет и СМИ наперебой заговорили о нем. Было сказано очень много очень хорошего и очень плохого. Его вспомнили и в России, и на Западе, и в глубинке, и в Кремле. От Путина и Медведева посланы телеграммы семье покойного. Выразил соболезнование и Горбачёв.

В «Нью-Йорк Таймс», в качестве молниеносного отклика, как на событие первой важности, тотчас по смерти поэта, напечатан очерк — иначе не скажешь. «Евгений Евтушенко, поэт с международной славой, харизмой актера и инстинктом политика, чья вызывающая поэзия вдохновила целое поколение молодых россиян в их борьбе против сталинизма во время холодной войны, умер в субботу в Талсе, штат Оклахома, где он преподавал много лет. Ему было 83 года». Автор — Реймонд Андерсон — ошибся в возрасте, по-видимому заготовив текст заранее. Знаменательно: огромный материал стоит не в разделе «Культура», а на первых полосах газеты. Там по мере сил рассказано обо всем евтушенковском пути. Все-таки Штаты ощущали его живое присутствие в своем пространстве. В Университете Талсы ему присвоили звание «Вечный почетный профессор».

Естественным образом — и так же быстро — отреагировали итальянцы.

ТАСС передал: «Литературовед, журналист, знаток русской культуры, главный редактор журнала «Альбатрос» Агостино Баньято назвал уход Евтушенко "большой потерей не только для русской, но и для всей европейской культуры"».

Отозвалась и Украина. Ее первый поэт — Иван Драч: «Евтушенко для меня был очень дорогим человеком. Он меня практически открыл для российского читателя, сделав первый перевод моих стихов и прочитав их в Октябрьском дворце в 1962 году. <...> Потом мы много выступали вместе, ездили на гастроли. Последний раз с Евгением мы виделись в Киеве 4 года назад. Для меня это очень большая утрата».

Десятого апреля было пасмурно, холодно. В переделкинском храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского природный свет падает в проемы центрального купола. Храм новый, просторный, с цветными луковицами куполов: отдаленная цитата Василия Блаженного. Народу было немного, человек сто. Нельзя сказать, что сплошь родные и близкие, но по преимуществу — из старых знакомых, как и протоиерей Владимир Вигилянский, проведший обряд отпевания. Священник в прежние времена был заметным литературным критиком. После церковнославянизмов богослужения и неземной музыки, опускающейся с хоров, зазвучала речь простая, почти обиходная — Вигилянский, стоя в ногах массивного гроба, говорил о долгой и сложной дружбе с покойным, о его редкостных человеческих и литературных талантах, и — может быть, впервые в истории подобных действий — церковнослужитель от себя попросил прощения у того, кого он отпел.

Ледяное лицо Евтушенко ему не принадлежало. Это был другой человек в его внешнем образе, лишенном жизни. Веяло стужей. На нем был светло-зеленый пиджак в крупную розовую клетку, неяркий галстук. Белая полоса молитвы, закрывающая весь лоб, походила на платочек, которым пляжники спасаются от жары. Вокруг ногтей розовые венчики. Он претерпел перелет через Атлантику, о котором не знал. Все это было неправдоподобно. Сам он — живой — стоял в стороне, без улыбки оценивая качество спектакля, поставленного собой по причине небывалой: ему так сильно хотелось вылететь в Москву из Талсы, что он понял — сердце его не выдержит, и что-то надо делать, и оно остановилось.

Два его сына, Женя и Митя, — крупные, крепкие парни, стоящие стражей над переутомленной матерью. В черном платке и коричневатой кожаной куртке, она сидела на церковном нарядном табурете, и темные круги под глазами были двукратным завершением общей тридцатилетней жизни с человеком, который никуда не уйдет.

Что такое апрель для Евтушенко? По годам — так. 1952 — выход «Разведчиков грядущего», первой книжки. 1956 — исключение из Литинститута. 1960 — его портрет на обложке журнала «Time». 1964 — окончание поэмы «Братская ГЭС», а также случай в Звёздном городке. 1967 — поэма «Коррида». 1973 — арест книг на таможне и хождение по этому поводу в КГБ. 1976 — 1 апреля! — умер Николай Тарасов, первый наставник в стихотворстве и первый публикатор. 1989 — события в Тбилиси. 1993 — роман «Не умирай прежде смерти». 2013 — решение жюри премии «Поэт», спектакль Смехова «Нет лет». Кроме прочего, апрель — это гибель Маяковского и Чернобыль.

Одиннадцатого, во вторник, — гражданская панихида. Таких похорон Москва давно не видела. Полиция оцепила улицу у входа в ЦДЛ, народ не вмещался в Большой зал, стоял в проходах, многие остались на улице. Инфрмагентство NCN:

Ведущий гражданской панихиды, чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО профессор Литинститута Евгений Сидоров, указывая на стопку писем, перечислил, кто прислал соболезнования: «Марк Захаров, Башмет, Гафт, Газманов, Градский, Грачевский, Джигарханян, Калягин, Проханов (другой. — *И. Ф.*), Табаков, Шахназаров. Это только малая часть того, что мы получили». <...> Глава Роспечати Михаил Сеславинский прочитал отрывок из стихотворения «Над земным шаром»: «Я улетаю далеко и где-то в небе тонко таю...». <...> ...проститься пришли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, первый

заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Перед сценой стояли венки от Президента РФ, Госдумы и Совета Федерации.

Отчеты репортеров перегружены официозом. Прощались с поэтом — народ, Москва, простые люди. Ну да, по сцене перед гробом прошло великое множество знаменитых лиц. Подходили к вдове и сыновьям. Был краткий разговор Марии с Натальей Солженицыной.

Гроб вынесли под аплодисменты толпы перед писательским клубом. В Переделкино уехали на двух автобусах с надписью на лобовом стекле: «Музей-галерея Е.А.Евтушенко». В стенах галереи его потом и помянули. На похороны семья пригласила узкий круг близких. День выдался солнечный, апрельский по-настоящему, дул легкий ветерок. Однако и на переделкинское кладбище явилось множество неприглашенных. К месту погребения они прикатили второй волной после краткого молебна в узком кругу на входе на погост. Мало кто заметил — из Англии прилетела Джан, третья жена Евтушенко. Был и сын Саша. На могилу пришла Зоя Богуславская, вдова Вознесенского. В ногах Евтушенко — высоченная, чуть накрененная, тянущаяся осенить всю могилу береза, в головах — липа, столь же рослая. Речей не было. На кресте, вдавленном в хвойную надгробную гору, табличка с датами жизни и сияющее фото улыбающегося, нестарого Евтушенко. Он что-то немного скрывал. Это маленькая тайна: с ним в его нынешнем дубовом обиталище лежат кепка и трость. Ему предстоит дальний путь.

Участок для него нашли трудно, кладбище окончательно сформировано, но Евтушенко — таков: место все-таки нашлось, и оно оказалось действительно рядом с пастернаковским захоронением. Бок о бок. Этого не придумать. Это Евтушенко, его чудеса. «Однажды мы спали валетом с одним настоящим поэтом», — посвящено Слуцкому. А теперь — немного по-другому. Теперь в весеннем воздухе стояли стихи, которые Пастернак знал наизусть и при случае прочел вслух в лицо автору:

Мне мало всех щедростей мира,
мне мало и ночи и дня.
Меня ненасытность вскормила
и жажда вспоила меня.

Мне в жадности не с кем сравниться,
и всюду — опять и опять
хочу я всем девушкам сниться,
всех женщин хочу целовать!

Это 1951 год. Ему было девятнадцать. Таким он пришел и таким ушел.

*Москва
2017, апрель*

Константин Фрумкин

Тирания профессионалов

Принуждение к благу

Требование свободы — один из самых важных, если не важнейший лозунг политической мысли и политических движений Нового времени. Большая часть значимых социальных реформ, революций и сознательных изменений в общественной жизни Запада последних трех столетий была либо направлена на увеличение степени и пространства свободы, либо прикрывалась декларациями на эту же тему. Свобода стала политической сверхценностью, так что остается только удивляться, сколь немного выработано объяснений того, почему она является благом.

По большому счету, выдвинуты всего два главных обоснования.

Первое утверждает, что свобода является условием эффективности любой деятельности и развития в любой сфере. Свободный предприниматель добивается экономического роста успешней несвободного. Чем более свободен художник или ученый, тем более впечатляющих результатов он достигает. Свобода, объявленная «ключом к эффективности», стала лозунгом не только бунтарей, но и элиты, однако в этом качестве превратилась не в самоценное, а всего лишь в инструментальное, вспомогательное благо, способствующее развитию.

Второе обоснование связано с тем, что свобода позволяет человеку заботиться о своей собственной пользе. Эта взаимосвязь выявилась в эпоху Просвещения, когда свобода впервые была осмыслена как коллективная ценность. Классический теоретик прогресса маркиз Кондорсе, требуя свободы, говорит прежде всего о необходимости того, чтобы «каждый понимал свой собственный интерес и мог беспрепятственно его соблюдать». Это обоснование базируется на предположении, что никто лучше самого индивида не может позаботиться о его пользе. Можно было бы назвать это предположение «презумпцией эффективности эгоизма». Вмешательство свыше в частную сферу плохо потому, что у властей нет столь же сильной мотивации заботиться об интересах частного лица, как у него самого. К тому же власть никак не затрагивают последствия ее вмешательства в жизнь индивида. И наконец никто, кроме самого индивида, не знает всех его обстоятельств.

С этой точки зрения, свобода означает устранение препятствий для мобилизации всех ресурсов человека — включая интеллектуальные — на пути достижения нужных именно ему благ. Когда власти влияют на решение частного лица, они заставляют его отклоняться от оптимального, с личной точки зрения, решения. И это может служить еще одним доказательством справедливости мнения Канта о том, что «отеческое

Фрумкин Константин Григорьевич — культуролог, публицист. Публикации в «Дружбе народов»: «Парадоксы традиционализма. По следам одной дискуссии» (1998, № 2); «Традиционалисты: портрет на фоне текстов» (2002, № 6); «Политкорректность — это судьба» (2010, № 3); «Евромайдан и кризис национального государства» (2015, № 2).

правление», относящиеся к подданным как к нуждающимся в опеке детям, является наихудшей формой тирании.

Однако презумпция эффективности эгоизма вовсе не очевидна во всех случаях. В реальной общественной жизни неоднократно ставился вопрос о компетентности индивида в вопросах его же собственной пользы. Свободными поступками человек способен вредить не только окружающим, но и самому себе и может даже погибнуть. К возможности легкой гибели общество обычно относится довольно отрицательно — отчего и процветают в нашей цивилизации гигиена, правила дорожного движения и загородки, установленные в местах возможного падения с высоты, не говоря уже о характерной для христианской культуры дискредитации самоубийства.

Существуют множество технологий и видов деятельности, предполагающих принуждение людей к благу помимо их воли; гигиена и религия в этом смысле являются двумя образцами идеологий, ставящих нормативное регулирование достижений благ выше индивидуальной свободы. Медицина является современным символом некомпетентности людей в вопросах собственного блага. Сегодня борьба человека за свободу может означать борьбу против мягкого вмешательства в его частную жизнь в виде потока стимулов и рекомендаций, навязываемых обществом. Пример такого вмешательства — борьба с курением, противоречащая тому очевидному факту, что право на курение во всех смыслах является частью индивидуальной свободы. Но не все ограничения такого рода — в том числе и в сфере борьбы с курением — имеют мягкий и рекомендательный характер. Например, во многих странах запрещена торговля человеческими органами, хотя есть немало людей, которые добровольно согласились бы продать свою почку. Однако, как говорит американский экономист Гвидо Калабреззи, подобный запрет — результат уверенности, что продавец позднее пожалеет, что совершил эту сделку. «Мы, — продолжает Калабреззи, — не можем разрешить людям продавать себя в рабство или отказываться от минимального уровня образования и медицинских услуг просто потому, что считаем аморальным, когда люди так живут, неважно, что они сами об этом думают»¹. То есть бывают случаи, когда общество считает индивида неспособным судить о собственном благе. Обобщая такие случаи, философ права Бруно Леони в начале 1960-х годов констатировал, что сегодня «в целом привыкли считать вмешательство властей в дела частных лиц гораздо более полезным, чем полагали в первой половине XIX века»². Со времени, когда были сказаны эти слова, ситуация только усугубилась.

Заметим, что наиболее часто подобная коллизия возникает, когда дело прямо или косвенно связано с проблемами медицины и гигиены, поскольку они, с одной стороны, ведают такими важнейшими ценностями, как жизнь и здоровье, а с другой — считаются сложными и недоступными непрофессионалам в своих тонкостях. Борьба с курением и запрет на продажу органов так легко нарушают индивидуальную свободу именно потому, что связаны с медициной.

Медицина и гигиена — примеры того, как в современном обществе возникает проблема поверхностности выбора. Состоит она в разделении реальности на «переменную» часть, которую можно менять при помощи актов выбора (например, через демократические процедуры), и часть «постоянную», управление которой присвоено элитой или сообществами профессионалов. В выборе этой «постоянной» части демократическое большинство никак не участвует. Соответственно, борьбу за свободу можно истолковать как борьбу за увеличение «переменной части» социальных реалий — то есть расширение круга предметов, которые можно изменять актами свободного выбора.

Либертарианцы и анархисты выступают в основном против правительства и полиции, в то время как в современном обществе сильнейшими ограничителями

¹ Калабреззи Г. Будущее права и экономики. Очерки о реформе и размышления. — М.: Издательство Института Гайдара, 2016. — С. 92—93.

² Леони Б. Свобода и закон. — М.: ИРИСЭН, 2008. — С. 177.

свободы человека являются технические и санитарные стандарты. Если в древности, как отмечал Зигмунт Бауман, свобода была социальной привилегией, а нехватка свободы у индивида свидетельствовала о его гражданской неполноценности, то теперь большую часть населения под предлогом его некомпетентности и непрофессионализма лишают права соучастия в решении важнейших для него вопросов. Даже в рамках обычных политических выборов вовлечение в политическую жизнь «необразованных профанов» является непростой проблемой, а в тех вопросах, которые считаются уделом специалистов, эта проблема даже не ставится. Чарльз Тейлор в известной статье «Что не так с негативной свободой» сравнивает «закон, запрещающий мне поклоняться Богу так, как я считаю верным», и светофор, регулирующий уличное движение, и задается вопросом, не является ли светофор угрозой свободе. И сам же отвечает следующим образом: вопрос о религии все-таки является для нас важным, а светофор — техническая мелочь¹. Но в том-то и дело, что технические системы расширяют свою власть за счет мелочей, не попадающих в поле внимания людей, и мелочи эти накапливаются, создавая громадный мир техники, внутри и по законам которого мы все живем. На этом фоне мелочью кажется, как ни парадоксально, религия — однако она отвлекает наше внимание от диктатуры техники как фона, «с которым ничего не поделаешь».

В зоне «слепого пятна»

Важнейшие ограничители человеческого поведения связаны со сложностью общественного устройства, со сложностью технических систем, связанных с социальными пространствами, а также со сложностью знаний, задействованных в конструировании этих пространств. Поэтому особое политическое значение получает популяризация этих знаний, позволяющая воскресить политическое отношение к сложным техническим и паратехническим регулирующим системам и осуществлять меж ними выбор.

Говоря шире, речь идет о системе интерфейсов, служащих посредниками между профанами и сложными техническими системами. Их задача — упростить суть решений относительно этих технических систем до уровня, понятного непрофессионалам. Популяризация научных знаний — одна из подсистем таких интерфейсов, и это показывает нам, что популяризация является политической акцией. Конечной ее целью является политизация профессиональных вопросов — поскольку политика в наше время является единственной сферой, где происходит генерализация мнений широких кругов непрофессионалов и где этим мнениям придается значимость.

Разумеется, разработка подобных интерфейсов — дело чрезвычайно сложное, и интерфейс всегда будет местом злоупотреблений — в частности потому, что у профессионалов всегда будет оставаться соблазн встроить в зазор между дилетантами и техникой «защиту от дурака», которая не позволила бы дилетантам принять заведомо ошибочное решение. Но серьезное политическое отношение не может не содержать в себе возможность ошибки (и даже роковой ошибки), поскольку возможность ошибок есть первое и главное условие права на свободу в любой области.

И в этой связи важнейшая задача — как обеспечить участие широких кругов непрофессионалов в создании технических систем.

В общем и целом все перечисленные вопросы можно считать разными сторонами одной проблемы: речь идет о поиске путей преодоления герметичности технических регулирующих систем по отношению к обществу, ибо взаимоотношения между профессионалами и дилетантами по сути являются формой социального напряжения, доходящего порою до социального антагонизма. На это еще в начале 1930-х годов

¹ Тейлор Ч. Что не так с негативной свободой? // *Логос*, 2013, № 2. — С.194—195.

обратил внимание Освальд Шпенглер, который в свойственной ему патетической манере выразил сожаление, что техника стала эзотерической, как высшая математика, вследствие чего масса «ведомых» не понимает и зачастую ненавидит создающих технику «вождей» общества. В итоге «механизация мира оказывается стадией опаснейшего перенапряжения»¹. В наши дни это перенапряжение осмысляется как проблема власти экспертов. Именно здесь возникают системы превосходства мнения экспертов над мнением населения, или то, что Надя Урбинати называет «неполитической демократией». Однако, понятие «профессионалов» шире понятия «экспертов». В конце 1970-х годов философ Херманн Люббе написал: «Мы, неспециалисты, не можем учить сапожника делать обувь. Однако судить о том, подходит ли нам изготовленная им обувь, можем мы все. Мы не должны допустить, чтобы право на это суждение оказалось в распоряжении одних лишь экспертов-идеологов, вырабатывающих цели»². Если сопоставить это высказывание с современными кампаниями против курения и алкоголизма, то можно увидеть, что Люббе, правильно поставив вопрос, недооценил источник опасности: человеческие цели предопределяют не эксперты-идеологи, а целые комплексы специальных знаний, дисциплин, нормативов и соответствующих институций, начиная с гигиены и общественного здравоохранения.

В России все эти чрезвычайно сложные вопросы практически никто не осмысляет и не обсуждает, и прежде всего потому, что препятствием для разгерметизации мира технических нормативов является ревность профессионалов, которые считают разработку вышеупомянутых систем своей привилегией и борются прежде всего за свою автономию по отношению к правительственным бюрократам. Не существует тех, кто бы был заинтересован в выстраивании сложной системы консультаций, в которых мнения профессионалов и непрофессионалов конвертировались бы друг в друга через специально настроенные буферы. Тем более, что профессионалы не заинтересованы в том, чтобы подчинять свою деятельность интересам и точкам зрения населения как бенефициара их деятельности. И это означает, что сообщества профессионалов являются сегодня не меньшим, а то и большим врагом политической свободы, чем бюрократия. Стоит заметить, что ситуация еще более усложнится, если к сообществам профессионалов добавится еще и такой субъект принятия решений, как искусственный интеллект. Между тем, поскольку деятельность профессионалов — например, разработчиков градостроительных законов — имеет политическое и крайне широкое значение, то очевидно, что в их работе должны участвовать и непрофессионалы. Разумеется, построение рациональной системы такого соучастия — задача далеко не простая.

Острая коллизия — борьба за переведение вопросов из класса политических в класс технических и обратно (кстати, именно градостроительные нормативы часто являются предметом самой острой политической борьбы) — охватывает даже недемократическую Россию. Важно понять, в чем состоит различие между проблемами техническими и политическими. Оно заключается не только и не столько в самом содержании предметов обсуждения, сколько в том, как их обсуждают. Политические вопросы рассматриваются на основе широких консультаций, в то время как технические решаются исключительно профессионалами. Причем предполагается, что профессионалы подчинены некоей суровой необходимости, заключенной в логике их знаний, которая не оставляет место для выбора и альтернативных решений. Но заведомо технических вопросов не существует, поскольку больной вправе отвергнуть любую, даже бесспорно компетентную рекомендацию врача. И это право чрезвычайно важно и в перспективе политично — ведь хирург обладает возможностью уговорить человека согласиться быть зарезанным.

¹ Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век. Антология. — М.: Юрист, 1995. — С. 486—487.

² Люббе Х. Технические и социальные изменения как проблема ориентации // Философия техники в ФРГ. — М.: Прогресс, 1989. — С. 170—171.

Технические вопросы всегда пребывают в зоне некоего «слепого пятна», недоступного для обсуждения большинством населения — однако они все-таки затрагивают население, поскольку касаются жизненно важных для него вопросов, (например, качества продуктов питания), оказывают на него реальное ограничивающее действие — иногда в форме административной власти (например, в виде запрета перехода через железнодорожные пути). В итоге и сама масса технических норм, и стоящее за ней экспертное сообщество не могут не испытывать политического давления — в частности то, что профессиональные вопросы, обсуждаемые специалистами, переходят в разряд политических, которые обсуждают все.

Ну, и отдельная история — это ситуации, когда бюрократические решения, для того чтобы избежать их общественного обсуждения, маскируются под технические, профессиональные.

Та же самая логика, которая лишает возможности дилетантов участвовать в решении профессиональных вопросов, может коснуться каждого — поскольку будет признано, что он некомпетентен в решении вопросов собственного блага.

Атомный реактор может считаться воплощением стратегически самых опасных для демократии сил, он символ технократического антидемократизма: он съедает множество общественных ресурсов, существенным образом влияет на жизнь общества, угрожает жизни и здоровью тысяч невинных людей... При этом реактор, подобно крепости феодала, отгорожен от всего мира, к нему искусственно прегражден доступ для большинства. Все, что в нем и с ним происходит, подконтрольно лишь узкой касте избранных, которых никто не избирал. Это настоящий замок технофеодализма.

В свете такого положения решение Германии о свертывании национальной атомной энергетики внушает надежды, поскольку показывает, что политические решения, которые во многом принимались на уровне, доступном дилетантам, все-таки могут преодолеть внутреннюю инерцию сложных технических систем, а отчасти даже и мнение экспертного сообщества. От специалистов по энергетике часто можно услышать, что решение немецких властей было некомпетентным, принятым в угоду массовым настроениям. Возможно, так оно и есть, но именно некомпетентность решения сигнализирует о существовании окна возможностей для демократических процедур. Разумеется, в самой по себе некомпетентности нет ничего хорошего, но без возможности принятия некомпетентных решений невозможна и демократия. А сама оценка «некомпетентность» может быть лишь ругательным ярлыком, которым цеха и даже отдельные партии или школы экспертов метят любые не удобные им решения.

Проблема профессиональных каст побуждает мечтать об автоматизации как о демократизирующей силе. Если где-то «полная автоматизация» вытеснит с трудового рынка соответствующие профессии и избавит нас от зависимости от этих профессионалов, то это будет означать, что автоматизация способствует равенству.

Ставя вопрос шире, можно сказать: политическое давление на мир технических профессионалов и превращение взаимоотношений между профи и профанами в политическую проблему начнут оказывать влияние не только на выстраивание отношений между людьми, но и на развитие самой техники. Правда, по отдаленным последствиям это влияние будет, возможно, различным, поскольку еще одним важным политическим вопросом оказывается гибкость технических систем, позволяющая им реагировать на осуществляемые людьми выборы и решения.

Мир технических систем должен подстраиваться ко все более разнообразному человеческому поведению, в том числе и такому, которое сегодня считается патологичным. Первыми признаками такой адаптации являются современные средства автоматизации управления автомобилями, которые не устраняют водителя, но немного подправляют его, докручивая руль, если водитель ошибается. Фантастическим завершением этого тренда можно считать мир, изображенный в романе Станислава Лема «Осмотр на месте», где вся техносфера состоит из мириадом микроскопических самодвижущихся роботов, способных коллективно принять любую форму, которая мгновенно подстраивается под человеческие поступки и при этом при любом

человеческом поведении исключает возможность нанесения вреда как человеку, так и самой себе. Просто нож, которым собираются кого-либо зарезать, вдруг делается мягким.

Если сложная среда обладает способностью адаптироваться к любым действиям субъекта, то она, таким образом, становится для него ресурсом. Выбравший специфическое, нестандартное поведение субъект совместно с подстраивающейся к этому поведению среде фактически может создать новый мир. Говоря шире, вообще само умение некоей системы подстраиваться под новый вызов означает открытие нового способа развития, и именно эту способность вещей совершенствоваться в ответ на резкое изменение входящих воздействий Насим Талеб называл «антихрупкостью».

Виртуальная среда, которую человек может проектировать специально под себя, или в которой он, как в компьютерных играх, получает специальные возможности и оружие — тоже модель мира, где подстраивающаяся среда снабжает ресурсами акты сводного волеизъявления. Самый простой и самый обыденный пример — свободный рынок, где поставщики товаров вынуждены подстраиваться к выбору и предпочтениям покупателей, где покупатели, проявляя тем или иным образом свои предпочтения, мотивируют производителей видоизменять свои товары, разрабатывать новые способы удовлетворения желания потребителей.

Таким образом, на повестке дня бурно развивающегося, высокотехнологичного и все более усложняющегося общества стоит выстраивание отношений между сложными техническими системами и миром «дилетантов». Конкретные решения могут быть самыми разными. Скажем, широкими консультациями и демократическими процедурами, в ходе которых дилетанты участвуют в принятии технических решений. Либо полуигровой подстройкой технических систем под решения дилетантов. Или, предположим, подобием рынка, на котором дилетанты играют роль покупателей, приобретающих или отвергающих различные технические решения. Это выстраивание отношений не может быть ничем иным, кроме как острой политической борьбой. Главной опасностью для демократии в этом противостоянии квалификации и некомпетентности станет один нехитрый прием. Профессионалы будут стремиться увести значимые вопросы из зоны внимания публики в незаметный глазу теневой мир «профессиональных», «технических», «автоматических» решений. Эта тенденция способна привести к созданию общества, в котором сложные технические вопросы настолько глубоко «спрятаны» от населения в подземные бункеры или в невидимую «эфирную» инфраструктуру, что практически не будут ограничивать поведение людей. Обыватель даже не ощутит ограничения, проистекающие от власти специалистов или автоматически действующих агрегатов, обладающих искусственным интеллектом.

Разумеется, если специалисты действительно сумеют сделать техническую инфраструктуру невидимой для дилетантов, это будет чрезвычайно опасно с политической точки зрения. Поскольку большинство перестанет реально сталкиваться с важными процессами, влияющими на жизнь общества, у людей не останется стимулов ни контролировать эти процессы, ни вмешиваться в них. Символическим отражением такой ситуации может послужить мир элов и морлоков, созданный Гербертом Уэллсом в романе «Машина времени». Говоря точнее, фантазии Уэллса можно найти сегодня новое, более актуальное толкование: важные технологические процессы спрятаны в подземелье под надзор специалистов-морлоков, а дилетанты-элой живут в неведении, ничего не зная о техном мире, и расплачиваются за свою беспечность, становясь жертвами злоупотреблений со стороны профи.

В чем сегодня нуждаются профаны-элой, так это в оптимизме. Нельзя считать задачу их участия в решении профессиональных вопросов безнадежной — врагом политической свободы сегодня является «пессимизм некомпетентности».

Александр Евсюков

СЮЖЕТ

1

...Все началось с подоконника. Подоконника под толстым гладким слоем белой краски. Я стою на нем в детских колготках, потому что это мое самое первое в жизни зыбкое воспоминание. За окном под двумя яблонями сдвинуты столы, и сначала кто-то один говорит, а затем все медленно и плавно поднимают бокалы. Незнакомые взрослые люди то встают, то садятся опять. Все происходит совершенно беззвучно. В мою сторону никто не смотрит или смотрит без всякого интереса. Я не помню там ни матери, ни отца, хотя точно знаю, что они должны быть рядом. Зато портретно запоминаю нескольких людей, которых потом совершенно точно не мог нигде встретить. Картинка застывает и понемногу становится похожа на старую желтоватую фотографию с трещинами на уголках из пыльного толстого альбома. Я так и стою на подоконнике и смотрю, смотрю внимательно, а потом смаргиваю и проваливаюсь в беспмятство еще на два с лишним года...

Мое детство прошло в Тульской области — в поселке Нагорный, который чаще звали 14-й шахтой или Обувной фабрикой. Так, по привычке, называют его до сих пор, хотя фабрика окончательно схлопнулась в середине 90-х и постепенно превратилась в заросший пустырь с опасными (при неосторожном хождении) ямами, а выработанную шахту закрыли намного раньше, до моего рождения и до приезда родителей сюда.

Но ближайшая к дому возвышенность осталась именно от шахты — грифельно-серого цвета террикон, насыпной холм из отвала пород. Именно на него я (один или с товарищами) совершал первые восхождения, которые — тогда, в детстве — казались мне почти альпинистскими. Потом в снежные зимы мы строили крепости у вершины — лепить их лучше в короткую оттепель, так чтобы за ночь покрылись ледяной коркой, тогда укрепление может простоять не одну неделю и выдержать многие штурмы.

Вдали видны другие терриконы: соседний, увековечивший память о 13-й шахте, намного выше нашего, стоит себе как настоящая гора, на вершине которой всегда свистит ветер и открываются взгляду далекие захватывающие дух пространства; а вот на шахте 17 — только жалкий бугорок, кучка угольного праха.

Александр Евсюков родился в 1982 году в городе Шёкино Тульской области. Выпускник Литинститута 2007 года. Публикации в журналах «Дружба народов», «День и ночь», «Ното Legens», «Вайнах» (Грозный), «Бельские просторы», «Звезда Востока» (Ташкент) и др.

Участник Форумов молодых писателей России. Победитель российско-итальянской премии «Радуга» (2016). Проза переведена на итальянский язык.

Уже в малом возрасте я знал, что мой дед по отцу Дмитрий Иванович — потомственный шахтер, с ранней послевоенной юности больше тридцати лет отработал навалыщиком. До самой своей внезапной кончины он оставался жилистым и подвижным. Когда заходил разговор о нормах, он негромко говорил: «...тонн десять, а когда ударничать брались, то и побольше. Но если сильно много сделаем, то на следующий месяц и план выше задирают за те же деньги». Однако работа позволила получить квартиру почти в самом центре районного города Шекино, а зарплата шахтеров считалась хорошей и позволяла достойно содержать семью: жену и двоих сыновей.

Его супруга баба Валя — напротив, за всю взрослую жизнь отработала всего одну полную рабочую смену на бензоколонке и тут же забросила это неблагоприятное занятие, чем и гордилась, не слишком таясь. Вот, мол, а смогла же при этом устроиться, Дед, неизменно уважаемый и на работе, и всеми соседями, после коротких перебранок с женой чаще всего быстро сдавался и отходил в сторону. Он предпочитал сбегать в работу, где всегда чувствовал себя увереннее. Баба Валя же брала свое деревенскими хитростями и упрямым измором — например, когда нужно было пристроить младшего сына (моего отца) на сложную операцию к лучшему хирургу, ей не раз доводилось доезжать до столицы и доходить «до самых врачебных верхов».

Даже подростком я догадывался — что-то у них не так, несмотря на все полвека совместной жизни. И уже потом узнал: первой любовью деда, тогда молодого паренька Мити, была Нина, младшая сестра Вали. Нетрудно представить, как застенчиво и нескладно все происходило, как отворачивались и заливались они оба краской, как пытались укрыть зародившееся чувство и от самих себя, и от взрослых, и как взрослым все было заметно с первого же внимательного взгляда. И как мать сестер все поняла и сообразила, что парень толковый и хозяйственный, но негоже младшей высказывать наперед старшей, какие после этого по деревне пересуды пойдут? Видимо, поняла материнский намек и Валя. С детства она была хорошей плясуньей и на танцах в сельском клубе кружила обжигающим вихрем, куда за ней было угнаться младшей! И в сказке этой Золушка без помощи феи так и осталась стоять у стенки. А вот Митя оказался женат совсем не на той сестре, на которой собирался, и вскоре стал отцом двух мальчиков. Нина тоже вышла замуж за неуклюжего молчуна Василия, главным положительным качеством которого было немаловажное по советским временам умение часами безропотно выстаивать в очереди нужные дефициты, и тоже родила двоих парней.

Они прожили жизнь в одном дворе, в крайних подъездах соседних домов. Он ушел первым — ночью остановилось большое сердце. Тремя годами позже высушенная онкологией до костей баба Нина попросила похоронить ее рядом с Митей. О своем номинальном муже она, кажется, даже не вспомнила.

Их схоронили совсем близко от нашего поселка — на новом кладбище в Крестах, которое из-за света и простора вокруг называли «веселым».

Раньше, на самом дальнем краешке моего детства, это было колхозное поле, засеянное пшеницей, по дороге вдоль него уходило пастись стадо коров во главе сначала с огромным черным быком Цыганом с блестящим кольцом в носу, а потом с пестрым Буяном. Вечером на закате мы с мамой выходили посмотреть, как солидно возвращается домой в коровник сытое стадо, каким столбом вздымается пыль от сотен копыт и как подстегивают отстающих раскатистые щелчки кнута. Иногда пастух подсаживал и катал меня на спине старой смиренной лошади Зорьки. Крепко держась за жесткую гриву, я восторженно оглядывал всех сверху, думая, что еду на настоящем коне.

Потом я всего раз повстречался с почти таким же большим стадом в наших окрестностях. Вернувшись с очередной сессии, вышел прогуляться через давно заброшенное поле. Подышать теплым ветром, пахнувшим ромашками и люцерной. Посмотреть, как ловко кувыркаются в воздухе ласточки и висит темной точкой на

слепяще яркой высоте охотник-коршун. Обогнул заброшенный карьер, и тут мне навстречу выходят сразу четыре темных быка неизвестной здесь раньше породы с острыми прямыми рогами. Десятки коров показались за ними следом. Поняв, что бежать поздно, и убедившись, что ничего красного на мне нет, я неспешно двинулся им навстречу, понемногу забирая в сторону. Быки примерились протяжными взглядами, потом как-то значительно переглянулись между собой и все разом потеряли ко мне интерес. И тут, огибая стадо, вылетел голый по пояс загорелый до черноты всадник. Он махал мне рукой и что-то выкрикивал. Я же упорно заставлял себя двигаться с той же скоростью, не ускоряя шага и не замедляясь, чтобы снова не привлечь невзначай потерянного бычьего внимания, и поэтому не помахал ему в ответ.

— Ты чего тут ходишь — не боишься их совсем? — подсакавав ближе, громко спросил пастух.

— Не-е, нормально. Гуляю, — выговорил я.

Пастух, видимо сочтя меня кем-то на редкость отчаянным, уважительно спешился и тщательно вытер ладонь о штаны, чтобы познакомиться. Мы перекинулись несколькими фразами: он подрабатывал на богатого фермера, а через меня решился передать привет сыну земляков — газетному журналисту (корреспонденту или, может, редактору, кто их разберет) там, «на Москве». Сильно удивился, что я его не знаю. Потому что столица, она, конечно, большая, но уж не такая, чтобы двум человекам друг про друга совсем ничего не слышать.

2

Моя первая школа находилась в соседнем поселке Финский, который получил свое название из-за военнопленных, оказавшихся здесь после Зимней войны (тех самых, кого называли тогда «белофиннами») и обустроивших бараки и деревянные домики особого типа. Однако крепкой памяти насчет финнов в народе почему-то не осталось в отличие от короткой поры присутствия немецких пленных, трудившихся над постройкой котельной у нас в Нагорном. Их облик: одежду, обувь и, главное, — непривычную размеренную четкость работы вспоминали и расписывали в красках все старожилы. Стены котельной были сложены на совесть, разбить их стоило больших трудов, и потому именно она, давно опустевшая и выпотрошенная, гордо выстояла дольше всех окружающих строений.

Самым популярным зимним развлечением у пацанов, еще не доросших до дискачей и гуляний с девчонками, было «бортовать» — то есть прицепляться руками к заднему бамперу автобуса и скользить по льду и разбитому асфальту до следующих остановок. Подошвы ботинок стирались всего за несколько таких поездок, но ни возмущение, ни подзатыльники вечно безденежных матерей никого не останавливали.

Были и свои аналоги интерактивных игр: по примеру Стивенсона мы рисовали карты необитаемого острова — с сокровищами или без — и каждый день придумывали и записывали «свои» новые приключения на нем.

Долго и увлеченно играли «во вкладыши» от жвачек — ловким хлопком ладони их надо было перевернуть, и тогда все они доставались победителю. Хлопки раздавались на каждой перемене отовсюду: играли на партах, на подоконниках, на полу в школьных коридорах. У малышни самой ценной добычей считались машины, а у пацанов постарше актрисы в открытых платьях.

Однажды в самую снежную зиму дорогу между поселками замело наглухо, так, будто разразившийся с вечера до утра буран был ниспослан именно с этой целью. Когда же снеговая каша сварилась и застыла, то лишь великим трехдневным трудом удалось пробить единственную полосу движения с «карманами» для разъезда встречных

машин. Вычищенный снег возвышался двумя высоченными грядами, поверху вилась узкая пешеходная тропка, а время от времени внизу у нас под ногами прокатывали то рейсовый автобус, то грузовики. Несмотря на искушение, снежками мы в них не кидали.

Самым страшным временем почти для всего класса становились уроки английского, который взялась преподавать завуч, сама владевшая им очень приблизительно — всю жизнь она учила немецкому. Страх от взаимного непонимания на уроках сменялся ядовитыми насмешками над училкой в коридоре сразу по их окончании. Вместо живого языка в память каждому намертво вдолбилось несколько дубовых фраз (Today's weather cold, there's no sun), по которым ее и вспоминали. Чуть позже она умерла тяжело и мучительно, и, кажется, только тогда мстительные насмешки сами собой сошли на нет.

С каждым годом учеников в младших классах становилось все меньше, учителя старели, и лет через пять после моего выпуска школа закрылась из-за недобора детей. А в здании вскоре расположилось общежитие вьетнамцев с неизбежным полулегальным пошивом ширпотреба.

3

Первые замашки сочинительства проявились у меня очень рано. Сам не помню, но не раз слышал потом от старших, что, залезая к деду под одеяло, я просил его рассказать мне на ночь сказку. На самом деле мне всегда хватало только ее завязки. Потом я задавал несколько уточняющих вопросов и, перехватив вожжи сказителя, несся дальше уже сам, смело меняя сюжет и выворачивая наизнанку фольклорные задумки.

Эта пагубная склонность развивалась во мне, и когда мы с ребятами шли из школы, то обычно именно я заговаривал дорогу всякими историями, прочитанными или просмотренными, а потом доведенными до полного художественного развития.

Однажды во втором классе ко мне зашла одноклассница Юля переписать домашнее задание. Я дочитывал «Таинственный остров» Жюль Верна. Вид этого толстенного тома ее впечатлил, и она предположила, что я сам тоже обязательно буду писателем.

— Скорее, читателем, — скромно поправила тогда мама. Но во мне это озвученное озарение что-то пробудило, и вскоре я совершил свою первую попытку написать некое подобие рассказа о загадочном ритуале центральноафриканского племени.

Книги я читал увлеченно, запоями: они были как окно из маленького серого мирка в большой — цветной и сияющий. Иногда кто-то из одноклассников или знакомых ненадолго тоже увлекался, и тогда находилось о чем поговорить. Взрослые воспринимали эту склонность то снисходительно, то настороженно. От самых прозорливых бабушек можно было услышать:

— А помнишь, у Маруськи-то малый все читал? Так и свихнулся. Еле сторожем пристроила, а потом уж и туда не брали. И этот туда же.

И все более важным для меня становилось доказать, что бывает и по-другому.

Я нацелился на Литинстиут. Все, с кем я делился своей мечтой и целью, качали головами и соболезнавали мне заранее. Из нашей дыры — в московский вуз? Без денег? Без связей? Ну, ты попробуй, а мы поглядим...

Километрах в восьми от Щекино расположена усадьба Ясная Поляна. Туда можно добраться на автобусе, на попутке, на велосипеде, на лыжах и даже — при желании и упорстве — дойти пешком. Несколько раз целыми классами нас возили туда на экскурсии вместо спаренных уроков. Тогда запомнились лошади возле конюшни, нескончаемая энциклопедия Брокгауза и Ефрона с корешками во всю стену, стайки

гомонящих и удивленно озирающихся иностранных туристов. Из-за такой очевидной географической близости мне сложно было воспринять Льва Толстого как великого писателя, а не только земляка. К счастью, сила и мощь настоящего творчества в итоге перебарывает подобные предубеждения.

Для творческого конкурса в Литинституте требовалась распечатка текста. Это оказалось серьезной проблемой — почти все местные знакомые были из другой среды, так что печатных машинок ни у кого уже не было, а компьютеры еще не появились. В последнюю неделю вдруг удалось договориться с работниками музея, и моя первая повесть за два дня диктовки оказалась перенесена из тетрадных каракулей в стопку печатных листов.

Через три месяца я поехал в столицу на экзамены. Возвращение обернулось скромным триумфом. С дорожной сумкой за плечом я неторопливо подошел к подъезду.

— Ну что, Саш, поступил? — с чрезмерно сладкой улыбкой спросила одна из соседок.

— Поступил, — подтвердил я тоже с улыбкой. Лица вокруг недоуменно вытянулись.

— А из Щекино там народу много?

— Из Тулы больше нет никого.

Соседки сокрушенно замолчали, не зная, что еще спросить. Привычный мир вокруг дал широкую трещину. Потом (невиданный случай) целых три вечера подряд у подъезда никто из них не собирался.

4

Город Щекино — блеклый новострой, и выражение поэта Сергея Казнова «городок без архитектуры» к нему вполне применимо. Даже у Игоря Талькова (едва ли не самого известного здешнего уроженца, родившегося еще в одном пригородном поселке — Грецовке и посвятившего этим местам песню «Маленький город») точных исключительных примет не найдется. «*Маленький город с улицами в три дома. С шепотом тополей за окном, до боли родной и знакомый*» — вот и все Щекино, получившее статус города почти перед самой войной. Осенью и в самом начале зимы 1941-го на 52 дня районный центр оказался в оккупации.

Однажды весной накануне Дня Победы я напросился в гости и побеседовал с Михаилом Федосеевичем Шпилевым — кавалером французского ордена Почетного легиона. Родом с востока Украины, в 14 лет он был угнан на работы сначала в Германию, а затем, с аттестацией крайне неблагонадежного и склонного к побегам, отправлен во Францию. Там был вынужден участвовать в постройке Atlantikwall (Атлантического вала) от возможной высадки союзников. Из тридцати тысяч пленных и фремдарбайтеров в начале строительства к окончанию выжило не больше тысячи. Но Михаилу удалось сбежать гораздо раньше; затем тощего настырного паренька взяли в Сопротивление. На операции он ходил бок о бок с эмигрантами, как выяснилось, так же сильно ненавидевшими Гитлера и любившими свою Россию. Война для него закончилась освобождением Парижа. Русских (ни эмигрантов, ни тем более советских) союзное командование, развивавшее наступление в сторону Германии, предпочло дальше не пускать. Отдельные эпизоды и впечатления того времени он зарисовывал в отдельный альбом карандашом или акварелью. По окончании войны он вернулся на Родину и обосновался уже в Щекино. Позже, в 60-е, он оказался консультантом у Сергея Бондарчука и даже снялся в крохотном эпизоде «Войны и мира».

Другой ветеран встретился мне совершенно случайно. Во время прогулки недалеко от бывшего завода и новой, «не намоленной», церкви он сам окликнул меня, представился Георгием. Видимо, ему хотелось поговорить с кем-то молодым. Я остановился и присел рядом на бетонную плиту. Оказалось, что в войну он служил артиллеристом. Летом 1944-го в Прибалтике попал в плен. Немцы, захватившие его расчет, тогда сильно смеялись. *«Как раз перед этим командир приказал нам с другим солдатом обменяться оружием. Отдал я автомат, чтобы он нас с тыла прикрыл, а фрицы — навстречу. И вот у меня карабин, а все патроны автоматные — даже застрелиться не могу»*. Через несколько месяцев, уже из лагеря в Польше, он сбежал, когда охрана ослабела и стало возможно добраться до ближайшего леса за спинами других пленных. Его племянника, как родственника военнопленного, уже в 60-х, не допустили до учебы в институте.

5

Дядя Коля — старший отцовский кореш — гнал самогон, но сам не пил. *«Не по этой части»*, — пояснял он, срезая и заботливо складывая в пакет маковые головки на полузаброшенных дачах. Показания дяди Коли, за что и сколько точно он сидел, разнились, но в общих чертах я понимал, что связан этот знаменательный период с хищениями и уводом налево товаров из магазина, в котором он был заведующим. Кажется, вся нужная информация о его сроке была наколена на спине, но читать наколки бегло и грамотно я не умел.

В тюрьме полно времени. Читать он пристрастился именно там. Однажды на целый месяц у него на руках оказалась одна книга — других почему-то не выдавали — «Поединок» Куприна. И тогда он перечитал ее одиннадцать раз полностью и еще много «надергал кусками». Потом — дело молодое — целыми страницами наизусть шпарил.

Меня это сильно удивило. Трудно было представить такую оторванность от самых захудалых благ цивилизации: ни телевизора, ни газет. Только четыре стены и окно в решетке.

— А сейчас сможешь? — несмотря на сорок с лишним лет разницы мы общались на «ты».

— Да зачем? — он отмахивался, но потом соглашался и, прикрывая глаз, начинал:

— *«Дуэли? Нет, не боюсь, — быстро ответил Ромашов. Но тотчас же он примолк и в одну секунду живо представил себе, как он будет стоять совсем близко против Николаева и видеть в его протянутой руке опускающееся черное дуло револьвера. — Нет-нет, — прибавил Ромашов, — я не буду лгать, что не боюсь. Конечно, страшно. Но я знаю, что я не струшу, не убегу, не попрошу прощенья»*.

Назанский опустил концы пальцев в теплую... и какую-то там... воду и заговорил... заговорил слабым голосом, поминутно откашливаясь:

— *Ах, милый мой Ромашов, зачем вы хотите это делать? Подумайте: если вы знаете твердо, что не струсите, — если совсем твердо знаете, — то ведь во сколько раз тогда будет смелее взять и отказаться»*.

— *Он меня ударил... в лицо!* — упрямо ответил Ромашов, и вновь жгучая злоба тяжело кольхнула в нем.

— *Ну, так, ну, ударил, — возразил Назанский и грустными, нежными глазами поглядел на Ромашова. — Да разве в этом дело? На свете все проходит, пройдет и ваша боль и ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет с вами в постели, за столом, в одиночестве и в толпе. Пустозвоны, фильтрованные дураки, медные лбы, разноцветные попугаи — на этих*

эпитетах дядя Коля делал особые ударения — *уверяют, что убийство на дуэли — не убийство. Какая чепуха! Но они же сентиментально верят, что разбойникам снятся мозги и кровь их жертв. Нет, убийство — всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, не брезгливое отвращение к крови и трупу, — нет, ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Великую радость жизни!..*» — дядя Коля остановился. — Вот так. Раньше страниц по пять мог без запинки, молодой когда был...

Щекино находится в той обширной зоне за сто первым километром, где обычно оседали бывшие зеки. Многие из них садились в одной стране, а спустя годы выходили уже в совершенно другую. Одни выглядели настороженными и сбитыми с толку, другие всем своим видом бросали вызов обществу. Как будто нарывались, готовясь ответить на любое неосторожное слово или непочтительный взгляд. Уже потом я научился различать липкий затравленный страх за любой самой внушительной бравадой.

Одного из таких освобожденных в никуда зеков я ни разу не видел, но запомнил по имени — его звали Егор. Отец рассказал, как на одной из пьянок этот самый Егор говорил, что за десять лет на зоне стал большим человеком, судя по намекам, чуть ли не «вором в законе», и теперь за угощение выпивкой всем обещал свое покровительство. Он был крепкий, обритый, часто повторял, что «отвечает за базар», но жил пока в старом бараке у матери. Однако скоро все местные авторитеты должны будут начать считаться с ним. Я тогда увлеченно лепил из пластилина и других подручных материалов сценки античной битвы, и в моем легком на подъем детском воображении этот неведомый, но могучий Егор легко вырос до исполинских размеров будущего вершителя судеб Одиссея, только что доплывшего до своей Итаки. Я стал прислушиваться к любому упоминанию этого имени и ждал чего-то грандиозного. А через несколько недель при мне в автобусе рассказали, что Егора убили легко и наглядно — так, чтобы все видели, но никого не поймали. Его закололи несколькими расчетливыми ударами возле самого дома, он совсем немного прополз в пыли и истек кровью у ног оторопевшей матери.

Позже, уже в старших классах, я стоял на остановке, укрываясь от дождя со снегом. Ко мне подвалил низкорослый мужик, одетый как-то вразнобой: кепка, потертая меховая куртка, треники с лампасами. Хриплым голосом он попросил выручить пятью рублями. Я нашел в кармане монету и выручил. В ответ он протянул мне руку, разрисованную «перстнями»:

— Корявый мое погнало, только откинулся. Скоро паханом тут стану, и это зачтется тебе. Корявый, запомни...

Я понимающе кивнул и поспешил к подходившему автобусу. Больше ни о каком Корявом я никогда не слышал.

6

Не нарочно, но последовательно я отказывался врасти и увязнуть в почве этих мест. Не искал работу поблизости, не торопился обзаводиться семьей, вообще не мог воспринимать все это всерьез, как возможную для себя среду обитания. Так аквалангист чуть раньше или позже неизбежно должен выплыть на поверхность.

И кажется, на этот отказ, на это выплывание сам город вдруг отреагировал мстительно. Как будто решил договорить мне о себе в самое ухо что-то, ранее неизвестное, и сделать это так, чтобы уйти или отвернуться было невозможно. Через ближайшую родню.

Мой отец — натура артистическая. Он любил играть, входить в образ, пускать пыль в глаза или, наоборот, добиваться жалости к себе и своему положению. Долгое

время он играл безобидного, растерянно улыбающегося пьяницу. Но пил всерьез и помногу, а это все больше сказывалось на здоровье: он ослеп на правый глаз, потерял три фаланги на пальцах руки, когда однажды не успел вовремя отдернуть их от зубьев циркулярной пилы.

Но потом его вдруг привлекло другое амплуа — опереточного злодея и героя-любовника под парами боярышника. И вот у него появилась *другая* — полюбовница и собутыльница. И, сорвавшись с кодировки, они взялись прожигать жизнь.

Посреди рабочего дня вдруг позвонила мама. *«Папа приходил с этой своей. Грозился. Замок в квартиру поломал». — «Чем грозился?» — «Вселить ее везде. У него же тут доля». — «Не переживай. Я приеду в пятницу. Тогда и поговорим».* Я как-то сразу почувствовал, что этот звонок — одно из событий, меняющих курс жизни, только непонятно, куда именно. Мы с женой поехали, ожидая очередного визгливого скандала. Я уже много раз пробовал говорить с отцом, и в каждый такой разговор что-то будто бы отваливалось, отпадало. Он все меньше был похож на того человека, каким я знал или представлял его раньше.

Мама давно устала от разных отцовских выходов и предпочла пустить все на самотек. А его опустошенность вскипала злобой. Он подступил к матери и как-то чересчур картинно на нее замахнулся. Я был рядом и, перехватив его руку, отвел в сторону. *«Не делай так больше. Сядь на диван и послушай...» — «Здоровые все стали, да?» — он шипел с приглушенной яростью. — Ну, ничего, я вам устрою...»*

И он в самом деле устроил. Вызванный по телефону наряд полиции перехватил нас, только что севших в автобус. Через час я оказался подозреваемым сначала в грабеже по предварительному сговору, потом только в побоях. Весь вечер и часть ночи с долгими перерывами шли три допроса. Конопатый оперативник неуклюже, но настойчиво пытался меня «расколоть». В этих перерывах меня успели несколько раз позвать понятиям к другим операм. Запомнился случай с белой козой, которую изодрали бездомные собаки. На площади праздновали День города, и ИВС (изолятор временного содержания) был переполнен пьяными. То и дело оттуда доносились чьи-то истошные завывания. Женщина средних лет с насмешливыми глазами спустилась вниз с этажей. *«Саньч, что за шваль вы притащили? Я работать не могу — прям подо мной эта собака Баскервилей... А ты чего ждешь?» — она обратилась ко мне. — «Да сам пока не знаю...»* Мы заговариваем о Конан Дойле, затем о Толстом, потом вдруг переходим к дневникам Достоевского. Я приглядываюсь к ее майорским погонам. В дежурной части пахнет сюрсом. Через полчаса мне доверительно пересказывается уголовное дело о непреднамеренном «хищении» соседских калош, которое конопатый опер расследовал еще более рьяно. И образ его как-то съезжился, стал смешным и жалким.

Над городом стелился запах сожженного мяса. Далеко на окраине района, в Лазарево, десятками тысяч уничтожали свиней, в которых вселилась вдруг африканская чума. Я же в очередной раз приехал из Москвы, и мне предстояла очная ставка. Сожительница с трудом дотащила до околотка пьяного отца, в упор не признавшего мать, с которой прожил тридцать лет. В этот день ставка не состоялась.

Дело медленно распухло до трех, а затем и до четырех томов.

Довольно быстро стало понятно, кто дирижирует за кулисами этого процесса. Двоюродный брат в середине 90-х занимался скупкой цветных металлов, потом переключился на утилизацию мусора в соседнем районе. Встречались мы нечасто. Так лет за семь до начала следствия он прикупил черный джип и заехал похвастаться новой колесницей. Тачка серьезная, но ни зависти, ни внешнего восторга я не выразил — заговорил о другом. И тут же отчетливо ощутил уязвленное тщеславие «мусорного короля». Видимо, он всегда чувствовал себя что-то недополучившим, чем-то обделенным, а потому и добился от вечно пьяного отца, чтобы тот переписал на него эту несчастную долю в хрущовке.

Через дознание, следствие, обращение в прокуратуру, спустя год после происшествия все докатывается до суда. Суд был назначен в соседнем Советске. Это предусмотрительно: в случае согласия с обвинением, а согласие это почти предreshено, апелляция будет слушаться в этом же районе. Советск опоясывает большое водохранилище — в детстве после маленьких заросших прудов оно казалось почти что морем. Рыбалка здесь считается лучшей. Но теперь мне не до нее. Идет мировой суд. Зампрокурора города, хоть внешне и похож на прыщавого старшеклассника, но обвинение на всех заседаниях поддерживает с большим усердием. *«Целый зампрокурора на таком плевом деле? Можешь больше ничего не рассказывать. Дело заряжено, видно сразу»*, — пишет мне на мессенджер юрист, хорошо знакомый с судебным закулисем.

Вместе с мамой мы повели контратаку — встречный иск на вселение. На первое зимнее заседание отец не явился, он в больнице. По совету адвоката я сам пошел к отцу, чтобы уточнить, не уловка ли эта болезнь. Мы встретились в палате, он выглядел совсем другим, дважды подал руку: при встрече и потом на прощание. Я заметил, что дыхание его стало силным с частыми торопливыми вдохами, но впервые за два года не услышал той особенной подогретой злости в его голосе. Сожительница молча сидела рядом, несколько раз он тревожно оглядывался на нее.

Мы договариваемся созвониться. Мы вглядываемся друг в друга. Примирение висит в воздухе. Однако в понедельник он недоступен. Во вторник я узнаю от мамы о его смерти и поспешно прошедших похоронах.

Приставы вселили маму в квартиру следующей весной. Она огляделась и покачала головой: прибираться здесь надо долго.

— Ну и как тебе это все? — вдруг спросила меня.

— Трудновато, — сознался я и обнял ее за плечи. — Но уже прошло. Зато теперь у меня есть шикарный сюжет. Спасибо родному дому.

Евгений Попов

БИТОВ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В сложную историю втянул меня журнал «Дружба народов», предложив сочинить какой-либо текст к 80-летию признанного классика современной русской литературы Андрея Георгиевича Битова.

Писать про Битова, о Битове, для Битова — невозможно. Не получилось ни у кого, кроме, пожалуй, Валерия Попова. У меня тоже, скорей всего, не получится... Ну да попытаюсь... Хочется и надо.

Дело в том, что «БОЛЬШОЕ», как известно «ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНЬИ», а я — так уж получилось — последние сорок лет был близок с ним, хотя, бывало, не виделись мы неделями, месяцами, а то и годами.

Близок не в том смысле, что он — мой старший друг, товарищ и брат, каковым мне был, например, Василий Павлович Аксенов. Битов, по моим наблюдениям, к себе никого никогда не подпускает, и глуп тот человек, который самонадеянно полагает, будто он Битова познал, изучил, или сдуру решит, что Битов его вдруг ни с того, ни с сего одарил «людскою ласкою», взял в «свой круг». Свой круг у Битова неизменен: Юз Алешковский, Белла Ахмадулина, архитектор Александр Великанов, Резо Габриадзе, этолог Виктор Дольник, Михаил Жванецкий, певица Виктория Иванова, Отар Иоселиани, Грант Матевосян, Пушкин Александр Сергеевич, фотограф Юрий Рост, Володя Тарасов — мирового класса барабанщик.

То, что некоторые из этих личностей уже переместились в иной мир, — значения не имеет. Ведь жизнь, как известно, вечна.

Я в сей круг не вхожу и не лезу. Во-первых, другое поколение, он — мэтр, он мне рекомендацию давал в Союз писателей СССР, откуда меня вскорости после принятия выперли. А во-вторых... ну, не вхожу и всё. Отношения у нас всегда были, есть и будут сложные. Начиная с посвящения мне рассказа «Неистовый Орландо» и заканчивая дракой неизвестно по какому поводу на ночной морозной улочке Переделкина в 1978, что ли, году. Битов, как бывший боксер, бил хорошо, но я был младше его на 9 лет. Как, впрочем, и сейчас.

Близок лишь потому, что близки мне практически *все* его строки. Начиная естественно, с «Пенелопы», «Бездельника», которые были *про меня*. Были источником радости для меня и моих товарищей. Что, дескать, смотрите-ка, кругом сплошной Советский Союз, а в нем вдруг оказался такой замечательный Андрей Битов, по образованию, кстати, тоже геолог. И заканчивая даже не «Последним из оглашенных», а усложненной лексической невнятицей совсем новых его текстов — высказываний, которые невозможно читать *просто так*, в которых нужно мучительно искать сверхценный смысл. По ходу чтения то обретая его, то вновь теряя.

Ведь Битов — умнейший человек, и это исключение среди крупных русских писателей второй половины XX века. То есть я вовсе не хочу сказать, что

Василий Аксёнов, Виктор Астафьев, Фазиль Искандер, Василий Шукшин были глуповаты. Я о том, что создание прозы поверялось у них данным им от Господа *даром прозы*. А у творца многих прозаических шедевров Битова — *даром ума* и сопутствующей этому уму рефлексии.

В этом есть что-то мистическое, как при расставании души с телом. То есть душа, отлетая, находится пока еще тут же, рядом, а телу уже каюк.

Как упомянутому XX веку, бывшей советской Империи или докомпьютерному человеку, только сейчас построившему «мы наш, мы новый мир», в котором сошли с ума уже ВСЕ, и это демонстрируется городу и миру ежедневно — от Москвы до самых до окраин типа Харькова, Вашингтона, Лондона и Донецка.

Битов за свою, дай ему Господь продолжения, жизнь написал так много мучительно завлекательного, яркого, сочного, сложного и простого, что все рассуждения о нем, попытки растолковать суть его существования в пространстве и времени заранее обречены на неуспех. Он многое, если не всё, в этой жизни уже предугадал и никогда не скрывает своих предсказаний.

Выражаюсь я, скорее от смущения, как-то неясно. Поэтому, чтобы пояснить эти свои смятенные фразы, вспомню одну историю, произошедшую при мне в доме Беллы Ахмадулиной.

80-е прошлого века. Выпивали тесной компанией. Какой-то посторонний, богатый кавказский врач в восторге сказал своему кумиру Битову, с которым Белла только что познакомилась:

— Вы, оказывается, так молодо выглядите, я думал, вы гораздо старше, когда читал мудрые ваши «Уроки Армении» и «Грузинский альбом».

Битов промывчал что-то неопределенное, а острослов Гриша Горин немедленно пояснил:

— Это потому, что он в детском саду кушал хорошо.

И тут же быстро рассказал следующий анекдот:

— Офицеры приходят к генералу. Отдают честь. «Товарищ генерал, ваше задание выполнено». — «А я ведь вам ничего не приказывал». — «Так мы ничего и не делали».

— Ну почему? Почему не я это сочинил? — вдруг возопил Битов в напускном, а возможно, что и в подлинном отчаянии.

И я, кажется, только сейчас начинаю понимать смысл этого отчаяния. Которое заключается в том, что Битов пишет и знает, **что именно** он пишет.

Тогда как в прозе упомянутых выше *других классиков* элемент незнания того, что они делают, превалирует над выверенностью замысла, сюжета, фабулы, словосочетания, сути содеянного и его места на карте литературы — отечественной и мировой.

Я, впрочем, на этом своем утверждении не настаиваю, потому что кто я такой, чтобы Битову определения давать? Без меня таких определяльщиков в его биографии было предостаточно. Начиная с того «советского», который пустил в обиход на заре его писательской юности малокачественную фразу «За Битова двух небитовых дают», и заканчивая тем окололитературным шустряком, который в прошлом году среди прочего оскорбительного вранья публично сообщил, что Битов деградировал, что его уже много лет никто не видел трезвым.

Битов — великий человек, который к своим восьмидесяти годам сделал всё, что положено мужчине (дерево, дом, сын).

Который стоял у истоков Русского ПЕН-центра и первым забил тревогу, когда правозащитная ПИСАТЕЛЬСКАЯ организация стала, вопреки постулатам Джона Голсуорси, превращаться в митинговое политическое сообщество.

Битов написал столько книжек, что тот, кто читает их от корки до корки,

имеет весомый шанс поумнеть, избыв юдоль печали и воспарив над взбаламученным, мусорным морем мира сего.

Битов поставил памятник «Чижику-пыжику» в Санкт-Петербурге и «Зайцу» — в селе Михайловском.

Битов в шестнадцать лет получил значок «Альпинист СССР».

Битов свободно говорит по-английски.

Битов является вице-президентом Международного ПЕН-клуба и почетным президентом Русского ПЕН-центра.

Битов — кавалер всяких орденов и лауреат множества премий.

Битов — почетный доктор Ереванского государственного университета и почетный гражданин города Еревана.

Первые воспоминания детства у него связаны с блокадной зимой 1941/42 года.

И если меня спросят, имея в виду Андрея Георгиевича Битова:

— Что у тебя общего с ним? — то я не стану поминать альманах «МетрОполь», годы испытаний и потерь, встречи и разговоры в Москве, Питере, Берлине, Лондоне, Софии, общие дела — как мы, например, с помощью школьной линейки делили с неизвестным мужиком на троих во время сухого «горбачевского» закона бутылку 0.75 водки в магазине «Рыба», что существовал до новых времен на улице Краснопрудной, около «Трех вокзалов», где он, коренной ленинградец, живет уже столько лет, что у него на подоконнике выросло дерево.

А ответу, как скромный персонаж замечательной пьесы Людмилы Петрушевской «Чинзано», повествующей о выпивающих людях Империи:

— Общего у меня то, что я люблю его.

А уж любит ли он меня — не суть важно.

P.S. Для придания убедительности моим словам присоединяю к тексту свидетельство БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ.

Отступление о Битове *Отрывок из цикла «Глубокий обморок»*

Когда о Битове...

(в строку вступает флейта)

я помышляю... (контрабас) — когда...

Здесь пауза: оставлена для Фета
отверстого рояля нагота...

Когда мне Битов, стало быть, всё время...

(возбредил Бриттен, чей возбранен ритм
строке, взят до-диез неверно,
но прав) — когда мне Битов говорит

о Пушкине... (не надобно органа,
он Битову обмолвиться не даст
тем словом, чья опека и охрана
надёжней, чем Жуковский и Данзас) —

Сам Пушкин... (полюбовная беседа
двух скрипок) весел, в узкий круг вошел.

Над первой скрипкой реет

прядь Башмета,

удел второй пусть предрешит Башмет.

Когда со мной... (двоится ран избыток:
вонзилась в слух и в пол виолончель) —
когда со мной застолье делит Битов,
весь Пушкин — наш, и более ничей.

Нет, Битов, нет, достанет всем ревнивцам
щедрот, добытых алчностью ума.
Стенает альт. Неожется ресницам.
Лик бледен, как (вновь пауза) луна.

Младой и дерзкий опушу эпитет.
Сверг вьюгу звуков

гений «динь-динь-динь».

Согласье слёз и вымысла опишет
(всё стихло) Битов. Только он один.

Андрей Битов



Уроки Армении

Путешествие в небольшую страну

Прямая речь

Ае — по-армянски «да». Чэ — по-армянски «нет». Не знаю почему, но всюду — на улицах, в магазинах, в автобусах — я чаще слышу «чэ», чем «ае». Чэ, чэ, чэ. Обычный автобусный диалог представлялся мне так: один все спрашивает, наседает, а другой отвечает «чэ, чэ», а потом, наоборот, другой все спрашивает, а первый отвечает свое «чэ». Я так сам понял, что «чэ» по-армянски «да», и спросил друга: а как по-армянски «нет»? А он мне и говорит: «Чэ». — «Как "чэ"?» — воскликнул я. — А как же тогда «да»? — «Ае». Вот как я ошибся. Думал, теперь разберусь... Но так я ни разу и не услышал «ае», а все «чэ».

Брат моего друга — журналист. Он меня очень любит, потому что я очень люблю его брата. Это в Армении естественно. Как-то мы шли с ним по улице, и он мучительно, страшно молчал. И смотрел на меня таким просящим взглядом, что я поневоле говорил без передышки и за себя и за него. Дело в том, что в Армении, наверно, нет другого такого человека, кому бы русский язык доставлял бы столько же истинного, даже физического страдания. Со мной он разговаривал в основном глазами. Когда ему следовало составить фразу по-русски, глаза его немели от напряжения и того давления, которое, по-видимому, развивалось в этот момент в его мозгу. Потом во взгляде его появлялась короткость и кротость, как у жвачных животных, и он не произносил задуманную фразу. Дело, по-видимому, было даже не в том, что он мало знал русских слов, а в том, что ни одного слова по-русски он не мог подумать.

И вот мы шли по улице, и вдруг из моей речи он понял, что я приехал не просто в гости к его брату, а в командировку от газеты. (Это я обмолвился, учитывая, что он журналист.) Лицо его затуманилось, и вдруг его прорвало. Передавать речь его в точности я не берусь — никто не поверит...

— И ты будешь про нас писать? — сказал он.

После этого он стал разговаривать со мной так: увидит — арбузы везут...

— Это армянский арбуза, — говорит.

Увидит ослика...

— Это армянская ишак, — говорит.

— Это армянский очень толстый женщина. А это армянский пиво. Пиво хочешь? Арбуз хочешь? Это обыкновенный армянский такси. Поедем, хочешь?

Я сначала улыбался, потом надумал обидеться. Но сдержался. Потом мне было уже проще: я знал, что это будет армянский забор, а это армянский столб, а это обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надоело? Я уже не обижался, а думал: почему он так?

Наконец он устал.

— Только не пиши, пожалуйста, — сказал он, — что Армения — солнечная, гостеприимная страна.

Помолчал и добавил:

— Я вот сколько живу тут и пишу, а все не написал, какая она.

— Знаешь, — сказал я искренне, — это же и меня мучит. Я даже думаю, что ничего писать не буду. Что я увижу за две недели? Что пойму? Серьезно не напишешь, а несерьезно об Армении я уже писать не могу... И потом, если рассудить, разве бы я сам, для собственной радости, не согласился бы сюда приехать? За свои деньги? Значит, верну деньги за командировку и скажу «спасибо». Тем более что я же не работаю в газете и от нее не завишу.

— Ну зачем же возвращать?! — возмутился брат друга. — Почему же это ты не напишешь?.. Поживи еще. Напишешь... — сказал он, и этой его интонации я уже совсем не понял: «напишешь» — это хорошо или плохо?

И вот кончилось мое путешествие, вот я дома, вот я мучился, мучился, гуляя вокруг стола, и вот все-таки сел за машинку.

И что же я вывел в первой фразе?

«Армения — солнечная, гостеприимная страна».

И что же я вдруг услышал?

— Чэ, чэ, чэ! Чэ, Андрей, чэ!

— Да, но это же так! — Я покраснел.

— Чэ, Андрей, чэ!

Я поднатужился:

«Армения — горячая, многострадальная земля».

— Чэ.

— Ну какая же она, твоя Армения?! — взвился я.

— Знал бы, сам написал.

— Ну скажи хоть лучше, чем я! Смотри, я сказал: горячая... Разве сразу найдешь такое слово? Именно горячая. Тут все горячо: небо, земля, воздух, солнце, люди, история, кровь, та, что в людях, и та, что из людей...

— Чэ, Андрей.

— Ну скажи лучше, попробуй!

— Попробую... Армения — моя родина.

— Ты прав. Но не моя же! Я не могу так написать!

— Зачем же пишешь?

— Но я же очерк пишу! Не стихи, не рассказы. О-черк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки неармянина. О-черк, понимаешь?

— А очерк по-армянски знаешь как?

— Нет...

— Акнарк. А «акнарк» по-русски знаешь что?

— ? ? ?

— Намек.

Урок истории

Лео

Мне достаточно трудно представить себе кого-нибудь из высокопросвещенных своих знакомых (дедушки нет в живых...), прогуливаясь с которым я бы слышал следующее:

- Вот здесь нашли тело Распутина.
- А вот здесь останавливался Наполеон.

Или:

— Вот видишь горку, за ней роща, вот оттуда, когда мы уже отступали, выскочил Денис Давыдов и своими ошеломительными действиями вдохновил наше уставшее войско...

В Армении подобные вещи знает, кажется, каждый.

Такое впечатление, что в Армении нет начала истории — она была всегда. И за свое вечное существование она освятила каждый камень и каждый шаг. Наверно, нет такой деревни, которая не была бы во время оно столицей древнего государства, нет холма, около которого не разыгралась бы решительная битва, нет камня, не политого кровью, и нет человека, которому бы это было безразлично.

— Андрей, посмотри, во-он та гора, видишь? А рядом другая... Вот между ними Андраник встретил турок и остановил их, и они повернули обратно...

— Вот видишь трубу? А рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ. Построена несколько лет назад. Раньше тут жили молokane.

— А вот тут Пушкин встретил арбу с Грибоедом...

И так без конца. Это мне говорили шоферы и писатели, повара и партийные работники, взрослые и дети.

И не было дома, где бы я не видел одну толстую синюю книгу с тремя красивыми уверенными буквами на обложке — ЛЕО. Я видел ее и в тех домах, где, в общем, книг не держат, — тот или другой из трех синих томов ЛЕО.

Лео — историк, написавший трехтомную историю Армении. И очень популярный. Как наш Карамзин или Соловьёв.

Я спрашиваю русских:

- Вы читали Карамзина?
- Ну а вот недавно переиздали Соловьёва, читали?

Вряд ли я найду том Соловьёва у шофера или прораба строительных работ. У писателей-то в лучшем случае у одного из десяти.

Я, например, не читал.

А Лео читают и читают. Всюду Лео. Читают так же добросовестно, как он писал. А он писал и писал и ничего другого в жизни не знал, с утра до вечера он писал, каждый день и всю свою жизнь. К старости он ослеп. Но он хотел написать свой шедевр, последний. Он просил у дочери перо, бумагу и чернил.

И, слепой, писал с утра до вечера.

И написал.

И умер.

Только дочка, оказывается, ставила слепому чернильницу без чернил, чтобы он не пачкал.

А он и не заметил.

Такая легенда.

Господи, что он написал?!

Книга

Мой друг — армянин, а я русский. Нам есть о чем поговорить.

— О, — сказал друг, — если ты раз проявил любовь, тебе придется отвечать за это!

— Как это?

— Тебе придется ее проявить еще раз.

— А если я разлюбил?

— То ты предал.

— Почему же?

— А зачем же ты любил до этого?

О чем это мы говорим? А говорим мы вот о чем...

— Если я армянин, — говорит он, — то я армянин и никто другой. Есть ли у меня основание любить какую-нибудь нацию так же, как свою? Нету... Но тогда есть ли у меня право предпочитать какую-либо нацию другой? Никогда. Нельзя быть армянофилом, если ты не армянин, так же, как нельзя быть армянофобом. Вот ты стал армянофилом, а это нехорошо.

— Почему это я стал армянофилом?

— А так. Вот ты написал уже раз обо мне, как об армянине, и похвалил, написал только хорошее. Просто так написал. Потом ты напишешь еще раз, об этой поездке. Тоже, конечно, не скажешь об армянах плохо, скажешь еще раз хорошо. А потом, в третий раз, ты уже обязан будешь любить нас и стоять на этом, чтобы не быть предателем. Ты уже армянофил.

— М-да, — сказал я, — это мне не нравится.

— И мне это не нравится, — сказал друг, — именно поэтому я дал себе слово: никогда ни о какой другой нации не сказать ничего. Ни дурного, ни хорошего.

Но мне уже поздно следовать этому принципу, мне уже не отказаться от многих слов, чтобы не предать.

И мне придется сейчас признаться, как я попался, как стал армянофилом. И говорить о том, о чем я сейчас скажу, я не имею права так же, как, начав, не говорить об этом. Это мое заявление станет скоро понятным...

...Армянофилом можно стать, совершенно не заметив, когда и как это случилось. Например, открыв одну академическую книгу в любом месте и прочитав из нее любую страницу...¹

«В некоторых из деревень жители перебиты, а другие — только разграблены. Также значительное число людей вместе со священниками силой обращено в магометанство; церкви превращены к мечети.

Большинство деревень Хизана разграблено и подвергнуто избиению. Изнасилованы девицы и женщины, и множество семейств обращено силой в магометанство. Церкви ограблены, святыни осквернены, настоятели монастырей Сурб-Хача и Камагиеля умерли в ужасных пытках, а монастыри ограблены.

Город Стерд подвергся избиению; лавки и дома разграб...»

...Это был первый день моего пребывания в Армении. Я сидел у сестры жены друга и ждал друга. Я уже трижды отведал всех яств и прислушивался: после самолета у меня все еще были заложены уши. Но глаза мои были открыты. Я вышел на балкон.

Непривычная картина, которую я тут же посчитал экзотической, открылась мне. Я видел перекресток, и по нему, изгибаясь толстой змеей, медленно продвигалась похоронная процессия. У себя дома (на родине) я давно отвык от торжественных похорон: тихо, не омрачая моего зрения, увозили от меня незнакомых мне соседей, и я не всегда даже знал, что они умерли, так же как не знал, что они — жили.

¹ Геноцид армян в Османской империи: Сборник документов и материалов. Изд-во Акад. наук Армянской ССР, 1966.

Впереди, как бы раздвигая улицу и очищая ее от суеты (и улица пустела), с невыносимой плавностью и медленностью плыл некий «кадиллак», в нем стоял страстный человек с красной повязкой на рукаве и дирижировал. Далее в расчищенном уже пространстве шел грузовик: алая, кумачовая платформа, в центре — открытый гроб, а по углам, преклонив колена, — четверо черных мужчин, противоестественно выпрямившись и затвердев (кажется, с венками в руках), торжественно глядели вперед, как бы даже не моргая... И далее следовало такое количество «Волг», что я сбился со счета.

Сила впечатления была не от смерти, не от скорби, не от торжественности — оно проникало с какого-то другого, потайного хода. Это солнце, эти черные раскаленные костюмы, это необъяснимое опустение, эта тяжкая медленность — казалось, мир загустел вокруг, а воздух и прозрачность его становились материальными и предметными. В этом стекленеющем, густеющем, раскаленном, но уже остывающем мире тяжело было само движение вереницы машин, созданных для скорости. Они шли беззвучно, пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем, как снег.

Подавленный, я вернулся в свое кресло, поднял оставленную корешком вверх академическую книгу, перевернул страницу назад, чтобы понять, о чем была речь...

«IX. Битлисский вилайет. Город Битлис перебит и разграблен вместе с окрестными деревнями и уездами, которые суть: 1) Хултик, 2) Мучгони, 3) Гелнок, 4) ... 99) Уснус, 100) Харзет, 101) Агцор, 102) ...»

Что же это? Листаю вспять...

«Верховному патриарху нашему Мкртичу,
святейшему католикосу всех армян

Ваше святейшество, блаженный Хайрик, со слезами на глазах и прискорбным сердцем...»

Кто это написал? Листаю, ищу подпись...

«...вот наша судьба и участь; просим, умоляем со слезами, сжальтесь над оставшейся в живых горстью народа, и если возможно, то не откажите бросить горсть воды на огонь, сожигающий его.

Вартапет Акопян».

Я бросился в конец книги и снова раскрыл в «любом месте»...

«Линия поведения, предписываемая на этот счет книгой цензуры, опубликованной в начале 1917 года отделом цензуры при службе военной прессы, была изложена в следующих словах:

"О зверствах над армянами можно сказать следующее: эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Турцией, но и необходимо, чтобы в данный тяжелый момент мы воздержались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность хранить молчание. Позднее, если за граница прямо обвинит Германию в соучастии, придется обсуждать этот вопрос, но с величайшей осторожностью и сдержанностью, все время заявляя, что турки были опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молчание в армянском вопросе".

Откуда это? Переворачиваю страницу... «Иозеф Маркварт о плане истребления западных армян». Кто это — Маркварт?

Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие же пышные и длинные, как первые, пересекали перекресток...

Тут мне изменяет прием, хотя именно так и было: мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу... Но сейчас я уже не верю в эту последовательность и не выдерживаю ее.

Все это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И написав, что ее можно раскрыть в любом месте, я оставил пустую

страницу. Повесть была окончена, а в начале рукописи, приблизительно вот здесь, все белела пропущенная страница: достать книгу оказалось так же трудно, как Библию.

Я пишу эти строки в Ленинградской публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести, но если следовать хронологии написания самой повести — это безусловно последняя глава.

Так вот, я сижу в библиотеке и наконец снова держу и руках эту книгу. В ней пятьсот страниц, у меня два часа времени, и я понимаю, что выбрать из нее наиболее характерные, яркие и впечатляющие места мне не удастся. И тут же понимаю, что это было бы и неверно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посередине...

«Из 18 тысяч армян, высланных из Харберда и Себастии, до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 тысяч, высланных из Арзрума, — всего 11 человек... Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге, рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух».

Это из путевых заметок немца, очевидца событий в Киликии.

Переворачиваю на сто страниц назад.

«Мадам Доти-Вили пишет:

“Турки сразу не убивают мужчин, и пока эти последние плавают в крови, их жены подвергаются насилию у них же на глазах”... Потому что им недостаточно убивать. Они калечат, они мучают. “Мы слышим, — пишет сестра Мария-София, — душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам”.

Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали ее; многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам.

Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски и распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает еще о другого вида поступках:

“Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака”.

Пытки бывают то грубые, то искусно утонченные. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить свое удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого.

Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребенка, которого те недавно несли на руках».

Я раскрывал эту книгу в четырех местах. И я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова, и почти озираюсь, чтобы никто не видел. Тут сидит около ста человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырех местах, как открылось. Я могу поклясться любой

клятвой, что это не прием, что это действительно так. В этой книге осталось еще пятьсот страниц, мною не прочитанных.

У меня кончились черные чернила, когда я раскрыл ее в четвертый раз, и я вынужден писать красным грифелем. И тут нет ни подтасковки, ни символа — это случай, но страницы мои красны.

Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то невозможно, — то это есть. Если мы только подумаем — то это уже есть.

Все есть в этом мире, и для всего есть место.

Все помещается.

Я больше не буду открывать эту книгу, я не стану ее читать. Мне кажется, что тогда в Армении, в мой первый день, я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое привел сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны... И они уже не казались мне экзотическими: другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней...

И теперь, постановив больше не заглядывать в эту книгу, я могу, отдыхая и понемногу успокаиваясь, перед тем как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление:

«1. Избиение армян при султানে Абдул-Гамиде (1876—1908).

2. Массовая резня армян младотурками (1909—1918)».

Вот и все оглавление. Как прекрасно прилегает 1908-й к 1909-му! Как последняя страница первого тома к первой странице второго... Двухтомник. Ранние произведения — первый том. Посмертно опубликованные — второй.

А потом и предисловие...

«Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдул-Гаида погибло около трехсот тысяч, в период правления младотурок — полтора миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении и вообще по всей Турецкой империи проживало более трех миллионов армян, то в 1918 году — всего 200 тысяч»².

А мой друг говорит не «резня», а «резня». И я никак не могу отделаться от этого ударения на первом слоге. Будто «резня» — это так, режут друг друга... а «резня» — это когда тебя режут. И вкус собственной плоти во рту...

Голос крови

Не оттого ли так силен голос крови?

Не та ли, пролитая, откликается?..

Едут старые и малые, миллионеры и по грошу накопившие на путешествие, знаменитые и совершенно безвестные армяне-американцы, армяне-французы, армяне-австралийцы... Звезды «Метрополитен-опера» и Азнавур, Вильям Сароян и знаменитый польский кинорежиссер, в жилах которого, оказывается, течет половина армянской крови... Их маршрут Ереван — Москва, а не Москва — Ереван. «В Ереване случаются концерты, которым позавидует Москва!» — трогательное тщеславие ереванцев...

Толпы армян-туристов, зачастую ни разу не видевших родину или видевших в далеком и страшном (геноцид!) детстве, забывших или вовсе никогда не знавших родной язык (даже родившиеся за границей от эмигрантов-родителей, могут быть уже

¹ После геноцида половина армян оказалась в эмиграции. Но армяне не признают слова «эмиграция». Это слово для них оскорбительно. Одно дело, когда ты покидаешь страну из политических убеждений или в поисках лучшей жизни, а другое — когда спасаешь жену и детей от насилия и кривого ножа.

очень немолодые люди!..), — все они едут в Советскую Армению приобщиться к духовным истокам нации, посмотреть, как живет их родина ныне.

Теперь у них есть эта возможность.

Едут и старики, бежавшие в свое время от геноцида, взглянуть еще хоть раз — можно и помирать.

А то и возвращаются навсегда, целыми семьями — из Сирии, из Ливана... Их быстро научаешься отличать в уличной толпе: они темней, южней, почему-то толще, идут, словно дорогу вспоминают...

...Многое может забыть человек, но никогда, оставаясь человеком, не забудет он себя вплоть до родины. И в этом — залог.

В этом же и та последняя помощь полузабытой родины: ты еще сам не забыт, раз меня помнишь... Ты еще мой сын. Мать не отступается и от блудного сына, тем более — от изгнанника.

Отношения с родиной такие же, как с мамой: быть может, и слабеет связь с тех пор, как она уже не кормит тебя... но — до последнего часа! Тут она придет закрыть тебе глаза. И это уже совсем невозможно вынести, что не придет.

Смысл того, что родина — мать, в том и заключается, что родина в конечном счете, в счете конца, любит своих сыновей сильнее, как и всякая мама.

Мы можем и не подозревать в себе этой любви... Во всяком случае, ее не следует выкликать и насильственно вызывать ее образ — она никуда не денется, и ты никуда не денешься: как помнишь ты имя матери, и в этом лишь один смысл, что только одна женщина могла родить тебя, так и у земли, где ты родился, где родились твои предки, лишь одно имя, и это не в том смысле, что земля твоя лучше всех, а в том, что такая точка могла быть только одна, обыкновенная, ничем не примечательная точка, как и мать твоя — обыкновенная женщина, одна из тысяч, но одна, но именно эта. И от них произошел ты, и только так возможно осмыслить свою единственность на земле...

...И стоит посреди ереванской улицы толстый и старый армянин-сириец, растерянный и оглушенный, щурится на родное солнце и все узнает, узнает... и словно узнать не может.

Простор

Простор — категория национальная. Необходимое условие осуществления нации. Когда я смотрю на карту, на нашу алую простыню, я ощущаю пространство, огромное, но еще не ощущаю простора. И если где-то в углу зажато пятнышко: болотцем — Эстония, корытцем — Армения, то какой же можно заподозрить там простор? Кажется, встань в центр, крутанись на пятке и очертишь взором все пределы. Да и как жить на подобном пятачке? Пожмешь плечами, имея столь немислимые заплечные пространства.

И какое же удивление овладевает тобой, когда едешь по крошечной, с нашей точки зрения, стране и час и другой, а ей все конца и краю нет.

Оказывается, есть горизонт, кругозор, и он ставит всему предел. Он и есть мир бесконечный. Есть то, что человек может охватить одним взглядом и вздохнуть глубоко, — это простор и родина. А то, что за его пределами, — не очень-то и существует.

Два полярных впечатления владеют мной.

В России что-нибудь да заслонит взор. елка, забор, столб — во что-нибудь да упрется взгляд. Даже в какой-то мере справедливым или защитным кажется: тяжело сознавать такое немислимое пространство, если иметь к тому же бескрайние просторы.

Я ехал однажды по Западно-Сибирской низменности. Проснулся, взглянул в окно — редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колена в болоте и жует, плоско двигая челюстью. Заснул, проснулся — редколесье, болото, корова жует по

колени. Проснулся на вторые сутки — болото, корова. И это был уже не простор — кошмар.

И другое — арка Чаренца в Армении.

Отрог подступил к дороге, подвинул ее плечом вправо, дорога подалась в сторону, легко уступая, но тут и справа появилось кряжистое плечо и подтолкнуло дорогу влево, дорога стиснулась, сжалась, застряла, увязла в отрогах — горизонт исчез. И вдруг вырвалась, вздохнула — справа раздался внезапный свет, будто провалилась гора, на миг что-то проголубело, просквозило вдаль, и маленькая горка досадно снова все заслонила. Впрочем, она бы еще не все заслонила, что-то еще могло синеть за ней краешком, если бы не странное сооружение на вершине, скрывшее остаток вида. Оно выглядело довольно неуклюже и неуместно. «Сейчас мы это проскочим», — успел подумать я, почему-то рассердившись на это препятствие взгляду. Но мы круто свернули с шоссе и со скрежетом въехали на горку. Арка на вершине приближалась и наконец заслонила собой все. Мы вышли.

Я недоуменно взглянул на друзей: зачем стали? Чем замечательно это слоноватое строение?

— Арка Чаренца, — сказали мне и молча пропустили вперед.

Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ждали, какого-то проявления. Ровным счетом ничего замечательного при всем желании не обидеть друзей я в этой арке не обнаружил. Меня подтолкнули в спину, даже как-то жестко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошел под арку и охнул.

Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то поднялось во мне и не опустилось. Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось.

Это был первый чертеж творения. Линий было немного — линия, линия, еще линия. Штрихов уже не было. Линия проводилась уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена. Все остальное, кажется мне, бог творил то ли усталой, то ли изощренной, то ли пресыщенной рукой. Кудрявая природа России — господне барокко.

«Это — мир», — мог бы сказать я, если бы мог.

Пыльно-зеленые волны тверди уходили вниз из-под ног моих и вызывали головокружение. Это не было головокружение страха, боязни высоты, это было головокружение полета. В этих спадающих валах была поступь великая и величественная. Они спадали и голубели вдаль, таяли в дымке простора, и там, далеко, уже синие, так же совершенно восходили, обозначая край земли и начало неба. Какое-то темное поднятие было справа, какое-то сизое пропадание слева, и я вдруг почувствовал, что стою с приподнятым правым плечом, как бы повторяя наклон плеча невидимых весов, одна чаша которых была подо мною. «Это музыка сфер», — мог бы вспомнить я, если бы мог. Передо мной был неведомый эффект пространства, полной потери масштаба, непонятной близости и малости — и бесконечности. И моего собственного размера не существовало. Я мог, казалось, трогать рукой и гладить эти близкие маленькие холмы и мог стоять и поворачивать эту чашу в своих руках и чувствовать, как естественно и возможно вылепить этот мир в один день на гончарном круге. («Что такое мастер? — сказал мне однажды друг. — Творение должно быть выше его рук. Он возьмет в руки глину — и она выпорхнет из рук его...»)

...И вдруг эта близость пропадала и мир подо мной становился столь бесконечен, глубок и необъятен, что я исчезал над ним и во мне рождалось ощущение полета, парения над его бескрайними просторами. «Горний ангелов полет...»

— Видишь Масис! Масис видишь? — Я вздрогнул. Что тут можно было увидеть еще? Друг протягивал руку к краю земли. — Вон, видишь? Чуть темнеет? Вот слева маленькая вершинка, она лучше видна... А справа уже большая. — Друзья наперебой чертили в воздухе контур. — Видишь? Он то пропадает, то опять виден.

Я напрягался и то ли видел, то ли не видел. Я ведь не знал, что именно мне надо увидеть.

— Вижу, вижу! — восторженно подтверждал я, тоже обводя рукой нечто невидимое. (Достаточно ли восторга на моем скифском лице?) И действительно, вдруг показалось, что некая линия в голубом небе чуть потемнела, обозначилась, поднимаясь вверх. — Большую вижу! — (Или от напряжения потемнело в глазах?)

— Правда, видишь?

Я все еще не видел Арарата.

— Ну, пора, — сказали мне.

Смущаясь, прошел я назад под арку. Мои друзья шли легко.

— Ах, если бы мы захватили с собой вино!

— То что же?

— То мы бы выпили тут, господи!

Я оглянулся в последний раз: «Вот тот мир, где жили мы с тобою...»

Как естественно, что Ной приплыл именно сюда! Нет, он не сел на скалу Арарата, он причалил. Он не знал другой земли и приплыл на ту же землю. Другие пейзажи просто исчезали за кормой, он не видел их, они не отражались на его сетчатке. Переселенец, ставит новый сруб в том месте, в котором способен узнать родину.

Страна не мала для человека, если он хоть раз почувствует ее простор. «Здесь я увидел мир», — говорят о родине.

Гора

Я должен был, как мне объяснили в Москве бывалые люди, увидеть Арарат прямо на аэродроме. Просто первое, что я должен был увидеть.

Но его там не было.

И в Ереване я тоже должен был видеть его, но не видел.

Дымка закрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубела и сгушалась до мутноватой синевы, и казалось, что там, за городом, — море.

Мне полагалось видеть его из окна своего пристанища в ереванских Черёмушках — дом стоял над городом, и ничего не заслоняло взор. Из окна должен был быть отличный вид на Арарат, но его не было.

Мне полагалось видеть его с кругозора арки Чаренца, и я то ли видел, то ли так и не видел его.

И так до последнего дня.

Я улетал первым рейсом и поднялся с рассветом.

И тогда я увидел его.

И большую вершину, и маленькую.

Это оказалось очень неожиданно. Он не был так уж ограничен для того места, где так внезапно вырос на прощание. Он казался пришельцем.

Он оказался не таким лучезарным, как на этикетках или фресках московского ресторана «Арарат».

...Довольно мрачная, насуспенная гора, словно недовольная открывшимся ей видом. Молчаливая гора — именно такое впечатление обета молчания она на меня произвела. Может, это естественно для потухшего вулкана.

И потом — гора смотрела. Я на нее, она на меня, и я чувствовал себя неловко.

Это, наверно, случайное, однократное мое впечатление, но мне было непонятно, как она сюда попала.

Словно горе этой пришлось возникнуть и вырасти поневоле, чтобы подставить плечо ковчегу³.

³ Такое же чувство неожиданности вызывает, как правило, армянский храм. Он одинок и внезапен, как Арарат, ничего подобного которому нет в поле зрения. Храм почти так же не подсказан. И если говорить о «невписанности» армянских храмов в ландшафт, то она, как и Арарат, имеет вулканическую природу.

Кавказский пленник Тезис

Я задаю себе вопрос: откуда берутся идеалы?

Воспитание? Среда? Семья, школа, коллектив, общество? Безусловно — но тут-то и обнаруживается, что это не все. Не все объясняет. Кое-что остается неясным. Но как саднит, как болит, как терзает это кое-что!

Страсть. Ревность. Любовь. Вот уж когда мы не принимаем жизнь такой, как она есть; вот уж когда у нас недостает ума примерить трезвый опыт; вот когда страдание возникнет ниоткуда, непочему, а объективность его будет столь очевидна, как принадлежность нам нашего тела... Где же мы видели эту идеальную любовь? Когда узнали?..

Искусство? Книги? Да, конечно, оттуда к нам подвигается идеал, который мы ищем потом в своей жизни и не находим. Тут, мысленно, начинаю я перелистывать книги юности и вдруг, нынешним-то, протрезевшим и охладевшим, взором обнаруживаю, что в книгах тех ничего-то как раз о том и не писалось, что я в них когда-то вычитывал, как мечту. Эти книги были написаны такими же протрезевшими в свое время людьми, как я — в свое. Это юность моя читала в них то, что хотела, что было записано в ней самой...

Можно расти сиротой, семья, среда могут оказаться трагически не подходящими идеальному развитию детства и юности, и однако именно в этом случае вполне возможно зарождение мечты о счастье и идеалов прекрасного, ничем не подтвержденных в раннем и нежном опыте. Что же, идеалы эти возникают из одной лишь полярности, для равновесия, по законам диалектики?

Со школьной скамьи мы знаем, что уродливая среда и общество с редким постоянством рождали светлых людей, которые, исчислив неким, опущенным в учебнике, способом свои идеалы, с непонятной наивностью и упорством не шли дальше, а возвращались с этим светом в ту же темень, из которой вышли, чтобы светить людям, которым это было не нужно, которые шурились, раздражались и самыми примитивными способами сводили просветителя на нет.

Тут тоже, на мой взгляд, все не вяжется одно с другим.

Как возникает идеал, если он в тебе не воспитан и если опыт жизни тоже не может привести нас к его лицемерию? Идеалы ведь не существуют в жизни. Потому они и идеалы.

Может, они врожденны? И тогда воспитание, среда, жизнь и опыт — лишь благоприятные или неблагоприятные условия для их выявления?

Природа идеала исключительно неясна материалисту...

Так постепенно я понимал, что материализации идеала быть не может. Это даже слишком просто. Потому что все, что может материализоваться, уже не идеал. В материальном мире идеал не существует.

Торжествуют же идеи — не идеалы.

Тогда где же он? Что заставляет меня и мучиться, и крутиться действительно как на сковороде? Почему я не принимаю жизнь такой, как она есть, той, что происходит со мною, — ведь более глубокого примера и опыта, чем свой собственный, у меня нет и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать? Если я не видел и не знаю другую жизнь в той мере, как свою, в чем же дело? С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я свою жизнь, чтобы постоянно твердить — не то, не так! — и обличать самого себя перед самим собой — никто же не видит! — так безумно?

Приходится признать существование в нас, и нигде больше, идеального мира, населенного идеальным человеком, мира, доставшегося нам с рождения (потому что родиться физически мы могли где угодно) и лишь с разной степенью полноты и силы

выявившегося в каждом из нас, чтобы нам было с чем сличать и сравнивать свою жизнь, и мучиться, и страдать несопадением, недостижением, запредельностью его. Что за мучение такое — быть человеком? Что такое — болит совесть, мучает стыд, гложет тоска?

Откуда?

И где взял я, как родился во мне образ некоей горной страны, страны реальных идеалов? Между тем страна эта всегда была рядом, где бы я ни был; просто страна, где все было тем, что оно есть: камень — камнем, дерево — деревом, вода — водой, свет — светом, зверь — зверем, а человек — человеком. Где труд был трудом и отдых — отдыхом, голод — голодом и жажда — жаждой, мужчина — мужчиной и женщина — женщиной. Где всем камням, травам и тварям соответствовали именно их назначение и суть, где бы всем понятиям вернулся их исконный смысл... Страна была рядом, и только меня в ней не было... При каких обстоятельствах покинул я эту страну? Как давно это случилось? Не помню. Как я жил дальше? Не знаю. Я просыпался и смотрел не в окно, а на часы — утро, вечер ли? — я завтракал без аппетита, потому что, чтобы жить, надо есть. А может, жить, чтобы есть? Я выходил на улицу — путник вышел из пункта А в пункт Б: надо же куда-нибудь идти и что-нибудь делать! Вечером я брал человека за руку — я? брал? человека? за руку? — я смотрел ему в глаза... Господи! Кто это? Кого я беру за руку?

Мне пора было вернуться.

...Страна с одним городом, озером и горою, населенная моим другом! Я глотал пересохшие в горле слова и не мог описать тебя. Камень был камнем, свет — светом... Я нашел слово «подлинный» и остановился на этом. Я беседовал с мужчиной, который был мужчиной, и беседовал, как мужчина. Мы ели с ним еду, которая была едой, и пили вино, которое было вином. Тогда, в благодарности и все еще в суете, мне непременно, необходимо было нашарить слово, чтобы накинуть, надеть, натянуть его на свою радость, я сказал: «Вот страна понятий...»

И не есть ли мой судорожный поиск непременно одного слова, определения по отношению к этой стране и к этой радости косвенное доказательство того, что так оно и есть, что существует такое слово для этой страны, раз уж его так не хватает моей суете?

Гехард Врата

«Где он был?» — спрашивали про меня моего друга. Он перечислял. «Надо ехать в Гехард», — выслушав его перечисление, твердо и всегда говорили все. Единодушие это было утомительно, как сговор. Что Гехард? Где Гехард? Пожимали плечами. Никто не пробовал объяснить. Увидишь.

Гехард для меня был лишь имя, настойчивый, даже назойливый звук. В этом, как потом оказалось, уже был своего рода залог.

...Армянский простор, помавав, как бабочка, крыльями, потрепетав, вдруг сложил их, как бабочка. Бронзовый лев, необыкновенно похожий на кошку, повернул к нам голову и приподнял лапу, обозначив, что мы приехали. (Несколько позже, увидев такого же льва на древней стене, я понял, откуда взялся гений в профессиональном современном скульпторе.)

Лев стоял на красиво-высоком столбе в горле ущелья. Мы въезжали в это горло как бы все стремительней по мере его сужения, ускоряясь и ввинчиваясь, как вода в воронке. И сложив крылья, вдруг с тихой легкостью очутились в ущелье.

И тут же кончилась сытость. Ясный голод и озноб зрения... Само это место было как храм. Оно было выстроено посреди простора, из простора. Как храм, оно имело

вход (у врат стоял лев), и лишь за воротами открывалось помещение, как вздох и смущенная тишина речи.

Зрение здесь звучало.

Из простых щек теснины, где увязал ветер, как дыхание музыканта в мундштуке трубы, вырываясь завитками раструба на простор, рождался зримый звук, необыкновенной широты и круглости одновременно. Мы оказывались в царстве, из которого нет возврата, хотя этой невозможности вернуться еще и не сознавали, и потому страшно еще не было.

Пока мы дышали восторгом — и нами дышал восторг. Восторг пока еще легкомысленный, без часа расплаты — туристский...

Слева, как хор, поднимались скалы. Низкого, тенистого, плотного звучания внизу, они росли вверх, светлея и утончаясь, несколькими ступенями: вступали все новые, все более высокие голоса, и наверху выветренные стрелы были уже как хор мальчиков; вправо и вниз, сворачиваясь спиралью, как раковина оркестра, лежало дно котловины: с духовым серебром ручья, зеленью, кудрявой, как флейта, спокойными и уверенными лбами ударных — валунов и глыб, — земная понятность придуманных инструментов, исчезающих в тайне человеческого голоса, как деталь в машине, как черта в лице, как лемех в земле — орудия труда и предмет того же труда. Все это пропадало в хоре скал. С берега ручья вился дымок, вокруг копошились точки исполнителей: паломники жарили шашлык, и необыкновенно красное платье среди них казалось первым листком осени.

Перед нами стояла церковь, стройная, цельная, конечно тысячелетняя, и была она как подсобное помещение в этом естественном храме и уже не вызывала трепета. Ее крепенькие стены со светлыми прямоугольниками современной штотки на стенах, ее свежесиние крыша и шпиль еще подчеркивали это впечатление служб при храме. Церковь же не была в этом ощущении повинна, поскольку во всех отношениях была шедевром, и никто, кроме окружающей природы, у нее этого титула не мог отнять.

Но за ней подымался новый хор скал, и церковь, приткнувшись к подножию этого отвесного звука, была лишь одним из исполнителей дивной музыки, одним из многих и забытых виртуозов прошлого. Ибо что такое исполнитель перед музыкой? Служитель, не творец же...

Небо было крышей этого храма. Еще недавно, пред воротами, оно бледно голубело, вяло накрывая простор, а тут, очерченное хором скал, приобрело необыкновенную, глубокую и близкую, синеву.

— Господи! — воскликнули мы, глядя на эту застывшую в верхней, высшей точке музыку, и за спиной, как крылья, были ощутимы вскинутые руки ее дирижера и творца — вечное, единственное, первое исполнение. — Господи! — воскликнули мы, утратив суетный стыд перед банальностью и утратив банальность вместе с этим стыдом. — Выбрали же место!

Восхождение

Да, это был природой уготованный храм, и так понятно, что он стал цитаделью и обителью раннего, гонимого христианства (армяне приняли христианство задолго до нас, в IV веке). Это место, столь неожиданное в Армении, столь ни на что в ней не похожее, которого просто и быть не может (но раз оно есть, то уже и не может не быть), было сначала создано специально для этой цели, потом ждало, безлюдное, своего часа, а потом было угадано первыми верующими...

Но место это, как оказалось, еще не было Гехардом. То есть, конечно, оно носило это название, но это был Гехард без ударения на этом слове, это был просто Гехард. Тысячелетняя же церковь при этой местности тем более не могла быть тем Гехардом.

...Мы взбираемся вверх к древним пещерам-храмам, на первую ступень скалы,

нижнюю нотную линейку. Входим. Время проваливается. Тесные, мелкие пещеры с закопченными неровными стенами напоминают забой. Даже следы шпуров обнаружил я, бывший горный инженер. Грубые ниши для образов, мелкие чаши для жертвоприношений, узкий желоб для стока крови, древняя, немажущаяся копоть кровли — и свежетыщарипанные имена, символы новой туристской эры, и современные цветные лоскутки (молитвы об излечении ближних), и современный воск растаявших свечей — сталактиты этих пещер. Какая скромность и величие веры в этих нищих каменных углах¹. Храм был создан самой природой, а пещеры — его алтари. Никакого нарушения природной гармонии, никаких вмешательств и модернизации естественного храма. Скажешь слово — низким голосом откликнется скала, словно просыпается застывший в скале музыкальный строй. Тут была только молитва, и праздно сюда не придешь...

Вылезает на свет, застенчиво щурясь. Рассматриваем, гладим выбитые на поверхности скал кресты. Кудрявый армянский крест! Как постепенно и прекрасно приобретал он свои канонические черты. Ни один не повторяет линий другого. Меняются пропорции, мягкость и округлость исчезают, тают, кресты становятся прямей и строже. Но первый крест — это цветок с восемью лепестками. Лепестки сближаются попарно — крест с расщепленными концами. И то ли крест произошел из цветка, то ли художник уподоблял символ природе и жизни, раздвигая концы, раздвигая их и приближая очертаниями к цветку, — неизвестно, и спросить не у кого.

Спускаемся, проходим позднейшие, такие внешние врата высокой церковной ограды и направляемся к этой крепенькой и ладной церкви с куполом цинковым, как ведро. Я рассматриваю ее равнодушно и праздно и в упор не вижу. Сейчас, думаю, мы попадем внутрь...

Но нет, мы снова начинаем карабкаться вверх, вдоль стены вросшей в скалу церкви.

— Пройдем сначала так, — мягко и настойчиво говорят мне.

— Что там?

— Сейчас увидишь. <...>

Вершина

Это и был Гехард... Я стоял в центре, задрал голову. Там, высоко надо мной, был небольшой голубой круг — оттуда и проникал сюда свет. Там было небо. «ОН начал оттуда... через это отверстие ОН и выдолбил весь храм...» — детским шепотом сказал мне друг. И хотя я стоял глубоко внизу, до сих пор внутренним взором я вижу этот храм сверху вниз, как видел, по-видимому, ОН, стоя там, на скале, наверху, когда храма еще под ногами его не было...

От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода, и, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял, — и тогда уже купол покоился, опираясь, на четырех колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялось на четыре стороны от каждой четверти круга четырьмя округлыми лепестками полое тело храма;

¹ Эти пещеры — ключ к истории нации. Армян резали как «неверных», но на самом деле их уничтожали именно за верность — земле, языку, Христу. Они теряли жизнь, но не теряли родины. Если бы, следуя естественному инстинкту самосохранения, они уступили веру, возможно, было бы пролито меньше крови, но нация бы растворилась и исчезла. Для армян слово «Гехард» — не только название святого места, но и некое образное понятие. Гехард — оплот веры. Словом «Гехард» можно объяснить многое.

там уже, в далеких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основание, — там уже я стоял, на плане. На плане угадывался все тот же армянский крест-цветок...

Там уже я стоял, на дне... В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз неба. Все это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны — такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел.

ОН... выдолбил... во-он через то отверстие, сверху вниз... весь этот храм... Кто ОН? Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек, верующий, как бог. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры — вот что Гехард.

Никакого крепления в храме не было.

Храм уже был в этой скале, надо было только выдохнуть оттуда камень... Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только выцарапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчета, потому что там был именно этот храм, эти формы и эти очертания. ОН верил и видел единственное, вот и все. Он мог бы и не молиться, и не ходить в церковь, и не знать слова божьего — в нем был бог. У него не было чертежа, ОН имел в своем мозгу столь честные и чистые своды, что перенес их сюда и ошибки быть не могло. Его мозг стал подобен будущему храму, храм же был подобие бога.

Это сейчас я нанизываю косноязычную логику слов — у меня нет другого выхода. Тогда же у меня не было слов, и не могло быть, и не должно было быть — меня не было. И я стал подобен ЕМУ, та же немота, то же отсутствие себя, та же вера жила теперь во мне, потому что я был заключен в его честный и чистый мозг, в его веру, в его цельную и единственную мысль, где никакая другая уже существовать не могла. Это было ЕГО бессмертие.

Но долго наша несовершенная душа этого не могла вынести. Мы переглянулись наконец. И тогда мои друзья, вспомнив, что мне надо показать, как гостю, все, таинственно разошлись в стороны, оставив меня в центре, и остановились каждый у одной из колонн. И запели. Это была старинная армянская мелодия, медленная и скорбная. Эхо многократно повторило их голоса, и вся скала отозвалась, как колокол. Мы и были внутри каменного колокола, как ботало. И многоголосие это было столь же органичным и гармоничным, как и линии храма, да и не могло быть другим. И линия и звук были подчинены здесь одному закону... Разве наше разветвленное знание не есть потеря знания единственного, единого закона? Когда нет этого закона, тогда уже, конечно, — архитектура, чертежи, правила, расчеты, физика, акустика, машины — муравьиное совершенствование обломков единого и цельного, нами утраченного...

Песня была прекрасна, но после пения мы уже могли вынести усталые от прямой нагрузки души на божий свет.

...Просто скала, ничем не нарушенная, обыкновенная. То же, такое внешнее, светское тело церкви... Но когда я поднял глаза вверх и увидел те прекрасные скалы, что уходили так строго ввысь и там остывали стрелами в синем небе замолкшим на верхней ноте хором, — то же великое подобие еще более поразило меня. Оно было теперь обратным. Теперь эти скалы были подобны храму, из которого я вышел. Этот храм был более первозданным, чем природа, и теперь природа уподоблялась ему. Все это дивное место и небо были подобны творению, только что виденному, да и были творением.

Тут все, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех

сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чем же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чем-то как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо...

Богослужение в этом храме не прекращалось никогда, свечу можно ставить на любой камень.

Побег

Мы поднялись еще выше, и, уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул я в то голубое отверстие, откуда ОН начал... Это была черная немая дыра. «Вот почему, — сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру, — вот почему я так редко бываю тут... Если бы не ты, то и не был бы... Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?..» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, все более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга» (ее не было, когда мы поднимались), водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так, что черная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем вблизи, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик — нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа ее перед собой в шепоти пальцев. Кисть его была так же одухотворена, как и лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу: так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости простым величием, — веки его были чуть опущены, но лоб, чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как веко. Ох, мы были не правы. Не было книги, не было свечи! Ничего уже не было.

То же красное платье мелькнуло внизу у ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх, — сказал шофер, — была бы у нас бутылка, мы бы могли сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку...»

Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула! Никто не обернулся. Когдаходишь — все открывается тебе, но когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва.

А уж тут, а уж тут нас ждали одни радости. Все легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду, мы останавливались, ели шашлык и пили водку и наконец к закату достигли Гарни. Гарни — это единственный в Союзе языческий храм. Развалины его. Гарни — это прекрасно.

Но тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у смотрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохотывали, ржали, улюлюкали, гикали... Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной... Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами все глубже темнело.

И наконец мы ехали назад, в город Ереван, оставив все позади и не заметив перехода, веселенькие, шумные, такие счастливые! Уже ночь спустилась, шофер лихо заламывал руль на повороте, бабочки прядали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни, и я чуть ли не подпевал им, такой умиленный, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана.

Мы расстались, пожав друг другу руки.

Все очень просто: небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась, — всего лишь еще один день прожит, до свидания, до завтра.

«Я боюсь пустой жизни»

Белгородские школьники о детстве и взрослении

Эти эссе о взрослении — попытка оглянуться на пять лет назад, когда главная мечта была — стать взрослым, за спиной стояли всегда готовые подстраховать папа и мама, учителям верилось безоговорочно, рядом были друзья, а впереди — только счастье. Сегодня им, 15—16-летним, уже не всё так ясно. В их рассуждениях — теория и практика, «как надо» и «по правде».

Мы благодарим учителей русского языка и литературы Надежду Михайловну АВДОСЁНОК (средняя общеобразовательная школа № 17), Наталью Ивановну НЕМЫКИНУ, Галину Анатольевну ДАНЬКОВУ, Наталью Анатольевну ТЮМЕЙКО и Наталью Вячеславовну КОТЕНКО (гимназия № 3).

Анна Розанова, 9б, гимназия № 3

Недавно, пересматривая свои детские фотографии, я задумалась о том, как быстро летит время. Вроде бы пару лет назад я шла в 4-й класс, а сейчас уже в 9-й... Как много изменилось. Мне вдруг стало интересно, о чем я думала в свои 10 лет? Намного ли отличалась от нынешних детей и как я поменялась за долгие годы. Перерыв все детские книжки, пылившиеся в кладовке, я нашла свой личный дневник. Скажу честно, вела я его не ежедневно, а записывала только самые яркие события и на последних страницах написала план жизни, вкратце, до 18 лет. Он выглядел так:

12—13 лет — сделать пирсинг, перекрасить волосы.

14 лет — купить кота с большими глазками (порода спору).

15—16 лет — найти хорошего друга/парня.

Да, не слишком подробно, но это были основные ориентиры для личной жизни. В 10—11 лет я хотела показать себя по максимуму, а это значит — вступить в какую-нибудь субкультуру и обрести знакомых со схожими интересами. Хотя в то время у меня были подруги и общения было предостаточно. Еще в 2011 году я открыла для себя трилогию «Часодеи» Натальи Щербы. Автор явно умеет заинтересовать ребенка. Меня от книги было не оторвать. Я читала везде: дома, на природе, в гостях, в машине. Этот волшебный мир манил меня все сильнее и сильнее. Тематика книг — это часы. Суть в том, что каждый предмет хранит воспоминания, то есть взяв старую вещь, можно увидеть всех ее владельцев, все то, что с ней происходило, но только обладая особым даром. А зеркала — это коридор в другое измерение. Сюжет описывается очень живо и насыщенно, в нем присутствует множество ярких красок, это и не дает

Наше сотрудничество с учителями и учениками школ г.Белгорода длится уже более двух десятков лет. Последняя публикация — «Моя мама любит читать А.Пушкина и книги про овощи». Белгородские школьники рассказывают о том, что читают их мамы («ДН», 2015, № 6).

заскучать. Мне очень нравилась одна фраза: «Тому, кто знает секрет времени, легко управлять чужой судьбой». Я ходила и постоянно повторяла ее друзьям и знакомым, но никто не понимал, зачем я это говорю.

А в свободное от чтения время я выходила на улицу. Ох, это были очень долгие прогулки с восьми утра до девяти вечера, конечно, в летнее время. Я звала свою подружку, и мы с самого раннего утра играли в разные игры. Главной игрушкой был попрыгунчик, иногда мячик. Мы играли в «Съедобное-несъедобное», а если с нами гуляли еще дети, то и в «вышибалы», и «горячую картошку». С девочками любили очень играть в «резиночку» и прыгать на скакалке. И если на какой-нибудь площадке не было солнца, то мы бежали напрямик туда. Я очень любила горки и каталась только на них, снова и снова, а когда надоедало, бежала занимать качели. Все развлечения были в основном под песни Максим и Нюши. Когда лето кончалось и наступал учебный год, я старалась учиться на отлично, но это не всегда получалось. Все домашние работы делала исправно и самостоятельно, правда, иногда ко мне на помощь приходила тетя и объясняла то, что было непонятно. В школе на переменах мальчики обычно играли в машинки, а мы, девочки, обменивались наклейками. И это символ моего детства, как когда-то наши родители коллекционировали календарики и значки. На наклейки уходила куча денег, я часто просила у мамы рублей сто на пару пачек новых стикеров. Мой альбом был полностью оклеен. В то время, конечно, особой популярностью пользовались Winx, а наклейки с ними — это было что-то бесценное, особенно голографические. Придя домой после занятий, я первым делом бежала смотреть мультики, забывая даже поесть, ведь пропустить один выпуск — это была великая трагедия! По телевизору показывали все тех же Winx (Винкс), а также ScoobyDoo (Скуби-Ду), W.I.T.C.H. (Чародейки) и Смешарики. На самом деле, Смешарики по сей день мой любимый мультфильм. Вечером, когда мама приходила домой, я ей помогала готовить и мы вместе смотрели фильмы, если, конечно, я сделала все домашнее задание. И спать приходилось укладываться в 21:30, потому что на учебу я просыпалась в 07:00.

Так время шло и наступала зима. Как я любила и люблю зиму! В выходные на прогулку я брала все, что можно было использовать на улице в снегу: маленькие лыжи, санки, ледянку и обязательно запасные варежки, потому что домой я приходила не скоро. Чтобы не гулять одной, я звала или подругу, или друга из моего подъезда. Возле дома есть небольшой спуск, вот туда мы и бежали. Обычно его заливали водой, и образовывалась высокая горка, поэтому детей там было очень много, и нередко я встречала своих одноклассниц, и мы большой компанией катались, играли в снежки, лепили снеговиков и валялись в снегу. Домой я приходила только тогда, когда сил на игры не оставалось вовсе. Ближе к Новому году, в свободное время, я вырезала снежинки и всячески украшала дом. Новый год — это был особый праздник. В новогоднюю ночь я старалась не уснуть, чтоб увидеть, как приходит Дед Мороз и кладет мне подарок под елку, но у меня никак не получалось, ведь засыпала я очень быстро. На следующие дни после праздника приходили знакомые, и с ними я играла в лото, а если играть никто не хотел, то я просто слушала разговоры и доедала салаттики. После зимы наступила весна и мой день рождения. Если честно, я не помню, как он проходил, но точно знаю: он был веселый. Это все, что удалось мне вспомнить, но я попыталась все описать подробно.

Мне кажется, что если бы мне сейчас было десять лет, я бы вела себя точно так же. Многие говорят, что дети сейчас не гуляют, не общаются, а только сидят в соцсетях, но это не совсем так. Как я заметила, примерно до 12—13 лет вся детвора гуляет на улице и так же играет, как раньше. Хотя, конечно, дети взрослеют намного раньше и интересы начинают меняться очень рано, но я все же надеюсь, что даже через 20 лет дети останутся детьми, и у них будет настоящее, счастливое детство.

Даниил Завадский, 9в, гимназия №3

Взросление — процесс, происходящий на протяжении всей жизни, который меняет человека духовно и физически. Что же меняется, когда человек взрослеет? Как изменилось восприятие окружающего мною, нынешним, и тем, кем я был 5 лет назад?

Друзья. Аспект немаловажный в жизни любого человека независимо от возраста. Хорошие друзья способны дать то, что порой родитель или учитель дать не могут. В 10 лет особо не заморачиваешься по поводу выбора друга: с кем весело и интересно, с тем и дружишь. Теперь же интересы становятся более узконаправленные, и проявляются ранее не заметные качества. Поэтому становишься более внимательным к выбору друзей. Но вот что примечательно: теперь это могут быть люди, с которыми вовсе не весело и с которыми не ощущаешь себя комфортно, — так, дружба по какой-то причине или желанию...

Родители. Являются наиважнейшими учителями в жизни. Их влияние — положительное или отрицательное — оказывает на нас влияние. Они, как поводыри (некрасивое сравнение!), ведут нас, пока мы слепы и не видим всего. Они всегда готовы помочь словом и действием. Лет пять назад я особо не прислушивался к их словам — во мне жил какой-то дух бунтаря. Сейчас по-другому: прислушиваюсь к их мнению, ведь они мудры и желают уберечь от собственных ошибок, хотят помочь стать лучше, чем они сами...

Учителя. Говорить о них не просто, это люди, дающие нам знания. Раньше они были «виноваты» во всем: и в ошибках в тетради, и в жизненных неудачах. Теперь, если что-то не складывается в учебе, стараешься через обещания (не всегда выполнимые), а иногда и уговорами исправить положение (хотя понимаешь, что главное — старание). Причины — нежелание быть хуже остальных...

В целом, я теперь яснее понимаю, что любой этап в жизни — это опыт, который плохим быть не может. Разве что неприятным.

Алина Лобанова, 9б, гимназия №3

Какая я сейчас и какой была 5 лет назад?

В 10 лет я понимала маму и папу, слушалась, помогала им, сейчас же постоянно с ними ссорюсь, они мне почти не доверяют, часто ругают меня без повода. Не улучшилось и общение с друзьями. Во-первых, с того времени я почти ни с кем не общаюсь, так как друзья изменились в характере, а он мне не очень нравится. Во-вторых, знакомиться с людьми стало сложнее в реальной жизни, так как все сейчас общаются в виртуальном мире, поэтому количество спутников жизни значительно уменьшилось. Ну а в-третьих, сейчас другие интересы и подростки более грубые, чем дети: если в 10 лет мы могли играть и в шутку обзывать, то сейчас за это меня могут побить. С учителями тоже было гораздо проще общаться, почему — я объяснить, наверное, не смогу. Не было недопонимания, в 10 лет я всех учителей любила и уважала, сейчас же лишь единиц, но подмечу один факт: раньше учителя были лучше по отношению к ученикам.

За эти 5 лет моя жизнь перестала играть яркими красками, я больше задумываюсь о будущем, о том, как я буду жить и кем работать, какая у меня будет семья, будут ли у меня друзья ...

Анастасия Батракова, 9б, гимназия №3

Детство... О чем же думает человек, когда слышит или произносит это слово? Для меня детство — это когда варежки на резинке. Детство — это когда радуешься каждой конфетке, которую тебе подарили. Детство — это сказки перед сном. Детство — это когда «Дочки-матери». Детство — это когда свой возраст можно показать на пальчиках. Детство — это когда лепишь куличики в песочнице. Детство — это катание на карусели.

В то время, когда мне было десять лет, я училась в четвертом классе. Помню,

как тогда я перешла в новую школу, в которой учусь сейчас. Было первое сентября, мой первый день, знакомство с новыми ребятами и учителями. Очень уж сильно я переживала тогда, потому что прежние мои одноклассники иногда меня обижали и у меня было очень мало друзей. Но несмотря на мой страх и боязнь оказаться в такой же ситуации, новые ребята со мной подружились. Да и у меня появилось много друзей. С учителями я общалась хорошо, тем не менее у нас были разногласия по поводу оценок и домашнего задания. За каждую четверку наша классная руководительница очень сильно ругала. Домой я иногда приходила со слезами (из-за полученных четверок), но там всегда меня ждали и встречали любящие родители, которые меня всегда подбадривали. Хоть мы и ссорились часто, я всегда знала, что они меня любят так же сильно, как и я их. Бывали, правда, моменты, когда мне казалось, что мама совсем ничего не понимает, потому что она взрослая и из другого поколения, но со временем это проходит.

Сейчас я уже понимаю, что мама и папа абсолютно такие же люди, как и я, что у них были такие же проблемы в школе, что раньше мама меня не отпускала далеко от дома, потому что очень сильно за меня переживала и переживает сейчас. В школе стали давать больше материала, намного тяжелее теперь все выучить, даже просто запомнить (особенно физику и химию). Кстати, со временем у меня стало меньше друзей. Действительно настоящих друзей, которые горой встанут за меня, очень мало. Зато они настоящие. Теперь я почти не общаюсь со своими одноклассниками, темы для разговоров у нас в основном только об учебе. Что касается моих уроков и учителей, разногласия у нас все так же есть. Ну а как же без них? Всем же хочется получить хорошую отметку, не так ли?

В общем, раньше было все по-другому. Когда-то я очень хотела повзрослеть, пойти в институт, а потом на работу, хотела стать депутатом. Ну а что сейчас? Сейчас мне очень хочется вернуться в то время, когда можно было беззаботно просить у родителей конфетки, притворяться заболевшей, чтобы не идти в школу, даже просто скатиться с горки во дворе. Очень не хочется думать о предстоящих экзаменах и поступлении в институт. Знаете, детство — это лучшее время и его нужно ценить, проживать каждую минуту этой драгоценной жизни. Детство — это счастье!

Дарья Никитина, 9б, гимназия №3

Все мы взрослеем и все мы меняемся. Пять лет назад я не могла представить, что так сильно изменюсь.

Изменилось все, начиная с общения и заканчивая поведением. В десять лет я считала, что нужно иметь одного-единственного и лучшего друга, с которым я буду всю жизнь. Сейчас я думаю, что нельзя общаться с одним человеком постоянно, общение надоедает, люди меняются, ты в них разочаровываешься. Лучше иметь много знакомых и общаться с ними, не привязываясь.

Мое общение с родителями также поменялось. Раньше я могла рассказать родителям абсолютно все, делиться всеми секретами, много времени проводила с ними. Сейчас многое я держу в тайне от них, но могу рассказать об этом друзьям, забывая о том, что лучшим другом всегда мне была и будет мама. Все свободное время стараюсь проводить с друзьями. Теперь с родителями мне неинтересно. Что касается моего поведения, то раньше я была очень доверчивая, всегда старалась помочь другим. Со временем эти качества во мне не так сильно проявляются.

Но все-таки есть и положительные стороны моего изменения. Я стала старше, и теперь моя мама может многое мне поручить и доверить. За эти пять лет я обрела двух сестер, благодаря этому я стала намного самостоятельнее.

Все мы взрослеем и все мы меняемся. Не всегда в лучшую сторону, но изменения со временем неизбежны, так или иначе эти преобразования помогут нам в будущем.

Александра Кожевникова, 9а, школа №17

Может показаться странным, но я знаю, когда был сделан первый шаг к взрослой жизни. Мне было тогда одиннадцать. Да... мне кажется, что-то я рановато выросла. Но поняла я это намного позже.

Все началось с обычного фильма и необычной книги: «Хоббит». Посмотрев фильм, захотелось прочесть книгу, а после книги я начала все больше и больше читать. Признаюсь, я не любила читать, и уроки литературы были для меня мукой. И поэтому интересные детские книжки прошли мимо меня, я сразу окунулась в мир взрослых книг. Но на этом мои шаги к взрослой жизни не закончились.

У меня проблемы с рождения. А точнее, с рождения у меня инвалидность. В детстве я просто не замечала этого, потом комплексовала, но взрослея, стала понимать, что в этом нет ничего особенного... Я превратила недостаток в особенность. Выступала на конференциях, участвовала в конкурсах с исследовательскими работами. И побеждала!

И если бы у меня был выбор — оставаться «инвалидом» или нет — я оставила бы все как есть, потому что я познакомилась со многими людьми благодаря этому, нашла друзей и смотрю на мир другими глазами, понимающими жизнь, в которой есть боль, но и радость и красота мира.

Жизнь продолжается. Я не одинока — со мной близкие: семья, друзья, но с одноклассниками я так и не сдружилась, поэтому мне в школе немного одиноко. Я, наверное, раньше их начала взрослеть. Мне пришлось много преодолевать трудностей, а у них было почти все как на ладони.

Я о многом жалею: о поступках, словах и т.д. И еще о многом пожалею. Но я хочу «шагать» дальше к взрослой жизни, не забывая о счастливом детстве! Может, я так и не сдружусь с одноклассниками. Может, не увижу старых друзей, с которыми давно не виделась, хотя очень хотелось бы. Но что бы ни произошло, я буду идти дальше и дальше, благодаря мир за жизнь!

Елена Голикова, 9а класс, школа №17

Любой человек начинает свою жизнь с младенческого возраста. Со временем каждый ребенок переходит в стадию взросления. С чего же она начинается? У каждого по-разному. Кто-то считает себя взрослым, когда у него появляются усы и мускулы, для кого-то взросление — это максимум свободного времени и возможность заняться чем хочешь, а кто-то начинает себя чувствовать взрослым в 18 лет. Кто-то осознает законы, правила жизни сам, а кому-то нужен толчок извне.

Для начала нужно определить, что же это за «стадия взросления». Взросление само по себе — это переход из детского состояния во взрослое, связанный с определенными изменениями в личности человека. А стадия взросления — это своеобразный промежуток времени, который каждый определяет сам, точнее сказать, начинает осознавать, что на нем теперь лежит ответственность за свои поступки и решения.

Повлиять на этот процесс может что угодно: книги, школа, семья, друзья и даже просто незнакомые люди. От их действий, их влияния может измениться время начала взросления. Например, парни, вернувшиеся из армии, становятся взрослее, серьезнее, ответственнее.

А еще я считаю, что чем человек самостоятельнее, чем большего он может добиться сам, тем он взрослее. Умение самостоятельно ставить перед собой цели и решать их без подсказки и помощи окружающих указывает на степень самостоятельности человека, а значит, и на степень его взрослости.

Проблема взросления касается каждого из нас, потому что мы стоим на пороге взрослой жизни. Наша задача — стать самостоятельными людьми, умеющими не только принимать решения, но и думать об их последствиях; делать осознанный выбор

и отвечать за свои поступки; думать не только о сегодняшнем дне, но и задумываться о своем будущем.

Артём Меннибаев, 9б, гимназия №3

Каким я был в 10 лет и какой я сейчас... Если сравнивать, то характер моего общения с окружающими изменился мало. Правда, раньше со взрослыми я был более разговорчив, всегда говорил то, что думал. Но прошло время, и я научился сдержанности.

Что касается друзей, то здесь все по-прежнему. Здесь я как был балагуром, так и остался. Мне нравится шутить, поднимать кому-то настроение. Все конфликты стараюсь решать словами, а не доводить до драк.

А вот родители... Общение с ними претерпело изменения. Если раньше я слушал их очень внимательно и старался следовать их советам, то теперь могу и поспорить с ними, в нечастых спорах стараюсь отстоять свою точку зрения. Но в то же время к просьбам родителей я отношусь теперь более серьезно и ответственно, выполняя обещанное. Получается, что за эти годы я, пусть незначительно, но изменился.

Анастасия Болгова, 9б, гимназия №3

О! Вы слышите? Вы слышите этот беззаботный детский смех десятилетней Насти? Она еще даже не догадывается, что ее ждет впереди, с какими сложностями она столкнется в дальнейшем, какую сторону этого, на первый взгляд, доброго и светлого мира она узнает. Конечно, не вижу повода ей об этом думать. Настя живет сегодняшним днем и радуется тому, что ее жизнь прекрасна.

Если сравнить себя десятилетнюю и нынешнюю, то можно сказать, что я очень изменилась. Вернее, изменилось отношение ко всему и ко всем. Если раньше мама для меня была мамой, а я для нее просто дочкой, то сейчас мы с ней самые близкие и лучшие друзья.

Кстати о друзьях. С ними я всегда чувствовала себя в «своей тарелке». Не было лицемерия, лжи, фальши. Все было как-то искренне, от души.

С учителями проблем никогда не было, да и сейчас тоже. Но кое-что все-таки изменилось. Я стала более открытой, начала высказывать свое мнение, не боясь того, что кто-то его посчитает глупым или не согласится со мной. Я могу свободно говорить с учителями на разные темы, проявлять инициативу в участии в чем-то, а не ждать, пока преподаватель сам предложит.

Почему все изменилось? Да мы просто повзрослели, стали больше разбираться в мире, в людях, в себе.

...По щекам текут слезы. Не знаю почему. То ли от осознания того, что детства не вернешь, то ли соринка в глаз попала.

Виталий Выродов, 9в, гимназия №3

Время всегда в движении, и остановить этот процесс нельзя. Вот и люди с возрастом меняются. Не обошли эти изменения и меня...

Мне 10 лет... Хотел бы я вернуться в тот мир, где не было подростковых проблем, в мир, где царили определенные запахи (например, тонкий аромат маминых духов или разящий от отца запах сигарет), но не было ничего половинчатого. Тот мир счастья и безделья для меня по-прежнему привлекателен.

Теперь жизнь потеряла яркие краски, из нее ушли приятные запахи и определенность. Все кругом серое, повсюду — безысходность. Друзья... Теперь сложно назвать человека другом только потому, что он угостил тебя шоколадкой: приходится присматриваться к ровесникам, доверять лишь немногим. Учителя, школа... «Второй дом» так и не стал первым, учителя лишь отрабатывают положенное, и до нас, несносных подростков, большинству из них нет никакого дела. Не верю, что кому-то в школе интересна моя жизнь. Так что остаются только родители, которые, несмотря

ни на что, принимая во внимание все мои выходки, все мои выпады, стараются понять меня и любят таким, какой я есть. Пусть хотя бы это остается неизменным...

Юлия Егорова, 9а, гимназия №3

Взросление — это переход от опоры на окружающих к опоре на себя. Мы абсолютно меняемся при взрослении: характер, вкусы, внешность, душа и мировоззрение. Это я заметила по собственному опыту. Хотя я еще и не совсем взрослая, но стадию детства прошла, а значит, повзрослела на одну ступень.

Характер стал менее покладистым. Теперь я стараюсь доказывать свою точку зрения, делать так, как я считаю нужным, хотя это не всегда и правильно. Одна из особенностей взросления: я стараюсь сама предугадывать последствия своих действий, стараюсь сама решить проблемы.

Несомненно, меняются вкусы. Начинают нравиться другая музыка, другие книги, другой стиль одежды. Хочется быть похожей на взрослых, разбираться в их интересах.

Конечно, меняется внешность. Черты лица, фигуры, походка — все становится другим, взрослым.

Душа изменяется тоже. Иногда полностью, иногда частично. Повзрослев, мы сталкиваемся с проблемами предательства, неразделенной любви и непонимания. Все это делает нашу душу менее открытой, чем в детстве. Мы боимся быть непонятыми, поэтому редко разрешаем людям заглядывать в наш внутренний мир.

Мировоззрение определенно становится другим. Оказывается, что мир намного жестче и суровее, чем я думала в детстве. Большое внимание уделяется деньгам, ведь без них никуда. В детстве нас не заботят проблемы взрослых, мы думаем, что все в порядке, что между людьми царят любовь, взаимопонимание и уважение. Вырастая, начинаем задумываться, почему взрослые так серьезны. Повзрослев, понимаешь, что нужно надеяться на свои силы, самому всего добиваться, делать успехи для себя, чтобы обеспечить счастливое и хорошее будущее.

С взрослением приходят новые обязанности, новые нагрузки, но для взрослых открывается больше возможностей, больше новых горизонтов. Быть взрослым здорово, ведь можно ездить куда захочется, в том числе и в другие страны. Снимаются запреты, которые были в детстве. Взрослея, мы многому учимся, что облегчает нам жизнь. Вообще, каждый человек уникален. У каждого есть возможность сделать жизнь такой, какую он хочет, хоть и придется постараться. Быть взрослым — не значит быть серьезным, занятым человеком. Не нужно загонять себя в рамки. Ты выбираешь, как прожить жизнь и каким человеком стать!

Марина Усачёва, 9а, гимназия №3

Завтра принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня.

Цицерон

Мир человека — это целая Вселенная. И каждый из нас в этом мире проходит определенные этапы жизни: детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость. Тем и замечательна жизнь человека, что каждый период интересен по-своему.

Я сейчас переживаю переход от отрочества к юности, то есть взрослою. Для меня период взросления — это переход от детского мировоззрения к взрослому, готовность и способность отвечать за свои поступки и выполнять возложенные на меня обязанности. В период взросления происходит смена ценностей, человек начинает принимать решения, которые не только влияют на его жизнь, но и имеют значение для других людей.

Многие из нас слышали фразу: «Все мы родом из детства». Поэтому очень важно,

кто рядом с нами в этот ответственный период. Ведь не секрет, что на развитие личности оказывают огромное влияние люди, которые ее окружают. Хороший и мудрый совет взрослого, личный пример родителей, добрые и верные друзья становятся учителями в жизни человека.

Но я думаю, что огромную роль в становлении мировоззрения человека играет литература. На мой взгляд, писательский талант не только способен познакомить с художественными образами, но и заставляет размышлять и думать, учит сопереживать героям и вдохновляет на ответственные решения.

Мне могут возразить, что литература XIX—XX века во многом устарела, юные герои отличаются от сегодняшней молодежи, в наш век информационных технологий не интересно читать описания действий, которые в XXI веке совершаются в течение нескольких минут. Такое мнение имеет право на существование. Но мне хотелось обратить внимание, что какими бы материальными благами ни окружал себя человек, как ни комфортна становилась его жизнь, он ищет ответ на вопросы, которые волновали героев произведений много лет назад. Все переживают первую любовь, сталкиваются в своей жизни с неудачами и радуются достижениям, идут к своей цели методом проб и ошибок. И насколько становится легче бороться с трудностями, когда ты вооружен знаниями из книг, можешь почерпнуть силу, вспомнив нелегкий путь героя книги, принять важное решение, опираясь на мудрые слова из литературного произведения.

Я только начинаю знакомиться с творчеством великого русского писателя Ф.М.Достоевского, но, прочитав главу «Мальчики» из произведения «Братья Карамазовы», понимаю, что по праву автора считают тонким психологом, знатоком человеческой души, религиозным философом. Отношения между подростками, трагедия в семье Снегирёвых, влияние Алёши Карамазова на мальчиков как раз и раскрывает тему взросления.

Неоднозначен образ Коли Красоткина. Коля спасает Илюшу от издевательств одноклассников, поэтому Илюша начинает смотреть на Колю с обожанием, во всем ему подражает, старается быть всегда ему полезным. Коля привязался к Илюше тоже, но ему очень хотелось не только влиять на людей, но и господствовать над ними. Поэтому дружба получилась мучительная, так как Коля позволял себе унижать друга, играя на его привязанности. Коля то приближал к себе Илюшу, то отталкивал. Илюша очень переживал и однажды, по подлому совету Смердякова, накормил голодную собаку хлебом с булавкой. Когда человек мучается, у него появляется желание мучить других. Но поступок не помог сближению с Колей. Мальчик смертельно заболевает.

Ф.М.Достоевский показывает, какое огромное значение в подростковом периоде играет взрослый человек. Главный герой, а многие исследователи считают, что и самый любимый персонаж писателя, Алёша Карамазов, своим личным примером и честными и откровенными беседами меняет характеры мальчиков к лучшему. Перед встречей с Алёшей Коля Красоткин самолюбив и самодоволен, любит заниматься самолюбованием, больше всего на свете ценит власть. Но после смерти Илюши мы видим другого Колю. Перед нами добрый юноша, который склонен к самоанализу, готов совершать великодушные поступки.

У Илюши короткий жизненный путь. Одинокий и озлобленный Илюша перед смертью становится совсем другим. Мальчик переполнен любовью к окружающим и тихой радостью, а в ответ получает прощение и дружбу товарищей.

Алёша Карамазов сохранил в себе много «детскости», по характеру добр и готов прийти на помощь другим. Он показывает ребятам путь к добру, миру, милосердию и праведности, помогает пережить горе и утрату, открывает мальчикам тайну радости любви друг к другу.

Все эти чувства ребята открыли в себе, пережив «взрослое горе», поэтому моим

современникам лучше открыть в себе чувства любви и сострадания, читая произведение, а не столкнувшись с трагедией в жизни.

На одном дыхании прочитала повесть В.Железникова «Чучело». Автору удалось очень точно описать чувства и поведение подростков. Наблюдая за группами детей, присматриваясь к поведению ребят, можно во многих коллективах найти отдельных прототипов персонажей.

Это произведение мы читали и обсуждали всем классом. Мои одноклассники пришли к выводу, что часто подростки бывают бесчувственны и жестоки по отношению к более незащищенным сверстникам, утверждают аморальными методами, путем оскорбления человека, который не имеет возможность дать отпор таким действиям. Лена Бессольцева испытала самый настоящий социальный гнет. Повесть была написана в начале 80-х годов прошлого века, но проблемы, которые затрагивает автор, актуальны и в наши дни.

Автор обращает внимание и на поведение взрослых, которые никак не реагировали, а в отдельных ситуациях и поддерживали жестокие поступки детей. Часто в коллективах поддерживают ярких и сильных личностей, однако на то, чтобы рассмотреть такую личность в Бессольцевой, не хватило у преподавателей жизненной мудрости.

В конце повести к ребятам приходит осознание того, что их поступки были чудовищны, но подружиться с девочкой уже не получится, так как Лена, пережив огромную душевную травму, уезжает с бабушкой из города.

Я думаю, что такие произведения очень многому учат подростков. Ведь из разговоров со своими сверстниками я знаю, что каждый человек хочет, чтобы к нему были снисходительны, относились с уважением, симпатией и добротой. Но часто мы не готовы идти на компромисс и бываем очень жестоки. Поэтому учиться делать добрые дела так же важно, как и овладевать знаниями.

Мне повезло, потому что меня окружают хорошие и добрые люди, которые готовы помочь советом и делом. Но я для себя сделала вывод, что процесс взросления — это постоянный труд. Каждый день готовит вызов, поэтому необходимо осваивать новые навыки, преодолевать страх, стараться принимать самостоятельные решения. И этот труд стоит того. Приятно осознавать, что с твоим мнением начинают считаться, что ты можешь дать дельный совет, что тебе могут доверить ответственное дело.

Я считаю, что делая самостоятельные и ответственные шаги сейчас, проявляя независимость в суждениях, в настоящей взрослой жизни я смогу осознанно строить свою судьбу и мой жизненный путь не будет зависеть от воли других людей.

Герман Чубов, 10б, гимназия №3

Взросление — чертовски трудная штука.

Гораздо легче перейти из одного детства в другое.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Мне было 11. В том году я пошел в новую школу. В классе было лишь несколько знакомых мне человек. Этот год был особенно трудным для меня. В начальной школе я был отличником, поэтому надо было доказать, что ты действительно что-то значишь. Но это не составило особого труда для меня. Я даже успевал ходить в ансамбль танца и в художественную школу. Мама говорила, что школа — это моя работа, которую нельзя прогуливать. Тогда я еще не осознавал, что учеба в гимназии повлияет на мою жизнь как ничто другое.

Но вот я уже задуваю свечи на праздничном торте с цифрой «14» и через пару дней иду получать свой первый паспорт. Уроки уже не кажутся таким беззаботным

занятием. И вот моя первая четверка в четверти, остаюсь без похвального листа. Тогда-то у меня и опускаются руки, изменяется отношение к школе. Ансамбль я совсем забросил и не хожу туда уже целый год. «Художка» становится обузой, хотя и необходимой для моего дальнейшего послешкольного обучения. Я мечтал стать архитектором, делать проекты новомодных зданий и обеспечивать свою семью всем необходимым. Но дорога в будущее была очень терниста и изворотлива. Мама поддерживала меня и говорила, чтобы я не сдавался. Я ценю это, но порой мне кажется, что она совсем меня не понимает.

В классе я дружил со всеми ребятами. Мы часто ходили куда-нибудь вместе. А с девочками я никак не мог найти общий язык. Они постоянно говорили на темы, не представляющие для меня интереса, поэтому я считал их глупыми длинноволосыми существами. Думаю, девочки были того же мнения и о нас.

Прошло три года. Теперь я прежде всего осознал, что учусь не для кого-то, а для себя. Моя тяга к знаниям временами удивляет даже меня. В прошлом году я окончил художественную школу, причем успешно. Незадолго до выпуска ездили в Петербург на мастер-классы. Я был в восторге от узанного и увиденного там. Вдруг понял, что моя жизнь не будет связана с рисованием. Я поменял свою позицию относительно будущего — теперь я хочу быть программистом. Эта профессия набирает обороты и становится очень перспективной. Ни одна организация не обойдется без грамотного специалиста с дипломом, в котором написано «программист». За этой специальностью будущее: она несет инновации в наше прогрессирующее общество.

В Питере я познакомился с одной прелестной девушкой, которую раньше не замечал, впрочем, как и она меня. Такой обаятельной и привлекательной я никогда не встречал. Хотя все «прелести» переходного возраста не обошли и меня, я ей все равно нравлюсь. Мы смотрим в одну сторону, у нас общие интересы, стремления и взгляды на жизнь.

Наладились отношения с мамой, мы достигли взаимопонимания. Она не дает мне сойти с верного пути и направляет меня, одобряет мой выбор в профессии и прилагает много усилий, чтобы у меня все получилось. Я благодарен маме за это, хотя и редко это ей говорю.

Не думаю, что я уже окончательно повзрослел и мои взгляды на мир больше не изменятся. Вскоре меня ждет окончание школы и вступление в новую более взрослую жизнь, со всеми ее сложностями, радостями, разочарованиями, взлетами и падениями. Надеюсь, что все, к чему я стремлюсь, обязательно сбудется...

Милана Горгун, 10а, школа №17

Мое взросление произошло очень быстро. И неожиданно страшно. Казалось, еще вчера мама отводила меня в первый класс в совершенно другом городе, в другой стране, а уже сегодня я сама поведу первоклассников на их первую в жизни школьную линейку, гордо неся звание «старшеклассница». Согласна, все через это проходят, но мне было сложнее, чем моим сверстникам, потому что жизнь специально для меня приготовила нелегкие испытания: война на родине и переезд в другую страну. Нет, считать меня беженкой и жалеть не стоит, так как родственники помогли с обустройством в незнакомом месте. Это, конечно, огромный плюс. Но проблемы стеснительной, замкнутой девочки, какой я была совсем недавно, только начались.

Пришлось пережить разлуку с друзьями и близкими людьми. Не имея возможности поговорить с ними, я сильно переживала, боялась будущего, неизвестности. Кому же излить душу, с кем поделиться своими страхами? Рядом лишь расстроенная мама, которая тоже нуждалась в поддержке. Позже она стала (и остается) моим лучшим другом.

Второе, что могло пошатнуть мою уверенность в себе, — необходимость вжиться

в незнакомый коллектив. Не скажу, что знакомство с новыми одноклассниками прошло плохо, однако если бы вы только знали, как было страшно, что не примут! Дрожал голос и подкашивались коленки первое время!

Неутолимое желание вернуться домой, не покидающее меня по сей день, — третье испытание. Даже не выразить словами, как хочется повидаться с друзьями, увидеть свой дом... Ведь на Украине я не была уже два года.

Просто хочу сказать, что пережить все это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Трудности закаляют характер, заставляют стать сильнее. Сейчас я намного увереннее в себе, хорошо учусь, да и друзей настоящих нашла. В конце концов все наладилось, и меня теперь можно назвать взрослой. Или почти взрослой. А ведь так иногда хочется побыть маленькой девочкой...

Юлия Тарасенко, 10а, гимназия №3

Для каждого человека взросление — самый важный этап жизни, ведь происходит становление личности. Мы открываем в себе новые качества и таланты.

Вот и стали мы на год взрослее. Сейчас мне 16 лет. Много это или мало? Я думаю, что вполне достаточно для того, чтобы принимать самостоятельно те или иные решения, брать на себя ответственность за свои поступки. Я чувствую, что стала гораздо взрослее, потому что могу находить в себе силы сама, без посторонней помощи, преодолевать трудности и препятствия, чего не было раньше. Я точно знаю, чего хочу от жизни, и делаю все для достижения поставленных целей. Была ли я такой в детстве? Очевидно, нет.

Дети любят воображать себя взрослыми. То они с важным видом заставляют «работать» своих «подчиненных», изображая начальников. То с увлечением играют в магазин, в больницу или в школу, представляя себя докторами, учителями или продавцами. С серьезным видом пересчитывают «деньги», с восхищением рассказывают о своей «работе». Ведь все ребята хотят одного — быть взрослыми. А на самом деле когда ты маленький, то не знаешь, сколько новых обязанностей появляется и какая ложится ответственность при вступлении во взрослую жизнь.

Взросление, на мой взгляд, — это прощание с детской наивностью, когда мир казался радужным, а мама и папа представлялись повелителями всего на свете. Ты больше не сможешь беззаботно гулять и играть с друзьями. А там, в далеком детстве, все проблемы казались решаемыми.

Такой была и я. Но на смену детской наивности, радости и смеху приходит серьезность и ответственность. А порой жизнь бывает и очень непроста. Уже не кажется, как в детстве, что родители решат любую проблему.

По мере того как человек взрослеет, меняется его мировоззрение, и отношение, казалось бы, к простым вещам существенно начинает отличаться. В детстве я смотрела мультфильмы про волшебные миры, где добро всегда побеждает зло, верила, что так будет и в жизни. Но каждому приходится рано или поздно снимать розовые очки. Я стала смотреть много серьезных жизненных фильмов о взаимоотношениях людей. Когда становишься старше, ты глубже понимаешь смысл фильмов, а потом анализируешь поступки героев, сопоставляешь со своей жизнью.

Хочу ли я быть взрослой или, наоборот, задержаться в нежно-розовой поре детства? Скорее всего, хочу повзрослеть, чтобы самой выбирать, сомневаться, преодолевать, чувствовать, надеяться, любить.

Мне предстоит сделать сложный выбор и определить путь, по которому я пройду свою жизнь. А жизнь дается только один раз и ошибиться никак нельзя.

Здравствуй, интересная, сложная и такая заманчивая взрослая жизнь. Прощай, мое теплое, уютное и беззаботное детство!

Андрей Трухно, 10б, гимназия №3

Как понять, что ты повзрослел? Я думал, это понимание придет тогда, когда я начну зарабатывать деньги и жить самостоятельно... Но на деле взросление — это совсем другое. Это когда старые привычки теряют свою актуальность для тебя. Когда ты перестаешь верить и понимать те вещи, которыми жил раньше. Когда твой взгляд на мир меняется полностью!

Первым звоночком в моем взрослении стал поход в первый класс. Это было тяжелое время для меня, ведь приходилось учиться, делать уроки и нести ответственность за свои поступки в школе. Эта ответственность одновременно пугает, но в то же время вызывает чувство того, что ты уже не маленький мальчик, а уже взрослый и самостоятельный человек.

Вторым признаком моего взросления стал отказ от игрушек. Мне невероятно грустно было расставаться с моими любимыми конструкторами, машинками, солдатиками... Но это было надо, чтобы повзрослеть! Только сейчас я осознаю, что игрушки никуда не исчезают, они становятся просто дороже: дорогие машины, виллы, яхты. Взрослым людям тоже необходимы игрушки, но в детстве я считал наоборот.

Третьим признаком моего взросления стал отказ от веры во всевозможные чудеса и сверхъестественные явления. Я считал, что чудеса бывают только в сказках и им не место в реальном мире. Теперь же я понимаю, что вера в чудеса делала меня тогда очень счастливым. Каждый раз в канун Нового года я ждал прихода Деда Мороза: тогда я не знал, что подарки под елку кладут мои родители. И каждый раз надеялся его увидеть, но всегда засыпал до боя курантов.

Относительно недавно я почувствовал еще один признак взросления — это отвержение любой религии. Я осознал, что Бога нет. Есть огромный ряд теорий, опровергающих его существование. Если он есть, то почему не спустится на землю и не прекратит огромное количество войн, развязанных из-за религиозных убеждений? Еще в древние времена религия служила стимулом к огромному количеству человеческих жертв, войн, убийств. Нет, такие боги (или Бог) мне не нужны. Я все равно намерен остаться по жизни хорошим человеком, но не из-за страха перед Адом или Страшным Судом, а потому что это мои личные убеждения и воспитание.

И наконец, пятый признак моего взросления — это начало рабочей деятельности. В 7-м классе за несложную работу на школьном участке я получил свою первую зарплату. Я был страшно горд собой, хотя проработал всего две недели. И так мне понравилась эта самостоятельность, что все следующие годы летом после школы я устраивался куда-нибудь подрабатывать. Сама мысль о том, что эти деньги заработал я, а не родители их дали мне, давала мне почувствовать себя взрослым человеком. Я поработал и могу с уверенностью сказать, что деньги даются путем тяжелого труда и терпения. Что ничего просто так не дается.

Да, взрослеть тяжело. Мир резко вокруг меняется, многие волшебные фантазии и иллюзии развеиваются из-за сильного ветра повседневности. Чем старше я становлюсь, тем сильнее меня не отпускает чувство, что меняюсь не я, а мир. Я начинаю смотреть на вещи совсем с другой стороны. По-другому воспринимать науку, политику, религию, общество. Но я рад, что повзрослел, теперь я могу анализировать те вещи, о которых раньше не имел понятия. Взрослеть можно начать с любого возраста, важно — захотеть. Но это необходимо, чтобы видеть мир таким, какой он есть на самом деле!

Ксения Гаврилова, 10а, школа №17

С возрастом начинаешь воспринимать мир совсем не так, как в детстве, когда смотришь на все снизу вверх и думаешь, какое все вокруг большое и загадочное. А теперь, через несколько лет, все стало другим. Вещи, которые казались нам странными или загадочными, стали совсем обычными, потеряли привлекательность тайны. Сказки, Дедушка Мороз и волшебство, в которые мы так верили, оказались выдумкой, хоть и доброй. Детская пора, когда твои проделки всегда прощались, тебя

баловали любящие родители, когда легко можно было забыть обиды и помириться с друзьями, а учеба доставляла лишь радость новых открытий. Когда не нужно было переживать за свое будущее, когда точно знаешь, что если тебе трудно, всегда окажутся рядом мама и папа. Время, когда и радости, и обиды безмерны...

Увы, все когда-нибудь подходит к концу. Я вдруг совсем неожиданно поняла, что жизнь — совсем не легкая штука. Еще вчера тебе многое прощалось, а сегодня от тебя требуют самостоятельности, за ошибки с тебя требуют ответа. И возникает чувство страха перед неизведанным, мучает неуверенность в себе. В детстве хотелось поскорее стать взрослой, а теперь страшно взрослеть... Раньше все было так ясно, и я сама себе нравилась, а тут начала замечать и в себе, и в людях много дурного и не знаю, как к этому относиться, ведь очень сложно признать, что где-то ты был неправ, что напрасно обидел человека, сказал не подумав. Я не хочу жаловаться на жизнь, ворчать, что мир жесток и несправедлив к нам. Я не стремлюсь к тому, чтобы быть первой, и не хочу быть, так сказать, первопроходцем в чем-то, нет. Я боюсь — пустой жизни. Я каждый раз спрашиваю себя: «Как прожить свою жизнь, не потратив ее впустую? И что я могу дать этому миру? И что мир может дать мне? И как стать счастливой?» Эти вопросы так мучают по ночам, когда остаешься наедине с собой! Но теперь мне понятно, что именно эти мучительные вопросы — доказательство: Я СТАНОВЛЮСЬ ВЗРОСЛОЙ!..

Егор Романов, 10б, гимназия №3

Иногда приходит мысль о том, как быстро пролетело время, как из мальчонки-несмышлениша ты стал юношей. Как незаметно происходит взросление! Кажется, только вчера играл в машинки, а сегодня ты уже заканчиваешь школу в ступаешь во взрослую жизнь. Впрочем, взросление — это не просто стать большим дядей, но это еще и умение отвечать за свои поступки и не зависеть ни от кого. Можно быть 13-летним мальчиком, но уже уметь постоять за себя, держать обещания, помогать старшим, а можно быть каким-нибудь 25-летним мужчиной, который ничего не умеет и сидит на шее у своих родителей. Процесс взросления очень важен для формирования характера человека, его мировоззрения, его отношения к окружающему миру.

Становясь взрослым, я начал наблюдать некоторые изменения в своем поведении, во вкусах, в том числе и в музыке. Я начал делать все сам без чьей-либо помощи, чтобы подчеркнуть свою независимость от кого-либо. Также все чаще стал слушать своих родителей, потому что понял, что их советы правильны и они пригодятся в будущем. Я иначе теперь отношусь к старшим, пытаюсь разговаривать с ними на равных. Я стал задумываться о своей будущей профессии, понимая, что уже пора выбирать свою дорогу в жизни. И самое главное — я перестал жалеть себя, начал закалять свой характер, потому как особое впечатление на меня произвели книги Вениамина Каверина «Два капитана», Николая Островского «Как закалялась сталь», Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Кстати, именно в период взросления у меня появился интерес к чтению. Когда был помладше, то не любил читать.

Так важно ли взросление в нашей жизни или нет? Ответ очевиден: конечно ДА!

Илья Пугачёв, 10б, гимназия №3

По моему мнению, взросление — это приобретение нового жизненного опыта, переосмысление мира. Взрослыми не становятся в одночасье. Человек каждый день узнает что-либо новое, ранее неизвестное.

Наш кругозор расширяют занятия в школе, посещение музея, театра. У человека появляются новые интересы, увлечения. Мы начинаем искать себя...

Можно сказать, что каждый подросток стремится к своему, еще не до конца понятному идеалу. Вспомните «Подростка» Достоевского. Предоставленный сам себе, никому не нужный, он пытается понять своего отца, найти в нем свой идеал.

Особое внимание следует уделить такой теме, как любовь. Это новое, неизведанное чувство может либо угаснуть, либо перейти в другое состояние. Подобную ситуацию

описал известный английский писатель Льюис Стивенсон в своем произведении «Черная стрела». Главный герой произведения Дик помогает незнакомцу избежать погони. Он относится к нему как к мужчине, как к равному себе. По пути они сдружились и почувствовали привязанность друг к другу. Во время побега из замка сэра Дэниела Дик узнает, что его спутник — прекрасная девушка Джоанна, и признается ей в любви. Он, рискуя жизнью, использует все средства, чтобы выволить возлюбленную из плена. Во время одной из схваток ему наконец удается освободить Джоанну, и они проживут вместе всю оставшуюся жизнь.

Можно сказать, что подростковый возраст — самое интересное и счастливое время в жизни каждого человека, когда детство уже прошло, а взрослая жизнь еще не наступила.

Анна Бабаева, 11а, гимназия №3

«Мыши посмотрели на себя со стороны и увидели, что их тело становится конячим».

Примерно так в моем детском пересказе звучала часть «Золушки» с превращением мышей в лошадей. В жизни все несколько иначе.

Я посмотрела на себя со стороны и увидела, что становлюсь взрослой.

В два года я долго доказывала маме, что мне уже можно все или почти все, ведь я взрослая.

«А вот ланьше, когда я была маленькой...»

Стать ВЗРОСЛЫМ — вечная мечта любого ребёнка. Быть умным и сильным, как мама и папа. Мои родители не гении, но на мне природа явно отдохнула... хотя не суть. Маленькие люди всегда стремятся быть самостоятельными и самостоятельно принимать решения. А что именно беззаботность и есть главный плюс детства, открывается потом.

Всю свою жизнь я, как и многие подростки, делю на четыре больших этапа.

Первый — до шести лет. Его я помню по редким и непонятным обрывкам воспоминаний, фотографиям в семейных альбомах и рассказам родных, вроде «Анечка, а ты помнишь, как мы все вместе были в Анапе?». Нет, не помню, отстаньте.

Второй — до средней школы, то есть до десяти - одиннадцати лет. Вот это было времечко. Ну по крайней мере если судить по тем кусочкам воспоминаний, что сохранились в моей голове. А сохранилось явно не все...

Несколько лет назад в автобусе встретила своего одноклассника из начальной школы. Одним из первых его вопросов был: «Ну что, больше не кусаешься?» Он счел это весьма остроумной шуткой и насмеялся вдоволь, а я, краснея, пыталась вспомнить — когда это и кого я там кусала.

Третий — вплоть до девятого класса, моих четырнадцати и пятнадцати лет. Пожалуй иначе, как «Великий Депресняк» эти годы не окрестить. Вечные оскорбления и унижения со стороны лидеров нашего класса, сложности в осознании мира — метания от одной идеи к другой и вечные истерики.

Я могла бы долго рассуждать о минусах школы, в которой начались проблемы (сперва из-за дизграфии, позже из-за сложностей в общении). Потом упомянула бы ссоры с родителями... Но не хочется о грустном.

Ведь в жизни каждого человека есть множество положительных и смешных моментов.

Я с улыбкой вспоминаю светлые события «темного времени». Например свою первую учительницу литературы в средней школе. Наша взаимная симпатия началась с того, что она случайно закрыла меня в кабинете на перемену. И не один раз...

Или вот еще случай: со своей, на долгие годы лучшей, подругой я познакомилась еще на линейке первого звонка, когда она порвала мне колготки своими колючими розами.

Четвертый этап — все, что случилось со мной в последние два года. Вплоть до сегодняшнего дня. Новая цель в жизни, новые друзья, новые идеи. Наладились отношения с мамой, сестрой, людьми, которые окружают меня повсеместно.

И как же хорошо, что я уже большая, а вот раньше, когда я была маленькой...

Александр Цыбулевский

Великие радости путешествий

Шесть записных книжечек

Публикация и вступительная заметка Павла Нерлера

Я все решительно забыл, что приходило в голову по дороге — нужно книжку записную буквально держать в руке — единственное средство борьбы со склерозом.

А.Цыбулевский. Шарк-шарк

В последние дни нахлынула на меня Средняя Азия: мне хочется сидеть в чайхане — тянуть зеленый чай — смотреть, смотреть на эти царственные позы халатов, потом оказывающиеся жалкими... как тогда. — Помнишь? — И писать главное — там единственное место, где можно спокойно писать — где помогают, мешая.

*А.Цыбулевский. Из записной книжки № 32.
2 февраля 1967 года*

В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга А.С. Цыбулевского «Поэтика доподлинности: Критическая проза. Записные книжки. Фотографии» (редактор-составитель П.Нерлер). Это имя говорит многое знатокам русской и грузинской культуры. Поэт, прозаик и литературовед Александр Семенович Цыбулевский (1928—1975), номинально — уроженец Ростова-на-Дону, но коренной де-факто тифлисец. Вместе с Гией Маргвелашвили он был чем-то вроде «посла доброй воли» ее величества Русской Поэзии в поэтолюбивой Грузии. Тот, кто знакомился с ним, навсегда оставался под обаянием его тонкой и мягкой личности. Цыбулевский во всем был поэтом — и когда писал стихи, и когда прозу (принципиально лирическую), и когда фотографировал, и даже когда писал квалификационный филологический текст — кандидатскую диссертацию о русских переводах поэм Важа Пшавела (и сегодня поражающую — в том числе неакадемичной раскованностью формы¹).

«Поэтика подлинности...» сконцентрирована на критической прозе Цыбулевского и в особенности на записных книжках, причем большинство материалов публикуется впервые.

«Нужно научиться отходить от записной книжки. Как? Найти час, когда ты можешь со стороны прислушиваться к тому, что ритмически возникает изнутри. И взвешивать слова и фразы, произнося их про себя на слух.

Дай бог, чтоб это стало страстью (как раньше маниакальное фотографирование), и тоже из 36 кадров если получается 2, то это удачная пленка; так и тут, если 3 книжки — 36 кадров и 2—3 листка или даже три строчки стоящие, то это можно считать удачей — но вообще математика эта грустная. Так хочется писать без отказа! Как охотнику бить по цели».

В настоящую подборку вошло шесть записных книжек А.Ц. (№ с 10 по 15), охватывающих очень короткий — трехнедельный — период (с 21 апреля по 14 мая 1966 года). Их объединяет путешествие поэта, вместе с Кирой, его женой, в Среднюю Азию — по маршруту Тбилиси — Баку — Красноводск — Ашхабад — Ташауз — Ургенч — Хива — Ташкент (практически сразу же после катастрофического землетрясения!) — Душанбе — Вардзобское ущелье — Самарканд — Бухара — Красноводск — Баку — Тбилиси.

Это путешествие оказалось необычайно продуктивным, отозвавшись замечательной прозой («Шарк-шарк») и циклом стихотворений («Среднеазиатское»).

«...И уже тогда, еще в Хиве, постепенно обнаружилось, что путешествия вовсе не открывают что-то дотоле не виденное — а просто возвращают к уже виденному в далеком детстве — все, что я увидел в Средней Азии — все невиданное, — было в моем детстве в Тбилиси, по улице Ново-Арсенальной, № 18. Все это было в маленьком пространстве. И росли те же кусты с какими-то несъедобными висюльками — мы называли их огурцами... И не Среднюю Азию видишь, а вид из окна «детской» с ковром и двумя зайчиками — солнечным и матерчатым в углу, из которого осыпаются опилки... И все рассветы среднеазиатские: розовый короткий всплеск по окружающим Тбилиси горам, и каменистое делается песчаным. И двор, залитый солнцем...» («Шарк-шарк»).

Оказалось, что Тбилиси, город детства Цыбулевского, — это маленькое шальное пространство с несъедобными висюльками — это не только материнская, питательная среда поэта Цыбулевского, но и эквивалент Средней Азии и всего остального мира.

Путешествие и путевые книжки позволили Цыбулевскому сформулировать ни много ни мало как собственную оригинальную поэтику — поэтику доподлинности: *«...я сумел бы не отвлеченно, а конкретно решить мучившую меня дилемму: что не важно для литератора, следует ли писать под диктовку того, что перед глазами, гнаться, как я гонюсь, за подлинностью, точнее доподлинностью, то есть чем-то таким, чего придумать нельзя. Или же ничего не нужно, ничего — кроме четырех стен и чистого листа бумаги. Пример доподлинности, которую чту: как-то в Средней Азии в автобусе коса узбечки, сидевшей впереди меня, гляжу — лежит на моих запялённых туфлях — придумать такое невозможно... Я затеял своего рода гаданье — какая выпадет карта? Если им не нужен Казбек, то литератору ничего не нужно, значит, я не существую как литератор. А если им нужен Казбек, то я — рабский переписчик, эксплуатирующий собственную впечатлительность, все же чего-то стою и мой метод тоже неплох и хорош, хотя литература, конечно, не протокол, составленный на месте происшествия» («Казбек»).*

И вот эта же коса, а с нею — и эта же поэтика — вдруг обнаруживается и в стихах:

Описания вне описанья,
Видно, этим стихи хороши.
И пьянят, будоражат названия —
Скажем, город какой-то Карши.
Тут автобус набит до отказа,
И чадит перегретый мотор.
В тесноте — для стиха и рассказа
Открывается скрытый простор.
В незнакомом знакомые грани,
И реальность разит не разя.
Чту доподлинность — ту, что заране
Предсказать и придумать нельзя:

Не средь трав и растений спалённых
 Мавзолеи небесной красы,
 А на туфлях моих запылённых
 Две сплетенные туго косы.
 Две сплетенные туго косы...
 До свиданья, подросток, узбечка.
 Я заветное знаю местечко
 У запретной почти полосы.
 Близ базара торговля ножами,
 Что, как бритва, преступно остры.
 Дождь акаций и плов над кострами.
 Устилают веранду ковры.
 Уголовники ходят, хмелея
 От объятий неверных подруг.
 Чёрный ворон кружит по аллее,
 Замыкая назначенный круг.

Читая записные книжки Александра Цыбулевского, читатель получает возможность заглянуть в авторскую лабораторию и самостоятельно прогуляться по цокольному уровню его словесности, тесно связанному лестницами и переходами с его прозой и его поэзией.

П.Н.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 10

[Тбилиси, Баку, Красноводск, Ашхабад: 21 — около 24 апреля 1966 г.]

21/IV 1966 г. [День отъезда. Поезд Тбилиси—Баку]

Поезд идет среди поля — потому что ночь, полная тьма, ничего не видно, а в темноте всегда — воображается поле. И странные ощущения, когда перепуталось — с какой стороны слышался разговор и кто-то болтал в коридоре, а оказалось, что за окном, за окном движущегося поезда, пересекающего пустынное ночное поле. И вдруг за окном разговор — он как издевательство над нашими представлениями. Тот разговор: надуты щеки, будто трубят в трубу и звуки вылетают изобразительно, представляемые как на каких-то, не вспомнить, изображениях.

Как странно, что пар приводит в движение такую махину, как паровоз, и кто-то водит до сих пор эти допотопные чудища.

И как они мягко и прекрасно движутся. Мимо вокзала, точно в танце настоящие танцоры, не чувствуется усилие, и он совсем не пыхтит. Идет сам, а пар ни при чем, как ни при чем танцор — а важно танец — он источник движений. Он независим...

Военный на перроне. Дождь. Задворки вокзала. Светящийся буфет. Шинель длиннополая.

Закрытый безнадежно буфет пристанционный на ночь.

И снова в темноту уходит поезд. Нельзя представить, что днем тут все зеленое, настолько все черною замазано краской. Я никогда не ехал так охотно и умиротворенно. Происходит успокоение неизвестностью.

Предстоящая неизвестность. Какой суматошный был день. И все же, как было много. И как прекрасно. Например, Г. Антелава² — суетящийся и пунктуальный. И Лия³, что подошла на костыле, но в движении было что-то мягкое. Движение соединилось с улыбкой на лице. И было создано что-то отдельное.

Как был самостоятельным кусочек подъезда машинистки.

Что там было у машинистки, что он упрямо помнил и сохранял?

И базар. Сыр бараний, стреляющий во рту. Сыр с порошком.

И вежливый буфетчик базара, сказавший только, чтобы не очень мы выставляли

напоказ принесенное вино, а положили бы его под стол. И в буфете мы взяли только хлеб. А все остальное занесли. Впрочем, кроме сыра — был только тархун. Уже немного староватый, с твердыми стебельками — но листики были все равно молодые. А в начале весны какие мягкие у него стебли! Что случается потом со стебельками?

А Кирилла Зданевича⁴ не оказалось дома. И я положил вино сбоку от двери и вложил записку, что прощаюсь с ним двумя бутылками Гурджаани⁵.

Он приходит на вокзал задолго до отхода поезда. Приходит, когда еще не подан состав — и даже стоит чужой. На него продолжается посадка, и нужно ждать, когда он отправится с какого-то пути и путь очистится. И потом маневровый паровоз медленно подает его к перрону, но самого его не будет видно. Вагоны вкатятся как будто сами, их будет толкать и т.д.

Привокзальный колокол.

Какой все-таки большой этот маленький день и как за что бы ты ни уцепился, то вытянет из глубины такую цепь.

С чего бы ты ни начинал.

Кафе «Метро» проходил. Сколько тут возможно вспомнить, начиная от мужа Джуны (совсем не курдянка-девочка, хотя и речь о ней в гениальном стихотворении Межирова⁶).

Мужа Джуны, которого никто никогда не видел. Этот злодей ни разу не появился на сцене. «Или будешь со мной жить, или дай 10 000, или получиай нож», — что-то в этом роде.

Но ведь и в кафе «Метро», — как я его ни хаял сегодня перед Гией⁷, — мне были отпущены прекрасные минуты, не отравленные высокими тарифами-расценками кафе. Помнится, в какой-то день — фуникулер под вечер. Черная громада на розовом небе и меланхолично снующие вагончики дороги подвесной.

Распахнутые окна и веранда — и люди, идущие по улице внизу и ждущие троллейбуса.

Тот неповторимый день ушел и не вернется. И от него, в конце концов, ничего не осталось — не осталось даже воспоминаний. Того воспоминания, которое готово прийти по первому твоему вызову, — нет, но приходит какой-то маленький кусочек. Каждый раз другой по каким-то с ним не сцепленным поводам, но представляются колеса с зубчиками.

Да, говорит маленькая. Жалко заснуть и сразу потом проснуться под утро, а мы давно так не ехали.

Но все же клонит ко сну.

Очень часто желание спать вытягивает образ предэкзаменационных недосыпаний.

Я ухожу от дня. Или, вернее, вот так кружусь вокруг него. Так много в нем осталось, что никогда не впишется и канет навеки в бездну, из которой его не вытянут, как рыбку магнитиком, — подковкой, привязанной к леске и шарящей, как та шарящая удочка игры — забытой в детстве.

Я был очень плохим в том дне, — например, — жестоким по отношению к тетке...⁸

В этом дне были и предвкушения дней предстоящих. Все эти мысли о Средней Азии и, например, оправдание собственного невежества — превращение его в методу. Способ, оказывается, <заключен в том, что> нужно знать как можно меньше о тех местах, куда отправляешься, предварительно не следует ни о чем читать. Только — после. Что ж, резон тут есть.

И вдруг полоснуло ощущение счастья. Что ж, может быть, пора мне получить за все, что я «пережил»?

Но, может быть, получаешь, чтоб ощутичее был ответ на содеянное тобой?

Отдельные капли дождевые на стекле внезапно срываются, словно <белые> метеоры-кометы на черном небе.

И, в общем, это все картина звездного неба, потому что капельки мерцают и блестят.

Удивительный этот поезд и поездка. Бесчеловечное обращение с расстояниями. Шура⁹, столько раз ездивший в Среднюю Азию, запомнил пустыню, только когда один раз <проезжал> поездом.

Грустно будет покинуть это купе завтра утром.

22/IV 1966 г. [Баку] [Паром] [Хозяин — ветер]

Итак, из чего же у меня составляется Баку? Первое, что поразило мальчика: пустыня и верблюды. 2) Очень много чистильщиков-мальчишек на бульваре. 3) Лифт впервые в жизни — казалось: вот можно кататься, не переставая. 4) Павлинье перо. И мальчик уже пионер, и девочка еще нет. 5) И моторная лодочка в тазу с горящей свечей. Тарахтит.

На горизонте силуэты «возвышенностей» сизые, как набитые или надувные мешки. К ним шагают по грязи через редкие кусты, широко топыря ноги, рабочие.

Вдалеке стоит ожидающий их автобус, и странно видеть белое среди непролазной жижи. Из той же жижи построены дома. Все это пока глазами пасмурного дня — категории не эстетические.

Вчерашние названия отпели.

~| ~| ~| буровые вышки

..... газ

(излишки)

..... и в жиже

(плывут) (кусты)

Быть может низменности ниже

И чище грязь

Входят тени листьев. Скрипучие ворота мертвого города.

Восток впрыскивают как инъекцию. Что-то делается во лбу. Входят в тебя пропорции.

Судилище Диван-Хане¹⁰. Прекрасное с ужасным. И буквы, словно шеи фламинго.

Хозяин — ветер.

Великое собрание обломков. Комплекс Ширваншахов¹¹.

И, конечно, в этих переулках важен шелк, игра ткани его на ветру и солнце. Шелк, понятие ткани — тут становится восточным, вот для чего шаровары.

И длинные волосы нужны в таких переулках.

Ведь ветер тут хозяин. И шелк живет и дышит тут.

Первый среднеазиатский тип в черной чалме с красной верхушкой в автобусе, а за спиной море и суда на рейде. И солнце. Но все это ерунда перед дворцом Ширваншахов.

Тяга к замкнутым водоемам — преподнести воду, оправленную как драгоценность.

В чем-то неуловимом присутствие Персии. В том типе и в том, что стоял в порту возле так называемого морского парома. И вот морской паром. Автобус.

Каспийская пучина
Каспийская стихия
Каспийское море — не море
(морской)
паром не паром

Нужно научиться отходить от записной книжки. Как? Найти час, когда ты можешь со стороны прислушиваться к тому, что ритмически возникает изнутри. И взвешивать слова и фразы, произнося их про себя на слух.

Говорят, Азия улетучивается с каждым приездом. Улетучивается Азия.

Как сохранить этот увиденный нами «Мертвый город»? Но что значит мертвый? Ничего. Мы говорим «узенькие улочки» — и это ничего не говорит. Узенькие, узкие. Их узость — живая. Есть мертвая широта. Я знаю, что жить там уже невозможно, но...

А пока здорово качает пароход. И так, впервые пересекаем Каспийское море.

Но как же быть с теми улочками? Как передать словами их существование (висящее сейчас на волоске)? Ведь когда осуществится Макет Застройки (увиденный в музее) — все забудется. Дома исчезают в тот же день, как только сносятся. Это смешно звучит. В самом деле, а как же иначе? Это глупее любой тавтологии. Но только эвфонически. На самом деле тут другое. Домов не было никогда. Вот что происходит в день разрушения дома. И врут те, кто, вздыхая, стоит и ахает: «Мол, тут стоял дом». Неправда: Домов тут не было никогда. Что делать, как сохранить те улочки? Ведь произойдет двойное разрушение. Как передать капризы переходов и дворов, так чутко подчинившихся холму. Любому бугорку и выемке.

Стучалки в ворота деревянные. Стучалки-кольца. Стучалки-скобы и наконец стучалка-рука. Рука живая, медная с кольцом и манжетом, держащая шарик. Живая медная рука.

Собака, которая лежала на середине дворца. И собака, которая рычала через шелку. И звук калиток скрипящих. И ветер хозяин. И хозяин ветер.

Саида! Саида! — зовет девочка — так было и много лет назад. Бульдозер надвигается.

1966 г.22/IV-1 [Паром Баку—Красноводск¹²]

Господи! Спасибо, что ты придумал записную книжку. Дай бог, чтоб это стало страстью (как раньше маниакальное фотографирование) и тоже из 36 кадров если получается 2, то это удачная пленка, так и тут, если 3 книжки — 36 кадров и 2—3 листка или даже три строчки стоящие, то это можно считать удачей — но вообще математика эта грустная. Так хочется писать без отказа! Как охотнику бить по цели.

В буфете-ресторане

[Рейс — [Прага—Смихов]]

Рыбка и чешское пиво в буфете-ресторане парохода-парома, везущего в чреве вагоны.

Культура чая. Пьет буфетчик, пьет официантка, пьют те два типа (после пива!). Культура, потому что это опьянение — не алкоголическими средствами. Именно за чаем, когда он дымится, откусывая сахар, они говорят то ли о бессмертии души, то ли о ценах на рынке.

Высшая ступень опьянения — опьяненность.

Тот русский оказался среднеазиатом. Другой таджик или узбек наливает, угощает-подливает. Очень интересный разговор идет о погоде, о снегах, о холодах, о жаре и о службе в армии.

Глаза раскосые добры. [Жестокость выдумала история.] Это там они носились на конях, а теперь почти женственные жесты. И каждый жест — застенчивость и скромность, и уважение к собеседнику.

Пью и пью пиво чешское Прага—Смихов—Старопрамен¹³. 12⁰. Хорошо, как все подлинное. Конечно, градусы липовые, но все же...

А те все пьют чай. Пьют те два типа и буфетчик — он же директор ресторана, в ковбойской рубахе. ... «И хороший командир батареи» — разговор о погоде иссяк — перечислено все возможное. Снег, ветер, ураган.

Есть типы, напоминающие, может быть, бродяг — по призванию.

Но все это пока не интересно. Ни он ни брат его, о котором мельком услышал, что он работает на танкере.

Нужно писать лишь о том, что не поддается собственно письму.

Итак, нет секрета заварки чая.

Нет секрета заварки чая, как секрета (и у) Лагидзе¹⁴ нет.

Теперь разговор о компостировании¹⁵. Кто из нас произносит правильно это слово?

Все опьяняются. Но опьяненность недостижима.

Прага—Смихов, Прага—Смихов... А море успокоилось. — Море? Разве Каспий — море?

Вот Прага—Смихов — это пиво. Официантку зовут Соня.

Все ушли — Вот это и называется жизнь — прорвался — сиди, и тебя не выгонят. Не успел — не впустят.

...Как хлопали двери от качки в шторм, и это никому не мешало из obsługi.

Хорошо, что перед отплытием была команда прикрепить вагоны в трюме поштормовому.

И я представил по хлопанию этой двери — будь совершенна <ошибка>, как летают в чреве в темном трюме парома-парохода вагоны, <как котята>, вслепую. Как бой быков. И кто-то с засученными (Прага—Смихов) рукавами выходит на расправу — с вагонами-быками — Откуда этот образ тореадора? Когда я шел 4 часа назад по коридору (не путать с корридой), передавали арию тореадора.

А в зеркале глядит действительно незнакомое отражение — не беспокоящего меня двойника.

Буфет закрыт. Меня обратно не впустят. Вышел — упустил.

Остановись, мгновенье, — ты прекрасно. Слева на подставках графин с водой и бутылочка с лекарством, с желтым шлейфом рецепта — Почему это прекрасно? Почему?

И вдруг не то чтобы не уступает дворцу Ширваншахов, а наоборот, не претендуя на роль и увековеченье, — прекрасно.

Смотри на него — уйдет, уйдет, как гвоздик малый, и будто не было его.

Прекрасна зубная щетка голубого цвета, пересекающая тонкий стакан. А мыльница мне неприятна? Станный натюрморт. Прощайся-кланяйся. Кланяйся.

Пока мы едем по Каспийскому, кто-то едет вдоль Черного, кто-то, кого не знаю я, в это же время пересекает, быть может, Тихий Океан. И если б нас вместе всех собрать, мы б убедились, как земля мала. Как тесен свет и прочие пошлости, которые не смогли бы омрачить радость встречи, а просто были бы подспорьем, пока не пришли бы настоящие слова.

А вы заметили, как современный транспорт приспособился в смысле окон, дверей, кондиционированного воздуха, герметичности и занавесок к пренебрежению ко всему, около чего он мчится? Он пренебрегает всем, — главное — бесчеловечная скорость. Воздух — ну, батеньки, если бы при такой скорости так же бы открывались окна, как в вагонах тридцатых годов, то это <было бы опасно>.

Просто для этого транспорта важен он сам. Он почти обратил фары внутрь себя — и он влип <бы> в катастрофу, если бы было, на что смотреть вне.

Ночью прислушиваюсь к звукам пароходика.

А может быть, внутри этого парома-парохода, кроме вагонов, есть и паровоз, и это он сейчас гудит и мчится?

Конечно, я был прав вначале. Это с самого начала не морское море. И штормило оно лишь для отвода глаз, а вообще это поезд, и все звуки его подтверждают это.

И больше не качается авоська. И рейс не Баку—Красноводск. А Прага—Смихов.

Нет, все-таки эти звуки полны такого напряжения и устремленья, которые могут принадлежать только пароходу. Пусть даже ему приставлен несвойственный гудок.

Ты узнаешь его по дрожи внутренней. Он тот же, что вез тебя некогда из Сочи до Сухуми.

Но почему же он гудит так, как будто он пересекает поле (то ночное), а не море? И звук откуда-то изнутри.

Какое издевательство — дать пароходу — гудок паровозный. Лозунг «ничего не надо знать заранее» (Рене). И так, ничего не знать заранее. Путь, конечно, прекрасен и неосуществим, в нем есть секрет, как в заварке чая.

Я единственный на всем его пути писал его. Даже переписал и описывал. В этом что-то древнее, помимо маниакальности моей рапсоды, эпос <миннезингеры> и прочее.

Середина Каспийского моря
Неусловно как.....центр
.....круг
В каюте запахло Сухумом
у старика

Что нужно для этого — насморк. Случайно, чтоб вдруг ощутить Сухуми беспричинно.

Опять гудит проклятый пароход как поезд.

24/IV-1 [Ашхабад]

[Заплаканный]

И даже записывать кощунство.

Мальчики раздевшиеся.

Зеленое поле, верблюды и верблюжонок — это в Ашхабаде, и дорога, вырубленная в скале в Красноводском аэропорту.

Стоило лететь и оставаться даже, чтобы только увидеть, как чистили и выбивали от пыли ковер две туркменки — красная и синяя (синяя и красная туркменки).

А как в первый момент мы ели плов и шашлык на веранде, открытой возле аэродрома, где невдалеке два верблюда, не реагирующие на садящиеся над их горбами самолеты. И Кира к ним бежать не поленилась.

И то, как женщина готовила плов в очаге (выкопанная ямка) и котелок —

До плова оставалось два часа, — но мы не ждали его — уехали в город искать гостиницу и объехали их все, но все оказались занятыми. Вез нас армянин, который имеет знакомых в каждом городе, и он удивился, что как это мы без знакомства надеемся получить тут номер. И я сказал «будем знакомы», и он привез нас обратно в аэропорт. Как раз у Сони (так зовут туркменку) подоспел плов. И мы его ели, несмотря на то, что были сыты. И это был прекрасный плов, который мы запивали зеленым чаем.

Зеленый плов — но не этот плов явится — «воспоминанием об узбекском плове».

И неправдоподобная девочка — неправдоподобно одетая по-национальному.

И как возлежат за столом, и это является удобной позой, и как это красочно.

Сидят на корточках.

Игрушечные дети. Девочки в шароварах и юбках.

— Целый баран, наверно, пошел на шапку.

— А найти такого черного барана не хочешь?

— Их, наверно, специально выводят на шапки.

Как шевелились шапки-клоки в автобусе на неподвижной голове. Все это придает странно величественное.

Туркмен — старик-сапожник под деревом на площади базарной. <Живой> или из сказки о Молле Насреддине?

Конечно, Ашхабад — зрелище безотрадное, если не ставить целью все перерабатывать творчески.

Все жуют мясо. Не все, а женщина за всех — взялась собою дать общий портрет — жующего человека.

Хорошее или плохое — жуют, а ты все принимаешься и прислушиваешься.

Гастрономический максимализм. Жди, и приходит настоящий образ.

Дождь. Дождь с утра. Оплакан Ашхабад. И тот в шапке туркменской. Завитой, выющейся — живая копия портретов ассиро-вавилонских.

Они полулежат — не потому что сибаритство — а потому что низкие дома — отсюда привычка эта.

Дождь. Дождь. И тот же, но теперь оплаканный, аэропорт. Теперь без верблюдов. Грустный, дождливый день.

Но ведь был <толчок> рынок — это нокаутирующее зрелище. Да, был, но лучше его перенести <перенесем> во вчерашний день, когда паслись верблюды. Замшевые верблюды. (Или плюшевые?)

Переносить дни. Соединять их друг с другом — прекрасный произвол. Пусть тот воскресный базар <очутится> окажется в субботу.

<Мы прилетели в субботу>

Мы видим одинокого туркмена, выделяющегося в нашей толпе. Я помню такого в Москве, гордого.

А там все было наоборот. Оказались в толпе туркменов. (Помнишь себя среди воров в толпе — перед объявлением пришедших на свидание в Рустави?¹⁶)

Таким путем возможно перенестись из Ашхабада в Рустави — город на Куре. И вспомнить надпись внутри скрипки «Рустав апо» старики? И рассказать всю историю создания скрипки и таким путем прийти в эпоху Возрождения.

Я что-то забыл, была в чем-то Брэдбериевщина¹⁷.

Великим радостям путешествий сопутствуют мелкие раздражители — эмоции, которые могут все заслонить. История с промокшими ногами.

Нужно быть очень точным. Сейчас улетим в Ташауз.

Дождь — дождь — дождь.

Прощай, заплаканный Ашхабад.

Соня, — до свиданья. Без нас ты будешь подкладывать щепки-лучины...

24/IV. Аэродром.

Когда-нибудь произнесу Аэродром и возникнут два аэродрома — один Красноводский на плоскогорье (на плоской горе) (все время наглядные географические пособия) вплоть до тумана, спустившегося на Красноводский холм.

Скажу Аэродром и вспомню солдата в Красноводске с национальным инструментом, струны на длинной деке, а главное над сферой обтянутой кожей, и захотелось иметь какой-нибудь такой инструмент и пальцем его касаться — не струн, а барабана.

И многое возникает при слове «Аэродром» — если их ограничить двумя среднеазиатскими аэродромами и в Красноводский аэродром войдет вокзал рассветный, два тепловоза с надписью САЖД¹⁸ и слева море...

А как выносилось море навстречу кораблю-парому, как мигали десятки фонарей. И как было плоско и тихо недавно грозившее свирепым ураганом.

И вспомню пароход, как в нем качало — и как можно было не пить.

И розы распускались на глазах в заведении стеклянном возле аэропорта Ашхабада.

Хорошие настоящие матерчатые материцы махровые. Старушка бегаёт, подбирает со столов бутылки и чем-то очень недовольна.

И самолет, и облака. И вновь и вновь прекрасные дети.
И кошка сытая в кафе, и женские коленки со смущенным женским лицом,
заслоненным тремя бутылками пива.
Гулы аэродрома.

1966. Апрель.

....Новелла 1-я из Среднеазиатских. Вот именно этот путь — Тбилиси—Красноводск,
даже без Красноводска.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 11
[Ташауз, Ургенч, Хива: 24 — 28 апреля 1966 г.]

Начата 24/IV.1966 [Самолет Ашхабад—Ташауз]

[Рисунки пустыни] Пустыня-художник

Внизу пустыня. Солончаки (видимо они) образуют причудливые картины —
парашютист — с отчетливо нарисованными стропами. Животные доисторические в
основном.

Горшок с цветком (кактусом). Несущийся конь. Смеющаяся лошадиная морда.
Барсук, сапожок.

А вот как негатив причудливых облаков — отпечатался естественно на песке.
Мертвая пустыня. Когда она живая? Знает ли ее пилот? Что если прыгнуть с
парашютом и переночевать одному наедине с пустыней? Быть может, пустыня —
существо, как женщина-планета в рассказе Брэдбери¹⁹.

Зародыши. И еще животные, как это делал Киплинг с рисунком внутренностей.

Туркмения — откуда твои халаты — может быть, они борьба с пустыней? В
пустыне нет орнаментов твоих на шароварах и носках и панелях ресторана в
аэропорту.

Я вижу только карту сверху. <В> Пасмурный день пустыня отдыхает от себя
раскаленной.

Неужели это тропа верблюжья — эта чинная прямая, а тут она сплелась подобно
венам в бессмысленный для караванов узел? Каменные человечки с острова Пасхи
или еще откуда-то.

Вот так летают и над великой пустыней Гоби в креслах мягких и после об этом
небрежно роняют, не вынимая сигары изо рта в гостинной.

А там внизу — бедуины. Копье и палица. Пингвин и кенгуру. И много оторванных
голов.

А вот ажурная решетка ограды.

Меняются рисунки. Нет однообразия ни в чем, и даже пустыня, если присмотреться,
меняется неуловимо (наверное, так же, как и полюс).

Со всех сторон приходишь к отравным истинам. Что заставляло исследователей
пересекать пустыни?

Рука с шестью лапами.

Пустыня — художник.

Был самолет Ашхабад—Ташауз

Была пустыня под его крылом

Скучный видит одно и то же

.....пустынных равнин

.....пустыня-художник

И с другим ее миг несравним.

Подумать только — я в столовой-ресторане. Усталая женщина, вернее, усталыми движениями включающая свет и вентиляторы в среднеазиатском ресторане Ташауза.

Я нигде не ел такого шашлыка.

Ташауз. Все это и арыки вдоль дороги, конечно, бесконечно <меньше>, чем вотчина Омара Карсанидзе²⁰ — беру вещи, схожие отдаленно.

Пестрый халат, мелькнувший, мелькавший за деревьями — вот образ, наверное, приевшийся в поэзии восточной.

Московский говорок в Ташаузе, как метро в Тбилиси.

Целую пыль и прах обуви, конечно, выражение среднеазиатское.

Дома-усадыбы. — Огромное колесо телеги — есть в этом нечто очень привлекательное.

Может быть, поэтому так безболезненно перенимали мусульманскую культуру в Греми древние грузины²¹.

Халаты, пестрые платки — конечно, только тут ткань является тканью.

Стержень наблюдений: могли остаться в гостинице, и это все осталось бы за бортом.

Мы всегда от всего за пять минут. И сколько же у нас не состоялось.

Кричат ослы не тревожно.

Бараки — гениальные постройки — они учились у ласточек.

Поле, бежит собака к собаке, и дверь, открытая в ханагу²², и горит внутри свеча и что-то освещает. Прекрасно! Но жить ты там бы не хотел. А почему? Значит, прекрасное и «нежилое» — синонимы — вернее, место, где нам бы не хотелось жить.

Опять неточность, вот так нанизываем одну неточность на другую мы потихоньку...

Как надо идти осторожно, чтоб ничего не нарушить...

Арык — вам не в гранит закованная речка. Русло его прихотливо и соединяет в данный момент в моем представлении Голландию с Японией.

А дальше начинается музыка невыразимая: земляные печи и люди. И дома-ханаги.

Последовательность? Но возможна ли тут последовательность...

Слепцы — несчастные.

Гулят голуби, и призрак смерти с косою бродит.

25/IV 1966

Двукрылый самолет Ташауз — Ургенч. Впервые ощущение полета. И кабина с кнопками, которую пилоты не закрыли. И вспоминаешь опять Экзюпери — Икар поэтов.

Это, конечно, зрелище умиротворяющее — лететь невысоко над возделываемыми полями на «кукурузнике»²³. Увы, человечество, освоив поезда — и создав романтику дорог железнодорожных, слишком быстро стало развивать авиацию, и вот эти «кукурузники» — единственные самолеты, на которых возможно ощущение полета и зрелищ... — перестали быть средством связи, уступили всяким ТУ, на которых можно, конечно, видеть великие и грандиозные зрелища облаков, но земля, в общем-то, не участвует в игре...

Дверца «кукурузника» с иллюминатором.

Вспомнить солнечное утро и полет над шумящими тополями. Тихий полет — шум мотора куда-то уходит и остается одно скольжение в голубом.

На одном крыле (видимом). Невидимое не существует. И все надежно. И потом идти опять по полю и летчику говорить приятные вещи по поводу его машины и

оказаться в странных городках с названиями такими, как Ургенч, Хива, Ташауз, Турткуль, Али-Аул, Бируни, Нукус, Чарджоу.

25/IV-66 [Хива]

Никто не взял петушков, все только звездочки и пистолеты в автобусе Ургенч — Хива. Стоило, конечно, не поехать на такси, чтобы увидеть, как заулыбались лица леденцам и как, не глядя щедро, всыпал в шапку мелочь из вывернутых карманов парень, напротив меня сидевший, — и его улыбка.

А этот приспособился к Ургенчу и продает цветные леденцы, не без юмора пересыпая бормотанье узбекскими словами.

И не представляю себе тут плохого человека.

Даже собаки дружелюбны.

И вдруг забрели на базар прямо из караван-сарая в караван-сарай²⁴, и мне нравится пыль — которая мела, мела во все пределы²⁵ базара.

И то, что мне чистит обувь хивинец-узбек у входа опустевшего базара.

Сапожники — носители основ жизни — как и все ремесленники.

По базару шныряют велосипеды, и на ишаках проехали вдаль.

Как все это длить? Какая благоухающая пыль, благоухающая и очищающая тут пыль вместо воды.

Пыль базара Хивского и вообще всей Хивы, которую должны вдыхать всею грудью (во всяком случае, в апреле). Она целебна — как целебны, наверно, грязи.

Двери, двери, двери, двери — симфония — симфония дверей. Резьба их. Никто не помнит, кто и когда их делал.

Вот новая — та куплена, он помнит, в 56 году и пока что простояла 10 лет. А эти двери — никто не знает, кто их смастерил.

Кто изукрасил жилище — под стать ханскому дворцу. Изразцы, изразцы мечетей.

И чайхана, ковры и дерево, растущее внутри, прекрасное огромное дерево.

Здесь привыкли и любят, чтобы дерево росло внутри дома. Родился — и шупаешь его и ползаешь вокруг.

И дерево-столб — тоже живое, конечно дерево — живое по другой статье. Когда мертвое дерево вдруг оживает и живет под резцом резчика и начинает петь, и это, собственно, — загробный мир дерева, его потусторонняя страна.

Итак, почему пыль Хивы благоухает и целебна, во всяком случае, в апреле? Во-первых, потому что эта пыль древности, смешанная с цветеньем акации.

А в чайхане на чай, на голову и на стволы слетали с дерева, чей ствол внутри дома, соцветья.

Не соцветья, а семена в оправе, чтоб оно летело.

Дерево прошло сквозь потолок (потолок пропустил дерево), но кажется, что оно его поддерживает. (Дерево с пятью мощнейшими ответвлениями ствола.)

И три картины одинаковые, с чуть разным расположением предметов в натюрморте. Наивные и <может быть прекрасные>, выказывающие идею «изобилия» в ее ресторанном <выражении>. (Ведерко с шампанским, охлажденное в магазинной упаковке.)

Сыр и пачка сахара, перевязанная лентой, и ваза с фруктами, и сыр ноздреватый швейцарский. И бокал, и фрукты узбекские — все повторяется в каждой, но только чуть передвинуто.

Он сохраняет верность выбранным предметам.

Но он не жалок, он велик, быть может. И, как Матисс²⁶, не признает тени.

На вопрос, кто делал картины, официантка — «Был кто-то десять лет назад».

Центр картины — арбуз с двумя ломтями. — Все парадно и листья у правильного винограда — настоящие.

Пить чай зеленый на ветерочке. Под шумящими тополями — среди узбеков или туркмен, не обращающих на тебя никакого внимания, хотя ты так выделяешься, перед тем как уйти в «древний зной и нежность».

И так легко (рисуетя) и пишется при людях настоящих, не выражающих любопытства. Тут только дети подкрадываются и смотрят из-за спины. И в них есть что-то от «новоарсенальных»²⁷.

Новоарсенальная — будет термин?

Дерево со всех сторон стиснуто асфальтом. Но корни его уходят далеко в глубоководный арык, опоясывающий «заведенье».

Тут мог бы с утра до ночи заседать Гоген, и как же не влюбиться в детей природы, тружеников земли и не наблюдать за всем с радостью и меланхолией. Меланхолией. Да, меланхолией. Запнулся я на этом слове, как пластинка...

А дальше заснули — вычеркнули, провели черной густой краской. Только серпик сверхвосточного месяца и звезды отделяют просвет во сне.

26/IV-66. [Хива]

Утро. Первые лучи солнца на земляной стене крепости. Прохлада. Снова старый город.

Пустой-пустой базар.

Чаепитие с хранителем медресе. Крыша — крыши. (Они иногда мягкие и страшно.)

Голуби — голуби. Голубь на решетке под стеклянной крышей.

И купола крыш, и звук из-под низа. Гулкий, соединяющий этот крытый проход караван-сарая к базару с тбилискими банями, где также слышны голоса моющих женщин и детей. Звуки жизни текут под ними, подобно реке. Я заглянул через крышу и увидел дворик внутренний, что скрыт от глаз, обычно там сидел его хозяин в чем-то теплом, из-под которого выглядывали белые подштанники.

Он был, видимо, болен. И он глядел на одну из стен внутреннего дворика. Тут бедность — сочеталась с чем-то бессмертно прекрасным. И если не обратить внимания, не концентрироваться на бедности и убожестве, то увидишь прислоненные вилы к стене, дающие прекрасную тень, и, конечно, если закрыть на что-то глаза, то только в этом случае увидишь растущие посередине дворика заботливо ухоженные две виноградные подрезанные лозы.

И столб высокий, тщательно орнаментированный. Бедность и искусство. Богатство и злодейство — вот о чем говорят сегодняшние старые дома и история — нежилые дворцы.

Вот мы сидим на крыше в прохладе и фактически ежесекундно теряем столько — что себе и представить невозможно. Вот первое, что тут приходит в голову.

Тут невозможны находки — здесь царство потерь невозвратимых. Тут улочки разветвляются, и пока ты находишься, как кажется тебе на этой, ты теряешь на ста других. А по всем им пройти невозможно, и это <не> в масштабе одной только Хивы, — а мира целого. Где звук тамтама и плеск реки.

Но я увижу звезды над мечетью и полумесяц, и в меня войдет счастье, что этот чуждый мир и чуждое искусство вошли в меня, в состав моей крови, не отдалив от меня ни Европы, ни Византии, ни России, ни Грузии. Я слышу, как в меня вошла та музыка. И я трогаю мысленно струны.

Прощай-прощай, крыша. Я тебя не увижу больше.

Что делать? Что делать?

А за куполом тбилиские женщины моют детей, и мыло попадает им в глаза.

Приехать бы сюда ночью и, например, на той же крыше дожидаться рассвета, глядеть, как постепенно проявлялись бы мечети.

Соединить мечеть в стихе с дорожкой лунной в море.

И пыль..... благоухает
.....мечте
.....возникает
С голубою водою..... мечеть

И нас закрыли в медресе и выпустили...
И вновь поэма земляных домов, дверей непостижимых.
Голуби разговаривают. А голуби гулят, похоже на их инструмент.
И снова пыль благоухает. А иногда это становится плывущими кораблями в море-небе и голуби — чайками, сопровождающими их в пути.

Но где-то, где-то в глубине тревожное ощущение пресыщения.

Вино — село, село — вино.

Побыть и пить не суждено.

Не то что бы тянуло бы к другому, но к другому такому же отсюда.

Неужели исчерпывается Хива, и двое суток было достаточно?

Неправда это. Просто тут включается иное.

Когда вживаешься в Азию, вдруг становится страшно того знания жизни, которое она дает — в ней все светотени. Рядом со зрячими она обязательно дает крупным планом лицо слепого, рядом с богатством — нищету.

С каким достоинством мальчик попросил, да не попросил, а взял редиску и снова за нею приехал...

С горделивой осанкой — скрюченную фигуру калеки. Рядом с пестротой базарной толпы — узкий колодец заключенного.

Включиться в Азию — это ведь во многом по сегодняшним приметам входить в историю, в позавчерашнее столетие, и слышишь стоны заключенных, и вздрагиваешь при виде лобного места, и усмехаешься при слове «правосудие». Трагическое знание жизни (но не истины самой) дает Восток.

Идем ночью по Хиве.

Как по морю, лунная дорожка бежит (за нами) по минарету. И даже, как от карманного фонарика.

Парочка, как во всех странах мира, и вдруг стук палки ночью, и тяжелое дыханье, и торопливые шаркающие шаги.

Все освещалось складовскими фонарями.

Чаепитие с бессменным ночным караулом.

Кяса — пиала.

Тавах — чашка.

...А как тут ухаживают за деревьями и кустами.

И стоят, <облокачиваясь> о лопатку, глядя, как течет вода вкруговую, как спираль на плитке — по тщательно окученным газонам.

И непрерывно маленькие ослики везут повозку, на которой восседает (ног не видно) старик-узбек...

...Земляная крепость — вал с зубчиками крепости. Так просто было на него подняться, а мы не поднялись, так и не увидели открывающегося за ним моря. Верность и Консерватизм — вот наши спутники, ухитряющиеся быть с нами в путешествиях по неизвестному.

Мы проехали по этой улице — и уже ей сохраняем верность. И даже когда мы сворачиваем на другую, это только способ сохранения верности. Уходим от нее, чтобы по ней вернуться.

Вернуться по улице искомой. Консерватизм и верность.

Итак, благодаря консерватизму я не увидел, что было за городской пылающей стеной.

И так и не узналось — что означают те разноцветные тряпки на пучке палок на могилах и возле некоторых домов.

Осколки голубые, голубые осколки. Музей. Кого-то, чей-то.

Невежество — источник отраженья. Я напишу о том, что мне вначале показалось сценой.

То помещение открытое, с высочайшим потолком. Что с того, что я узнаю, допустим, что это называется айваном²⁸?

Разве слова — айван — достаточно, чтобы увидеть не выдавшему это?

Голуби, голуби, вездесущие, как пыль и песок.

А потом пошли со всех сторон эти театры и сцены — открытые. Что ни дом, то театр. Вот только таким путем и возникает слово — айван, или как оно там еще называется. Резной столб в самом захудалом доме — резная дверь, резные ставни.

И войлок цветной и пыльный — плоские крыши.

В последний раз по этим улочкам тишайшим — ночью — мимо стен земляных, пахнущих хлебом (как печки земляные) и на ощупь чем-то схожих с землей и хлебом, — и крепость земляная вся съедобная. Съедобная земляная крепость.

Утро отъезда из Хивы. 28/IV-66 г.

Конечно, пребывание на крыше <мягкой под ногой> — счастливое стечение обстоятельств, так как оно было случайным — нас даже заперли, такое же счастливое, как похождение во дворе, где стоял нагруженный ослик и был старик, и женщина нам подарила облицованную <облицовочную?> плитку.

И нужно что-то написать о плюшевом верблюде на краю базарной площади в повозке — и как он гордо двинулся, пересекая, как высоко он задирал голову — И сколько доброты в глазах его светилось — не знаю, каков его кодекс моральный, <но> в нем нет непримиримости.

Огромные колеса тачек маленьких. И огромные машины с сетками, на которых повисли ключья хлопка, золотящегося в закатных лучах.

Луч заката по земляной стене.

И снова эти голуби, и ночной поход, чуть страшный по нестрашному — мимо могильных склепов с развевающимися тряпками на палках.

Это пресыщение городом. К нему уже необходимо противоядие.

Трудность в том, что уходят не вещи, а состояния, в которых их увидишь. И можно вспомнить вещь и забыть состояние. И вещь перестанет как бы существовать.

Дверь скрипит во дворе гарема и ночью идет с пятью детьми (все девочки) старушка, которая в темноте по росту неразличима от них и тоже кажется девочкой. И кажется, дети идут одни в темноте. Мимо свежесвеженной съедобной крепости, охлаждаемой светом луны. К далеким окнам — огонькам в пустыне...

И пыль не благоухает. Превращение пыли в пыль — самое легкое. А ты попробуй воду превратить в вино! Превратить куропатку — в курицу. Без нас будет наполняться шумом крытый переход базара и, наконец, там, наверху, у купола не будет казаться он шумом Тбилисской серной бани на Майдане.

«Восторг души первоначальный»²⁹ углубляется знанием трагическим и зрелищем печальным.

Так кто же прав — восторгающийся, но к концу приходящий к пресыщению и отвращению? Или с самого начала ни на что не смотрящий, как тот человек в вестибюле, стучащий в домино в Фивах? Что честнее? Почему-то место называлось Фивы? Почему?

Никогда в своих прошлых воплощениях я не был ханом, беком и царем. Я это чувствую, глядя на дворцы.

И мы прощаемся, целую двери и землю хижин.
И снова пыль благоухает.

Летное поле — сейчас прилетит самолет, и мы улетим. И на этом я кончаю 11-ю записную книжку, с тем, чтобы начать 12-ю на самолете Ургенч—Ташкент.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 12

[Ташкент, Душанбе, Вардзобское ущелье, Самарканд: 28 апреля—5 мая 1966 г.]

28/IV 1966 г. [Самолет Ургенч—Ташкент]

Пятнадцать минут полета и снова пустыня. Можно было снова заняться этой игрой на отгадывание ее рисунков. Но мешает марево над пустыней.

Мне кажется, что самолет летит толчками, что он на секунды неподвижно висит в воздухе.

Как жаль, что не поехали в отдаленный колхоз, где из озер рыбаки ловят рыбу. Теперь я знаю, как выглядят хлопковые поля перед посевом.

На горизонте низко облака, как бывают у моря. Но линия горизонта темная — пожалуй, неприятная.

Кира мерзнет над пустыней. Кажется, меня совсем не интересуют города. Мы приземлимся в Ташкенте, и совсем-совсем не интересно выйти в город. Никакой тяги к нему. Может быть, я люблю только Тбилиси?

Отправимся в Душанбе на таком же ИЛ-18, на каком вылетели утром из Красноводска. — Он никогда не будет в моем представлении городом, опаленным солнцем.

Я видел его поздно ночью и на рассвете. Это начиналась Туркмения.

[Душанбе. Окрестности Душанбе]

Надо жить более независимо, более свободно — а ты ставишь свои состояния в зависимость от всяких случайных состояний, близких тебе. Так нельзя.

Необходима независимость именно в этом смысле, независимость, не исключая привязанности и любви. Независимость, которая сродни той высшей внутренней свободе, о которой писал Блок и которой обладал он и очень немногие.

Гостиница «Душанбе» в Душанбе. Ковры в номере полулюкс. Накладное предприятие. Весь комфорт сразу после гостиницы жалкой в Хиве... — Из одного в другое...

Таджики в чайхане с птицей. Тискают ее в рукаве. Блаженство на базаре в чайхане. Мы в обществе <раскрашенных> гигантов. Но размеры видимо ничего не <решают>. Гулливеры и лилипуты — не отличаются друг от друга.

Семья: мужчина, женщина и девочка пьют чай с хлебом. Господи, спасибо за это зрелище.

Зеленый рынок.

Не смотри зло в пространство. Святое слово — закрыто. Принимает товар.

Это тоже Азия Средняя. Рыбозарки в черных котлах.

Узнал о смерти Симона Чиковани³⁰. Ты помнишь этот вечер с Межировым в номере гостиницы и как Симон (как прекрасно звучит это имя!) перебил все эти мудрствования Саши и вдруг ударился в воспоминания.

И воспоминания были одновременно тостом. Откуда он брал силу, уходя в воспоминаниях за тридевять земель, вдруг вспоминать их и <пункт, откуда они были

начаты>, тогда как это уже не помнилось и казалось самоцелью и вдруг он возвращался и — мыслью на прицеле.

Симон Чиковани — настоящий поэт.

Симон и Белла
Белла и Симон

Каждый день — это масло, которое тает на солнце.
Не спи, успеешь поспать в могиле.

Но как ни старайся, не восстановить этот день с <пекущим солнцем>, он промелькнул и канул в транс...

А я не знаю, что «нормальнее», естественней — <наши> или их раскосые глаза.

А в чем секрет того певца слепого — хотя он и не творил, наверно, в буквальном смысле слова — а <излагал> и комментировал. Секрет — вдохновенность — уж не знаю, в чем она проявлялась. Именно она и составляла «творчество» (хотя в данном случае творчество — передача давным-давно сотворенного текста).

Любопытство всюду одинаковое — туркменское, узбекское и таджикское.

И вдруг соединилось: батумские старики в своих неброских пиджачках, сидящие в кофейне на закате, и тут в халатах и платках таджики —

Пенье куропаток.

Типы в черных парах и белоснежных рубахах в чайхане — с теми распространенными <благородно> испитыми рожами, о которых как-то был разговор с Мазуриным³¹. Но ведь первый закон жизни — не быть предвзятым, не поддаваться предубеждению... Ведь, может быть, и даже наверняка, они, в общем, хорошие люди. Эти двое, зашедшие в чайхану.

Но как же тогда быть с «творчеством». Оно основывается, видимо, на подобных предубеждениях? На симпатиях и антипатиях. (Нет, высшее творчество сродни и высшему отношению — они смыкаются. Жизнь и литература (т.е. так опыт жизни говорит одно: не будь предубежденным); одно говорит опыт жизни и другое — творческий порыв — поддайся искушению, соблазну предубежденности, изведай <сладость> безудержной...

Я все решительно забыл, что приходило в голову по дороге — нужно книжку записную буквально держать в руке — единственное средство борьбы со склерозом.

Очень многим Вардзобское ущелье³² соединялось с Грузией.

И горная река неслась, и со всех сторон нас обступали снежные вершины. И маки на обочине дороги. И дети протягивали цветы на продажу мчащимся автомобилям.

И груда камней у реки. И китайскость горного пейзажа.

И лицо Беллы³³, мерещившееся тут, как там — Хемингуэя.

Спи с миром, Симон Чиковани.

И вспомню блаженное свое непонимание в букинистическом <ряду>, где Шура рылся в груде рукописей, и все подходили и подходили типы разные.

Конечно, восточный базар — место для творчества не хуже, чем воспетые кафе.

Прежде всего, тут в чайхане великое собрание лиц перевозанных, шероховатых,

обоженных солнцем. Лиц, соединенных с лицами на возможных картинах. Тогда как наши лица очень редко видятся как портреты.

Лица, лица...

Итак, прощай, базар. Сегодня едем.

И снова снежные горы. Момент, когда текут горы, стоят реки.

Мечты о внутреннем дворике, где-то, но не в Хиве.

Но надо найти место, которое будет говорить: «ты наш», а не: «ты френк».

Улочка в деревушке, и бегают «татарчата» — по типично грузинскому — в тубетейках вместо [сванок].

Черный, подпоясанный ярко-красным в горном селении.

И все это цветное, кричащее, сопливое, нахальное — остановилось у выхода, село и дальше не пошло за нами.

Дверь в мельницу открыта. Чернота внутри.

И каждый камушек виден под водою — это так обычно, но тут все обычное воспринимаешь как чудо, обычное чудо.

Прощай, село Гушары Вардзобского ущелья.

Все эти горные реки — девушки и все — одни.

Несколько неприметных на шоссе дворов — а создались такие улочки — как музыка внутри.

Завороженность. Меня это все завораживает.

Брошенная деревня из-за воды (смытая).

Из ворот выглядывают девочки в ярко-красном, и кругом зеленая трава. И повсюду то ближе, то дальше шумы потоков и доски через них.

Сережки орехов.

Тут нельзя выбирать дороги. Тут можно только кружить, как в буране.

И движутся берега вдоль неподвижной реки.

Бодаются бычки. Напротив сидят в красном на корточках.

А сбоку только асбестовые крыши — ничего примечательного — стоит ли входить в деревню?

Но там... под асбестом... Колыбель туманов.

Хемингуэй писал: мне многое дали импрессионисты, а что — не скажу: тайна. Тайна — когда нет тайны, как с Лагидзе.

И горы мчатся. И я вдруг попал не только туда, где я был, т.е. в Грузию — возле Душанбе на <Памире>, но понял, что в иные моменты там, где я не был, например, Тибет. И эта женщина вдали с одеждой мешковатой из Тибета — И горы фиолетового оттенка, и вдруг впервые в жизни я увидел дымку — строителя пространств. Между двух гор заполнившую ущелье — впервые.

И снова вечная картина: без привязи теленок покорно и понуро за женщиной бредущий под вечер по откосу домой.

Но вереница ослов — особенное.

Душанбе — город-столица без пригородов — сразу начинается «за городом».

Маленький-маленький подал мне букетик, я сказал «спасибо», он покачал головою и сказал «пул» («деньги»). Потом деловито спрятал монетку во внутренний кармашек.

И мне довелось ждать автобуса вместе с таджиками-крестьянами, ехавшими в Душанбе на рынок с мешками этого корня <как его>.

С крутого склона спустилась красавица-корова, черная с белым, с осанкой горделивой.

Пасмурно стало. Ярятся спины реки.

<Так что произошло> в Таджикистане? Мы ели плов или вдыхали только запах плова? Сколько мы видели Памир и все эти названия — Нурек и т.д.

Их называл шофер мне по дороге, как ни странно, рассказывавший об Альметьевске³⁴ — чистом и прекрасном городке, так связанном для меня и Гии с Беллой. Он мог бы не заговорить об этом. Большинство людей связаны друг с другом по каким-либо линиям, но не знают об этом.

Даже при встрече случайной (так двое оживятся, вдруг заговорив о Пастернаке).

Мне жаль крестьян, везущих мешки свои на рынок <с кислятиной>, но если бы они перестали ездить сами продавать, во что превратились бы базары?

Тут базары настоящие — продавцов больше, чем покупателей.

В Душанбе, так же, как и в Ашхабаде, не хватает мне мостов через речку.

В Ашхабаде... Я был в Ашхабаде! Толкучка. (Вспомнить камни среди луж и как к ней подходили мы, переступая с камня на камень, а там вдали уже стояли, сгрудившись, группы).

Ночь в вагоне³⁵.

В пустыне огоньки — как в море <корабли>, стоящие в заливе. А те на вышках — это будто джинны, сошедшие на какой-то праздник в царство ночи и пустыни. Боцман-проводник раздал постели.

И <человек> не отсюда мог бы подумать, что главное в этом царстве — ноги. Ноги босые — мужские и женские, — большие, приспособленные для хождения по этой земле в грубой обуви, смешанные с детскими крохотными и не крохотными.

И тут можно было бы затеять разговор тот давний о ночах и об уродстве и не уродстве. Но что-то во мне изменилось, и я смотрю спокойно.

И вдруг в этом палящем зное маки — они пылающие, уменьшают зной. Мак — лола.

Тут вспоминается: «Что делать нам с убитостью равнин, с протяжным голодом их чуда»³⁶. Что делать с этими необоримыми психологически пространствами? Как преодолевать их? Они, голодные, тебя поглотят. (Что вы пишете? О палящей степи?) О безумии взять и сойти с поезда, пересесть на другой, уехать совсем не туда — А что?.. Трудно достается право на безумие.

Темнело по мере рассвета
Темнело по мере рассвета
По мере рассвета темнело

Там, где Бабель <чувствовал> сюжет, там вдыхал (рассветные ветлы) Платонов.

Распахнулись
<Распрямлялись> крылья сюжета
Крылья осторожные сюжета распрямлялись
После долгого сна распрямив распластав
Осторожные крылья сюжета
Шел по Азии Средней состав
Все темнело по мере рассвета

Можно ли в земле купаться ночью, когда она похожа на море и бурно прожектор выхватывает волны...

Но умеряй восторг
Того гляди... час не ровен
Над шашлыками тлеющих жаровен
Пахнет тебе..... восток.
Юродивый..... под балдахином
И птичья человечья.... речь

Походите по кладбищу, и вы поймете, откуда — все купола и столбы. Увеличенное подобие.

Ликоподобное солнце (Из надписи на медресе Шир-дор³⁷.)

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 13
[Самарканд: 5-7 мая 1966 г.]

Начата 5 мая 1966 г. в гор. Самарканде на территории Регистана³⁸.

Регистан.

Мы боимся нарушать симметрию, они боялись ее соблюдать. Но там, где у них симметрия, — она прекрасна. Напрасно бояться симметрии.

Мы провели утро в медресе Шир-дор (1619—1636 гг.).

Тигрообразные львы. Ликоподобные солнца.

Глазастое чернокудрое солнце. Шир-Дор (Львов имеющая).

Мозаика, а не изразцы?

Поливная глазурь — точно. Купол — глазурированное небо.

Медресе³⁹ Тилля-Кори (1646—1660)⁴⁰.

Внутри там реставрационные мастерские с печами обжига и т.д. (поразительное).

Свобода, свобода (за 1 р. 50 к.) — запищала (большая птица), которую мы выпустили возле Гур Эмира⁴¹. Надо бы дальше как в сказке — он оказался волшебным, этот Майна (австралийский скворец), он улетел, крича, и сразу смешался с птицами другими и стал от них неотличим. Теперь будем думать, что одна из птиц Самарканда наша — выпущенная за 1 р. 50 к.

Все эти птичьи дела у меня настолько закружились в голове, что <изразцы> тоже превратились в птиц и улетели.

Самый «неудачный» выбор может быть счастливым — как скрытый шахматный ход — на вид невзрачный, но под собой таящий очень много. Так и тут.

Но я становлюсь все более и более нервным, я слышу треск мотоцикла, который не должен был бы слышать, и страшно раздражаюсь (о, наконец-то он уехал). И медлительность официанта (о, наконец он соизволил принести). (Между прочим, он *соизволил* принести — стремглав не торопился.)

Конечно, Кира нашла самое непотребное место (удивительно она их отыскивает). Как тогда хотела перейти на ту гору через обрыв, и Шевякова⁴² спросила: «Вы это серьезно, Кира?»

Конечно, эти качества в ней рядом, и одно может заменять другое или одно обслуживает несколько (как автор разных вещей).

Ничем не привлекательная грязь вдруг привлекла <к себе> внимание.

Чернокудрое солнце — вот настоящая поэзия — в этом безумие правды.

<Можно> все, если возможно солнце чернокудрое мудрое.

Во всем должно быть чернокудрое солнце, но в любом выкрутасе внутри свет, тепло, солнце, ясность. В полосатом тигре желтый лев.

Есть особый животный интеллект, и как всякий интеллект он светится — освещает человека изнутри, например, лица и весь облик буфетчиков восточных, жирных и худых.

Вместо «изразцы» говорить — «глазурь» (глаза прищурь, как близорукий шах над царством бирюзовым). Этот близорукий шах⁴³ — так убедительно и точно — это тоже черноволосое солнце.

1966 г. Май [Самарканд. Регистан] [Орнаменты]

Надписи непонятные белым по голубому волнуют — волнует. Надпись-рисунок. Рисунок-надпись-орнамент.

Нет, это не магия, не каббала. Это надпись-рисунок-орнамент белое по голубому.

Белая резная поливная терракота. К черту все эти ученые слова. Но они тоже завораживают, терракота оценивается на рынке слова не ниже платины.

И если вдруг пуститься в царство чистых красок и начать с хаотической последовательностью описывать детали цветовой орнаментов, например, черные круглые точки на выкрутасе, то все это будет, наверное, не видеться, а только звучать, как звуки названий станций — (Акбуллах и т.д.). Да, так я мог бы завершить свои записки, связав конец с началом, но погодите, дайте выбраться отсюда и пройти еще по улочкам самаркандским....

Мне нравятся ритмические перебои прозы⁴⁴. Я чуть напеваю ее, когда пишу. <И она ритмически> петляет, как улочки старинные. Заводит в тупики и переулки.

(С каким удовольствием фотографируются узбеки.

Это чистое искусство, и даже не просят — чтобы им потом прислали отпечатки — достаточно замереть перед объективом и услышать сухой шелчок, и все — что за извращенное наслаждение!)

И это ядовито-зеленое, вокруг которого кирпич не поливной, а за ним голубой и синий.

А купол весь отдан голубому цвету, он весь из квадратиков, но не абсолютно одинаковых, а разных, разных даже не оттенков, а еще меньше бросающихся в глаза различий, чем в понятии оттенка.

(А все же в Азии хочется снимать туфли.)

Но дальше все это сливается в один небесный цвет голубизны.

Май 1966 [Самарканд. Регистан] [Птицы]

А что птицы, как они относились к такому явлению, как публичная казнь? Они не ужасались с высоты? И ничего не значил их крик? Он такой же, как тут, у купола, непостижимо птичий — не вмешивающийся ни во что. (Но есть же китайские легенды о царе птиц или деревьев, которым внятно все).

А где это было, где я был близок понять их щебет или сам защебетать? И тут бы мог из-за деревьев появиться царь этот птичий и повести меня в страну свою, и я бы видел птиц в обличье человечьем и вел бы с ними долгие беседы и, может быть, флиртовал.

И только тот птичий царь в пестром оперном оперенный появлялся. И исчезали б птицы-люди в его стране, он посылал бы их в нашу страну...

Узоры только цветные арабески, если нет, то, значит, плохо я умею голубое соединять с коричневым и черным. — И в белом неизвестна мера и неизвестна мера в голубом.

Восторг при входе и при выходе, восторг под аркой.

Тот длинный и нелепый с тонким лицом еврей, не мывшийся со дня рождения. Его останавливали или он останавливался у дверей самаркандских пошивочных мастерских? Ушел, растворился, ушел в кирпичи поливные?

Его не может быть. Человек без надежды — человек без «повезет». Ничего — никогда. Ни в чем — никак, никогда. Почему? Как все это произошло? Не может выпасть карта в карточной игре. И вся его жалкая ставка. Я не хочу даже знать, чем теплит он свою свечу и какие углы она освещает.

Задворки задворок Самарканда?

Но я не хочу философствовать и <гадать> выводить формулу, где этот неудачник — несчастный.

(А может быть, он не несчастный и... вот это я и называю философией?)

Его невезенье и мое...

Главная величина, которой оперируют. Не хочу. Шахи Зинда⁴⁵ и все — красиво — как полет птицы, от казней отвлеченный. Красивый — но так можно говорить вдаль, когда не видишь перед собой его узоров, и можно пускаться в отвлеченные рассуждения на эти темы? На самом деле надпись белая по голубому полю, о чем бы там она не говорила, — она еще является рисунком, орнаментом. И трепетная суть ее — о том, что жизнь прекрасна, как всегда, — окно тюрьмы не заслоняет прекрасное. Та надпись — ее не может тот слепец увидеть, но он поет о том же...

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты — времени заложник
У вечности в плену⁴⁶.

Но это <не разрешение вопроса>, это не разгадка тайны.

И все-таки какой-то указатель нам дается так и в этом лабиринте.

Идет теплый дождь над Самаркандской областью, он держит меня в плену в доме колхозника, идет дождь, нужный необъятным хлопковым полям.

Из репродуктора пенье, непонятное, непохожее на подпись (белую по голубому). Но вот что-то подлинное.

Как страшна закономерность:

в памятниках прекрасное в обратной пропорции со времени их возникновения. (Пример в Самарканде — Медресе Улугбека⁴⁷.) Причем, как правило, это преимущество не бьющее в глаза, а скрытое, доступное лишь искушенному. Скрытое торжество и незаметность.

Великолепное отсутствие великолепия. И все-таки, как и сегодня, прекрасна эта площадь Регистан с причаленными разноцветными автобусами к стене древней облитой глазурью, сверкающей на солнце с белыми решетками, <выпирающими из> тени.

Черные тени белых решеток.

Кира сверх рубашки, которую она считает светлой, положила свой черный свитер на клетку с птицей. Чуча⁴⁸ не может вынести, чтобы мучилась Чуча.

Как изобразить в скульптуре это черное на рубашке...

Я могу сейчас пойти еще по Самарканду — но ложусь и нарушаю тем первую заповедь: «не спи».

День заполнен до отказа.

Отмахали голубые опахала

6 мая 1966 г.

Дождь в Самарканде — осенний. Кругом из грязи — розы — неправдоподобные, пышные, незаметные.

Дождя нет, но капает в лужах.

Детский плач — международное начало языка.

Библейские бороды белоснежные и чалмы старцев в чайхане колхозной «Красная чайхана». А я уже почти не смотрю, уткнулся в записную книжку. Уже свой гардероб-костюмерная-гримерная, и я могу по собственному произволу создавать сидящих.

Капанье в луже прекратилось, пошел дождь.

Я видел Самарканд в том бесповоротном осеннем угле, который создавался наклоном ствола к панели. Довольно было нескольких минут, чтобы <картина была 2 и 3 месяцев>.

Но и дождь недолго был Самаркандским, потом он был Батумским и Тбилиским.

Сапоги, галифе, защитный китель — вождь умер, но мода его живет.

И снова Биби-ханым⁴⁹.

Если ты почувствуешь внезапно, что насыщен восточной архитектурой — опять приди к развалинам Биби-ханым, и вновь почувствуешь голод.

Орнамент. Ярко-синяя звезда, внутри нее зеленые разводы, очерченные черной каймой, и желтое пятнышко посередине, обведенное коричневым. Синие и голубые (бирюзовые) кирпичи с неокрашенными во всех мыслимых сочетаниях (музыкальных).

И снова белая надпись-орнамент.

Голубой квадрат, в нем синий, в синем разорванный желтый.

И обведенное белым зеленое с желтым внутри.

Красный лепесток розы на земле. Что значит красный, когда в нем столько оттенков красного — от белого до пурпурного.

Желтый квадратик в ярко-зеленом лепестке. На белом фоне обведено синей и затем голубой полоской.

Купол цвета неба, отраженного в спокойной воде.

Уровень художественности народа определяют веники.

Ты помнишь веники Хивы. Цветастое платье по зеленому полю с желтыми цветами.

Длинный коридор гостиницы Дома колхозника «Шарк» и силуэты утренние, галифе, сапоги, тюбетейка и китель сверх безрукавки.

Совершенное блаженнейшее утро, и все вокруг Биби-ханым.

Зеленый мох в расщелинах.

И как только начал понимать и чувствовать узоры, уже надо уходить...

Есть узор в квадрате, есть в треугольнике, есть в звездах правильных шестиугольных и вытянутых, преимущественно ярко-синих с голубыми, желтыми и зелеными разводами и внутри с белым пятнышком.

И есть звезды восьмиконечные и пяти. И есть квадраты и квадратики, и в них узоры в форме лабиринтов и (кроссворды существуют).

А птицы все кружатся и кружатся, и исчезают в щелях стен, с молниеносной быстротой туда влетая.

О сколько тут готовых гнезд, где можно сложить добычу, вывести яйцо, учить птенцов. Но часто выпадают яйца и падают с огромной высоты, и мы находим в траве почти целые скорлупки.

И пень-дупло обгоревший, до того черный и бархатный, поглощающий. И угли эти тоже образовывали свой свод, свою развалину в негативе.

И трава пахнет до того, что чувствуешь себя лошадю.

А в двух шагах за оградой идут троллейбусы, автобусы и близко проходит однокорейный трамвай. Город Самарканд — торговые ряды. И этот длинный призрак выходит из стены и бродит, может быть, вдоль них и сообщает, когда какой-то религиозный праздник состоится. Он это знает от матери своей. И почему я решил, что у него есть мать? Но от кого бы он знал, когда праздники? Не знаю. А чем бы он кормился?

Чинно осматривают крестьяне старину. Их тянет сюда в музей.

И в парке Самаркандском теряешься и молодеешь.

Теряешься, не знаешь, в каком ты городе. Он похож на все виденные тихие города, где люди сидят в кафе неторопливо.

Судя по керамическим сосудам (до нашей эры), чувство линии, которое было у древних гончаров, их фантазия не превзойдена.

Естественная вычурность.

Помимо всего, орнаменты были потребностью.

(Самарканд — Афрасиаб)

Я видел плиту в музее с неизвестного здания Самарканда XIV в. — если бы у меня была такая, я бы ее использовал на столе рабочем. Она повышала бы мое настроение, как тот столик Эрмитажный.

И мы едим пряный хлеб, посыпанный (тмином?), что я купил утром на базаре у бойкой девчонки, вручившей мне сразу 2 хлеба вместо одного...

Минареты выступают в зелени парка. Цветет акация, и есть то, что в детском моем стихотворении называлось узорчатой тенью (Держа в руках узорчатую тень).

Чистая архитектура — игра в пространстве объемами, совмещениями с очень своеобразными представлениями об удобствах.

Сели на так называемый сельский автобус, едем смотреть Ходжа-Ахрар XVII в.⁵⁰

Судя по цинковкам, это все видимо действующее.

Пруд.

И я поднялся по винтовой лестнице и полминуты — зрелище совершеннейшей и вожделенной композиции круглого водоема, который кружит мне голову еще с периода Третьяковской галереи. Полминуты <восторга> рябью пруда с бегущими кругами капель дождя.

Сад и снова неприметные роскошные розы.

И мальчик, подражавший свисту птиц.

И деревня за стеной (невероятная) со звуками деревни и спешащими неторопливо тружениками...

Улочка к мечети. Оказывается, эти круглые водоемы — всюду, где балкон-мечеть (айван-мечеть) и минаретик.

Опостытели мне эти храмы. (Хорошо, что все они музеи.) А в действующих верующие водят кистью масляной краской по колоннам.

Биби-ханым — земля (земляная). Украшенная земля.

Мы не пошли к отцу пастухов, видневшемуся за холмами. Был ветер. Я мог бы придумать, но нельзя. Уйдет доподлинность. Итак, я не шел по неприметной тропинке, пересекаемой муравьями, к Отцу пастухов.

И тип с подушкой, привязанной к голове, с пустым подносом в руках, развевающимся халатом и безумным лицом.

И вата-хлопок на ощупь внутри с камешками-семенами.

Много едят хлеба в Самарканде — в корзинах его везут продавать со всех окрестных сел, и он не успевает остыть, продают горячим и едят с достоинством. Но не было хлеба вкуснее, чем тот, которым угостили в Хиве.

Животные понимают человека и его желания, легонько коснется он упрямого осла и тот послушно повернет направо.

Чистой гостиничной накрахмаленной занавеской закрыт в окно <вид на «грязную развалину» — XIV века>.

Запираемся занавесками.

В чем же смысл путешествий в комфорте? В неудобствах. Комфортабельное неудобство.

Народ в народе. Мастера с угрюмым выражением художников. Люди, создававшие кувшины медные, и эти, которые несут сундучки.

И конечно же, не следует бояться сдабривать все это юмором, написать о таксомоторе и о человеке, нарушившем законы термодинамики, висевшем в уборной в воздухе спиной ко мне, когда я открыл дверь, со спущенными штанами и туловищем витым, подобно восточной колонне.

Одно из высших наслаждений — читать Хемингуэя там, где у него о естественности выпивок, и писать в случайных местах — гостиницах колхозных, посреди базара, в трамвае позднем и под фонарем.

Концовка! Закрылась (захлопнулась) резная деревянная дверь. Мелькнуло лицо все темнее. Мгновение и все. И все-таки хорошо: листья мелькают, ветер.

И зрелище ковров невероятное. Удивительно, как ковер своим узором и окраской отвечает той или иной конструкции и состоянию человека и, кроме того, сам создает эти конструкции и состояния.

(Помнишь случай, приводимый в Лит. Грузии⁵¹ с пловом?).

И движение, которым приоткрывают ковер продавцы перед покупателем. Он так должен быть свернут...

Прощанье с колхозной чайханой в Самарканде. Снова чай на ветерочке. Умирает базар. Умирает. Вершина его была часа 2—3 тому назад. Сейчас резкий спад. Наверное, ковры свернули, и пыль метет там, где они <сияли>.

<Предотъездный> поход по самаркандским улочкам. Что они такое, собственно? Мы так и не узнали. Дома показывали свои геометрические глухие стены, а сами попрятались где-то в глубине.

И я шагал по куполам Шахи Зинды.

Я бегу по куполам (заглавие?) (по голубому).

Купола, купола, купола.

Издали развалины Биби-ханым напоминает виденное где-то. Завтра Бухара — кажется, уже приелось, но печально расставанье с Самаркандом, и волнуешь предвкушением Бухары.

Как будто ничего не было.

Переплетение простых куполов. До свиданья. — Я тебя увижу в Тбилиси.

Все это конечно прекрасно: крыша, поросшая густой травой, купол — словно положенный каменный шлем. Минаретик, тропинка среди травы и еще купол на четырех углах. И над ним еще и еще, и справа, и слева, и вокруг, и нет выхода, и это чудесно, и кругом еще качаются желтые цветы, кричат и пролетают птицы.

А небо, небо я забыл. Я даже не взглянул на него, а оно <было акварелью>.

А небо, небо было акварелью⁵². И облака на нем остановились.

И..... птицы стадом

в.....разбрелись

Холмы. Холмы и вдалеке чуть видный золотится Чапан-Ата (отец пастухов)⁵³.

День, начатый базаром, закатился. Вошли повозки в караван-сарай № 1, № 2, № 3, № 4.

И там есть администратор? Он спрашивает плюс ко всему отчество осла или верблюда!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 14

[Самарканд, Бухара, поезд Ташкент—Красноводск: 8—12 мая 1966 г.]

Начата 8/V-1966 г. Самарканд. На куполах Шахи Зинда. [Бухара]

А там, на одном из серых куполов Шахи Зинда, что-то маленькое, похожее на барашка маленького принца Экзюпери.

Последние лучи солнца сперва на минаретике, потом на остатке купола Биби-ханым.

Невдалеке шоссе, по которому регулярно бегут автобусы — в близлежащие и дальние селенья. (Нет, это не приглашение к путешествию.)

Вокзал. Звезды над составом Ташкент—Самарканд. Была звезда над составом. И вот Бухара то же самое — совсем другое.

Бухара. Веет свободой. Прошелся по улочкам съедобным. Нам здорово все-таки повезло с Хивой — что в нее мы угодили сразу. Там были мы объектами любопытства. Она нас рассматривала, а не мы ее.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ⁵⁴» — восточные мотивы — в общем держатся на чисто

литературной струе. Они, как говорит Барлас⁵⁵, — явление литературы. И все-таки литература удивительными неисповедимыми путями в итоге соприкасается с жизнью. Она ее формирует. Все эти розы и чайханы, конечно, созданы поэтами. А Шаганэ? — ее не было, может быть, ее и не будет. К черту философию, лучше описывай, пока не поздно.

Бухара съедобна на рассвете
Только нужно — первый луч
Аисты летают — что за чудо —
На земле идет 20 век⁵⁶

Тюбетейка повторяет купол.

Конечно, уже не испытать того блаженства — которое мы испытали на развилке двух дорог в Хиве, там, где излучина арыка приютила чайхану.

И наконец, кирпичная <поэма> — мавзолеей Исмаила Самани⁵⁷. Видимо, тут исчерпано все, что можно сделать с кирпичом. И это раз и навсегда сделали в 9—10 веке в этом мавзолее. Сделали и предложили остальным штукатурку. (И он слишком затейлив для 9 в.)

Гнущиеся деревья заглушают, как ковер, топот ветра.

Никто не жалуется на жару, и никто не замечает нехватки кислорода.

Я понимаю, что за этими стенами Бухара — но двинуться не в состоянии.
Я скучаю по грузинским памятникам.

Купается мальчишка в пыли на холмах древней крепостной стены. Купаться пылью.

Конечно, все эти места хороши лишь постольку, поскольку в них пишется — не более. Приятно застыть посередине улочки, отбросив причудливую тень на дом, похожий на марокканский, достать записную книжку и вписать в нее какое-то, неважно, наблюдение, воспоминание, быть может, о полете (с аистом).

Самаркандские Нефертити.

Кажется, советуют так: взять все это, соединить <в некий восточный> в один город. И Хива будет называться иначе. Может быть. Может быть. Во всяком случае, возможность этого <смущает душу>.

Среднеазиатские <проходят> Нефертити
..... пофрантите

Ребром положены кирпичи — шишаки на шлемах-куполах, хорошо, что Бухара кирпичная не облита глазурью, как Самарканд.

Бухара, Бухара, Бухара —
Разве можно было знать утром, что будет ночью. Звезда над узкой улочкой плескалась — < в осколке>.

Круглые иллюминаторы в Земляной стене.

Почему здесь старики красивее всех, красивее молодых, красивее женщин?

По плоским крышам бродит кошка, зияют чернотой ворота входов (ул. Малая).

И улочки похоже непохожи
И ты..... прохожий
Бросаешь тень по улице
проходишь кольцевой

Нет окон на улицу, все в доме обращено вовнутрь. Это настоящая архитектура. И <ощетиниваются> выступают балки ребра. Чем питается дом? Худой ли он?

И розы не говорят нисколько о Востоке, хотя бы им не мешало говорить об этом. Ведь их крайне много. Но они в цене.

Голуби кричат — похоже на завывание ветра в трубе.

Есть люди, оставляющие по себе впечатление (как не от человека, а допустим, от печальной и прекрасной музыки). Например, Юренев⁵⁸, живущий в одном из медресе.

Мы были не только в Бухаре, а я думаю и в Танжере, Марокко, старом Алжире и Тунисе.

А ветер метет и метет с думою о пустыне — он говорит: я здесь ненадолго.

[Поезд Бухара—Красноводск]

Снова звезда над перроном. Оранжевый пояс рассвета (как платок), подпоясанный красным платком, сзади два треугольника свисают. Скинул пояс, и все порозовело.

Что же это было вчера? Теперь придется вспоминать. Каждый миг, был он или не был, — какое это уже имеет значение! Можно ли испытать в воспоминаниях тот же восторг?

Вчера: Все-таки оказались голубые птицы — вернее, черные — голубыми они становились <при определенном> освещении.

Было дерево с дурманящими ветками (пшат⁵⁹). Это обещанное из необещанного: крыша с куполами, залитыми солнцем прощальным, вещие птицы, сидящие в амфитеатре на ступенчатой постройке.

Вдруг — понимаешь, что может тянуть в пустыню, как тянет в Заполярье, <и дело> и не преимущественное <без преимущественное> преимущество. Предпочтение <не предпочтению>.

Обязательно о велосипедах, об этом количестве — и как они выныривали из переулков, пока мы ждали автобуса, который привез «во вчера», потому что вчера это в основном «Чер-Бомор»⁶⁰.

Неуклонность движения на зеленый свет.

Девушка (в красном) в полевом пристанционном вагончике в степи (в лучах насквозь). При всем этом прекрасном — безнадежность (никто тут из-за нее не сойдет).

Станция Душак — граница. Свет закатный.

<Что хуже, то и лучше>

На станции Душак

Как вражеский лазутчик

Волнуется душа.

У стен земляных красные платья туркменок.

Пыль <в копиях> заката и масштабно верблюдов, вокруг него стадо баранов.
Зрелище туркмен захватывает дух. И там, среди пустыни, и тут среди зелени возле границы.

Прекрасные стихи Евтушенко. Светлые, чистые — правдивые. С поэзией антипоэтичности. Евтушенко утвердил и себя, и лицо свое.
Вдохновительное творчество Евтушенко.

Разбаловался я — привык писать в чайханах.

Чем же в Тбилиси буду пополнять записную книжку?

Ежедневные порции, как говорит Гиа, — другое.

Сегодня среди пустыни вдруг старуха в сером. Туркмения. Мне нравятся украшения на твоих женщинах и шапки огромные. Если бы у меня была бы одна такая шапка, — я бы конечно ее не носил, — но прикоснулся к ней, как к талисману, и каждое прикосновение возвращало б <какие-нибудь партии>. Или одну — с того базара. Но, конечно, такой шапке лучше бродить на воле, когда ветер пошевеливает <ее шерсть>.

И снова черное поле — море с огоньками кораблей. Мы замыкаем не круг, а какую-то петлю до Красноводска, а затем все вытягивается в линию одну.

Одни дома — овеваемые ветром, — ни деревца.

Состав — домов. И люди в носках, и бабки, и дети, поезд-город стоит в степи.

Вчерашняя крыша.

Винтовые лестницы-люки. Птицы вспугнутые. Они живут внутри храма. Как не улетела одна. И как хотел смотритель ее погнать, но девочка сказала ему, что там у нее детеныши, <и он сразу перестал ее гнать>.

Минарет сверху. Здорово. Хотя он, конечно, как маяк, рассчитан на то, чтоб озирать его снизу вверх.

Скучнейшие вокзалы.

День сгорел скоропостижно. Выведет что-нибудь потом эта замета — «скучнейшие вокзалы»?

У всех в эти дни на устах Ташкент-Ташкент. Там все еще продолжается землетрясение⁶¹.

12 мая

Безводная степь предрассветная. Словно покрыта изморозью.

Собака спит. Может быть, последний верблюд. А сколько было их, пока мчало в чернильной темноте.

Кусты, похожие на кусты чая.

Костер в степи.

Еле поспекает за семейкой верблюдов человек. Две большие и один маленький черный силуэт, точно вырезанные ножницами в детской игре, где рассматривают в прорезь.

Вдалеке верблюды, похожие на страусов.

<Тюзовский> грим добродушных пиратов. Туркменская мода с бородою.

Я ничего не пишу, потому что не знаю, как выглядят будни, допустим, Бухары в утренний дождливый день. Мне не довелось наблюдать это ни из какого окна. Я не знаю, как блестят там бидоны, но я видел велосипедистов вечером. Однажды, правда, я разговаривал с очень ранней заметальщицей в Красноводске.

И еще по углу дерева, который оно образовало, ощущение, как это все выглядит в Самарканде. Мне довелось видеть очень мало — я очаровывался и пресыщался, пресыщался и очаровывался, в этой перемене было свое постоянство, так как очарования и пресыщения относились к одной и той же привязанности, действовавшей с постоянством магнитной стрелки.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 15

[Поезд Ташкент—Красноводск, Красноводск, Баку: 12—14 мая 1966 г.]

Начата 12/V 1966 г. в поезде Ташкент—Красноводск [Красноводск]

Мне нужно как следует обдумать все это мое раскачивание от очарования к пресыщению. Тут мне представляется целая философская система.

В конечном счете записная книжка оказывается сводом будущих удачных мест. — А Хемингуэй советовал оценить достоинство вещи количеством удачных мест, которые можно выбросить из вещи без ущерба. Опускаю все эпитеты по этому поводу.

До чего же «подробны» туркменки — начиная от платков, которые не просто обвязывают голову, а образуют сооружение, и все эти системы соединены друг с другом.

Это так глубоко с цитатой Хемингуэя насчет удачных мест. Точно камень, брошенный в колодец темный, летевший, но звука падения нет. Колодец с чернотой — в него бросаешь камень, но не слышишь звука — он все летит. Но слово "колодец" вдруг вызывает воспоминание о сухумском колодце со светотенью (как на моей же фотографии).

В жизни не пил более пьяной водки (100 градусов), чем в Красноводске. Приезжайте специально за этими 100 градусами в Красноводск. В других местах она безалкогольная.

Можно сказать, что это еще не прошло, а уже вступило в силу. «Ты помнишь?» «Ты помнишь?»

— Все забыл.

Я никогда не слышал подобной тишины (слушать тишину!), как в порту Красноводска, не таявшей в зное.

А туркмены, наверно, переняли эту штуку у баранов и ходят по солнцепеку в огромных меховых черных и белых шапках.

Но как эти совсем крохи, только что родившиеся, 2—3-х дневные, шныряют по пустыням, где негде укрыться, — уму непостижимо.

Как хорошо, что мы свернули с бульвара, и оказалось, что это то ли Тамань⁶², то ли что-то по Грину⁶³ — старые дома и дворы.

Я не знаю ничего красивее Красноводска, только нужно дожидаться <вечера>, когда будут отбрасываться тени.

Скалы Красноводска — их черное и красное мерцанье.

13/V 1966 г.

Пока я сидел и писал в каюте, за толстыми стеклами лежало море (похожее на озеро) — я подсознательно продолжал о нем думать. — «Зачем оно мне нужно?» Чтобы оправдать свое невнимание к нему и то, что я проспал момент, когда буквально из себя выпускало солнце.

И я думал: «К чему оно может мне пригодиться?» И это было так, потому что пока я не глядел на него, оно было без подробностей и было не нужно. Но потом я вышел на палубу, увидел еле намеченные розовые облака, понял, что море подробно и мне «пригодится» ветер, гуляющий по палубе, вспененная вода, под которой непотревоженная глубина и мираж земли в открытом море, как вода в «открытой» земле. <Меня не устраивало>, почему они настойчиво называют парход или теплоход — паромом и поездку по морю — переправой.

Нужно каждый раз, слушая крик куропатки, представлять себе то ущелье, полное цветов с кричащими куропатками.

Какое <нахальство> — писать о городке, в котором пробыл часов десять, — я говорю о Красноводске. В нем два полюса — один из них Тамань, другой Зурбаган, переживший коллективизацию. Он имеет все те же черты портового города.

Хемингуэй оставил даже не книги, он оставил после себя — себя. Мы буквально входили в него.

Бакинцы имеют перед собой зрелище моря-не моря. Оно совсем не парадное — <имеет вид> товарной станции.

Баку как бы умылся, снял с себя все грехи, очистился старыми улочками.

В Баку запомнилось эпическое зрелище: бабы в саду, меланхолически коловшие сахар. Его подают в блюдечках, а сам чай в винных пузатых стаканчиках⁶⁴.

Куропатка с выщипанной шеей в Орджоникидзебаде⁶⁵ и тот тип, ее хозяин, не давший ее покормить. В белом халате он жарил пирожки (вернее не он, а малыш), а он подходил к тени, где висела его куропатка.

Когда прерывали певца слепого (он даже сам прерывал пение, слыша, что кто-то подходит) — он принимал подавание и продолжал с того слова, с которого остановился. Так вот это не мешало песне, но как бы входило в нее, придавало ей дополнительное художественное воздействие.

И мальчик плакал рядом с ним, наверное, один из тех, что шел со знаменем мимо чайханы.

И сколько там ни бежит полей за окном, они не вливаются в меня, бегут мимо, я <не в состоянии уже вмещать>.

И только цветенье граната

И только <цветенье> граната

Живой — чистый — словно уже очищенный смертью.
Символы жизни — символы смерти. Все может быть символом смерти.

(Конец записей о поездке в Среднюю Азию).

[Средняя Азия — должна уйти, остаться должно только состояние. Вещь — состояние — это особая категория не вещи объективной — а объективной вещи — тебя. Ваше взаимное.]

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. об этом в: *Нерлер П.* Этюды о Владельце Шарманки. Александр Цыбулевский и художественный перевод // Дружба народов. 2016. № 5. С.235—252.

² Гоги (Георгий) Антелава — близкий друг и коллега А.Ц. по Институту востоковедения АН Груз. СССР.

³ Лия Лолуа, коллега А.Ц. по Институту востоковедения (сообщено Г.Антелавой).

⁴ Зданевич Кирилл Михайлович (1892—1969) — грузинский художник, вместе со старшим братом Ильей Зданевичем и М.В. Ле Дантю (1891—1917) открывший Н.Пиросмани.

⁵ Недорогое кахетинское сухое вино.

⁶ Ассоциация со строкой из стихотворения А.Межирова «Верийский спуск в снегу...»: «Курдянка-девочка с отчаяньем во взгляде». Джуна — целительница Джуна Давиташвили: одно время она работала в кафе «Метро» официанткой.

⁷ Маргвелашвили Георгий (Гия) Георгиевич (1923—1989) — критик, литературовед, доктор филологических наук, ближайший друг А.Ц.

⁸ Евгения (Женя, Жека) Вольфензон — жила в семье зятя.

⁹ Гвахария Александр (1929—2002) — друг и коллега А.Ц. по Институту востоковедения АН Груз. ССР, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН Грузии.

¹⁰ Дворик во дворце Ширваншахов (см. ниже).

¹¹ Дворец правителей Ширвана, построенный в Баку в XV в.

¹² Город в Туркмении на берегу Каспийского моря (совр. Туркменбаши).

¹³ Сорт хорошего чешского пива.

¹⁴ Старинный магазин фруктовых вод на проспекте Руставели в Тбилиси, своего рода бренд города. Не посчитавшись с этим, магазин Лагидзе закрыли: теперь там магазин детской одежды.

¹⁵ Регистрация билета при помощи компостера, т.е. посредством пробивания дырочек в билете.

¹⁶ Аллюзия пребывания в Руставской тюрьме в 1940-е гг.

¹⁷ От писателя-фантаста Рея Брэдбери.

¹⁸ Средне-Азиатская железная дорога.

¹⁹ Имеется в виду рассказ Рея Брэдбери «Здесь могут водиться тигры».

²⁰ Неустановленное лицо.

²¹ Имеются в виду мусульманские орнаменты в комплексе Греми.

²² Ханага — дом для дервишей в Персии. В Грузии использовалось в значении «гостиница».

²³ Двухмоторные самолеты АН-2П, способные перевозить до 10 пассажиров.

²⁴ Гостиница для постоя торговых караванов.

²⁵ Аллюзия к стихотворению Б.Пастернака «Зимняя ночь» из романа «Доктор Живаго» («Мело, мело по всей земле, во все пределы...»).

²⁶ Анри Матисс (1869—1954) — французский художник, лидер группы фовистов с их тягой к огрубляющей генерализации и отказом от светотени и линейной перспективы.

²⁷ От Новоарсенальной улицы в Тбилиси, на которой, по-видимому, прошло детство А.Ц.

²⁸ В среднеазиатских жилищах, мечетях и др. — терраса с плоской крышей, поддерживаемой колоннами или столбами. Также сводчатое помещение, открытое с одной стороны во внутренний двор.

²⁹ Из стихотворения А.Блока «Все это было, было, было...», 1909 г.

³⁰ С.И.Чиковани умер 24 апреля 1966 г. Похоронен на Мтацминде.

³¹ Мазурин Гоги — близкий друг А.Ц., художник и поэт, работал в газете «Заря Востока».

³² Ущелье реки Вардзоб на юго-востоке Таджикистана.

³³ Ахмадулиной.

³⁴ Город нефтяников в Татарии. Б.Ахмадулина побывала в нем в 1960-е гг.

- ³⁵ Здесь и далее ср. с прозой «Шарк-шарк» (Цыбулевский А. Владелец Шарманки. Тбилиси, 1973. С.257).
- ³⁶ Цитата из «Воронежских стихов» О.Мандельштама.
- ³⁷ Букв.: «медресе со львами». Медресе XVII в. на площади Регистан в Самарканде.
- ³⁸ Площадь в Самарканде, на которой находится уникальный архитектурный ансамбль XV—XVII вв. — медресе Улугбека, Ширдор и Гилля-Кари.
- ³⁹ Мусульманское учебное заведение (школа и духовная семинария) с отдельным обучением.
- ⁴⁰ Медресе XVII в. на площади Регистан в Самарканде.
- ⁴¹ Мавзолей Тамерлана и его семьи в Самарканде. Воздвигнут в 1404 г.
- ⁴² Шевякова (Шербатова-Шевякова) Татьяна Сергеевна (1905—2000) — искусствовед и художник-копиист, в 1936—1987 гг. жила и работала в Тбилиси.
- ⁴³ Ср. у О.Мандельштама в стихотворении «Лазурь да глина...» (1930).
- ⁴⁴ Ср. у О.Мандельштама в статье «Читая Палласа» (1932).
- ⁴⁵ Шахи Зинд — памятник средневековой архитектуры в Самарканде, ансамбль мавзолеев самаркандской знати.
- ⁴⁶ Из стихотворения Б.Пастернака «Ночь».
- ⁴⁷ Медресе на пл. Регистан в центре Самарканда. Возведено в XV в. ученым-астрономом Улугбеком.
- ⁴⁸ Ласковое прозвище Кыры.
- ⁴⁹ Соборная мечеть в Самарканде.
- ⁵⁰ Ансамбль культовых, духовно-просветительских и мемориальных сооружений на окраине Самарканда. Создавался в XV—XVII вв. с последующими достройками. Название связано с именем религиозного и государственного деятеля Мавераннахра шейха Насыр ад-дина Убайдаллаха ибн Махмуда Шаши, известного под именем Ходжи Ахрара Вали. Его усыпальница, расположенная в пределах ансамбля, — одна из почитаемых исламских святынь.
- ⁵¹ «Литературная Грузия», журнал, выходящий в Тбилиси.
- ⁵² Ср. у О.Мандельштама «О небо, небо, ты мне будешь снится...»
- ⁵³ Мазар Чупан-ата (XV в.) расположен к северо-востоку от Самарканда. Культ Чупан-ата («Отца пастухов») был издавна почитаем среди скотоводов.
- ⁵⁴ Из одноименного стихотворения С.Есенина.
- ⁵⁵ Геолог и литературовед критик Владимир Яковлевич Барлас (1920—1982), автор книги «Глазами поэзии. Об открытиях искусства и современных поэтах» (2-е изд. М: Советский писатель, 1986).
- ⁵⁶ Мотив, использованный в повести «Шарк-шарк» (Цыбулевский А. Владелец Шарманки. Тбилиси, 1973. С.257).
- ⁵⁷ Абу Ибрагим Исмаил ибн Ахмад Самани (849—907) — эмир и халиф Мевераннахра, основатель государства саманидов.
- ⁵⁸ Юренев Сергей Николаевич (1896—1973), археолог, искусствовед, сиделец (выпущен в 1951). Исламовед, историк, этнограф, специалист по муз. этнографии (особенно чувашским песням); впоследствии исследователь архитектуры и материальной культуры Ср. Азии. Жил в Бухаре (см.: <http://www.domarchive.ru/gallery/urenev/5410>).
- ⁵⁹ Высокий дикорастущий кустарник, плоды которого используются в народной медицине.
- ⁶⁰ Предположительно, населенный пункт по пути.
- ⁶¹ Катастрофическое землетрясение магнитудой в 5 баллов, произошедшее рано утром 26 апреля 1966 года в Ташкенте.
- ⁶² Город на Таманском полуострове на берегу Керченского пролива, ассоциирующийся, благодаря повести «Тамань» М.Ю.Лермонтова, с контрабандистами.
- ⁶³ Имеется в виду проза А.С.Грина с ее фантастическими гаванями Лисс или Зурбаган.
- ⁶⁴ Эти стаканчики грушевидной формы, армуды, удерживают температуру жидкости: в Азербайджане — это специальные сосуды именно для чая. Но в Грузии из таких охотно пили вино. «Чайными» же в Грузии считались 200-граммовые граненые стаканы, из которых, впрочем, тоже охотно пили вино.
- ⁶⁵ Город в Таджикистане (совр. Вахдат).

Ольга Балла

Между совестью и отечеством

Леонидас ДОНКИС, Томас ВЕНЦЛОВА. **Поиски оптимизма в пессимистические времена: Предчувствия и пророчества Восточной Европы / Пер. с лит. Г.Ефремова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. — 160 с.**

«В наши дни все, — говорит один из участников этого диалога, философ и политический мыслитель Леонидас Донкис (1962—2016) своему собеседнику, поэту, филологу и правозащитнику Томасу Венцлове, — любая откровенная книга, будь то мемуары или диалоги с другом и коллегой, неизбежно становится данью так называемой исповедальной литературе (*confessional literature*). Тут я надеюсь избежать этой дани и не платить ее, поскольку, с одной стороны, партнер по диалогу мне более интересен, чем собственная биография и переживания; с другой стороны, предложенный мной объект разговора слишком важен и многозначен, чтобы мы измеряли его только собой...»

О да, предмет разговора существенно превосходит личные обстоятельства (и наши тоже). Но это, действительно, откровенная книга, и сказанное в ней основано прежде всего на собственном опыте собеседников, на опыте их личного исторического участия.

Диалог философа и поэта — не о политике, хотя книга дает основания к тому, чтобы быть прочитанной именно так, и многими, пожалуй, так и будет прочитана. А иными — еще и с обидой, поскольку о нашем отечестве в его нынешнем состоянии здесь сказано немало жесткого. Утешьтесь, недовольные, хотя бы тем, что авторы говорят много беспощадного и в отношении собственных представлений и ценностей (а это — классические либеральные ценности), которые наши «пессимистические времена» также подвергают изрядным испытаниям, — о чем еще будет сказано.

Речь идет о корнях политики, о том, что ей предшествует и лежит в ее основе: о чувстве себя в истории и об этическом выборе. О самой структуре такого выбора — в той ситуации, когда человек, в силу чего бы то ни было, не может принять политику того государства, к которому волею судеб относится. Когда он не готов с нею отождествляться — и вместе с тем не хочет и не находит оснований отказываться от страны, народа, культуры, с которыми он вырос, которым он обязан самим собой — и к которым это государство теперь себя без остатка приравнивает. Так и хочется сказать — которые оно узурпирует. Однако, увы, и тут тоже не все так просто, поскольку с неприемлемым для тебя государством или с его неприемлемой для тебя политикой могут быть очень даже согласны многие твои соотечественники, более того — многие из тех, кого ты искренне чувствуешь своими, всю жизнь их такими чувствовал. И еще труднее того: ты не перестаешь их чувствовать своими и близкими, хотя согласиться с их выбором по-прежнему не можешь, потому что он противоречит твоим ценностям, твоим представлениям о справедливости и правде.

Вот что делать в такой ситуации?

Речь, значит, идет о границе, которая проходит между родиной и государством, о принципах проведения этой границы. О природе «своего» и связей человека с этим «своим». И о сущности патриотизма: «что делать, если невозможно оставаться патриотом страны, не признающей ни свободы, ни совести?» (Стоп: а что, «страна» и «государство» — это все-таки одно и то же? Неужели?)

Иными словами, жестче: «будешь ли ты защищать свою страну, если она преступит законы человечности или надругается над твоими ценностями»? Возможен ли в такой ситуации вообще безошибочный выбор, не сопряженный с внутренней катастрофой того или иного масштаба?

Проблема, как вы понимаете, совершенно общечеловеческая, перед нею может оказаться кто угодно. Она не такая уж исключительно русская, как полагают сами авторы книги, обращая на это внимание в самом начале. «О русском интеллигенте иногда говорят, — пишет Донскис, — что у него только один выбор — изменить либо своей совести, либо родине.» (Ну, то есть русская родина противна совести всегда?) И тут же снова повторяет: «Это — моральная дилемма прежде всего русской интеллигенции», хотя и делает оговорку: «...но я вряд ли ошибусь, если скажу, что при начертании интеллектуальной и моральной европейской карты в зону Восточной Европы попали страны, в которых до сих пор актуален выбор между совестью и отчизной». «Счастливы те страны, — добавляет он, — где эта дилемма исчезает и людям приходится просто выбирать то или иное моральное и политическое поведение». Конечно, только вот ничто не гарантирует, что в этих ныне счастливых странах, даже если они находятся в западной части европейского континента, завтра все не обернется совсем иначе.

Наши пессимистические времена, как уже было замечено, не обделили испытаниями и ценности самих авторов (то есть в каком-то смысле — их духовную родину, их внутреннюю опору). Дело в том, что крушение коммунизма, на которое возлагалось столько надежд, ради которого было приложено столько усилий, тоже привело не совсем (совсем не?) к тем результатам, которые вполне уверенно предвиделись.

Вдруг оказалось, что свержение коммунистической идеократии вовсе не привело к немедленному и повсеместному торжеству ценностей свободы, равенства, братства и справедливости. Напротив того, повсеместно, а в бывших социалистических странах, в том числе и в родной для авторов Литве, — особенно, начался такой рост ксенофобских, изоляционистских, агрессивных-националистических настроений, такое социальное расслоение, такая бесчеловечность, каких прежде не видывали и в страшных снах. Вдруг оказалось, что даже рыночная экономика совсем не означает с непеременимостью демократии и прекрасно способна функционировать и без нее. А кое-где — хотя этого уж точно никто не ожидал — попросту «победили реваншистские, фашизоидные либо откровенно фашистские силы» (нет, не только в той стране, о которой авторы говорят это в первую очередь). Теперь надо думать, что с этим делать. И нет ли противоречий внутри прежних либеральных представлений об устройстве мира и человека?

Вообще-то на те вопросы, с которых начинался разговор, Донскис и Венцлова не дают таких ответов, которые снимали бы все напряжения и противоречия. Ответ, который они предлагают, скорее стоический: не то чтобы утешающий, но взывающий к внутренним силам тех, кто в ответе нуждается. И произносит этот ответ Томас Венцлова, специалист, среди прочего, по родной нам русской словесности. Он формулирует его словами расстрелянного чекистами Николая Гумилёва:

«Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо».

То есть — делать, что считаешь должным, и принимать последствия, которые этим будут вызваны.

В этом и заключается, как можно понять, источник оптимизма пессимистических времен: ты можешь знать, на что опираться.

Как и было сказано — книга откровенная, то есть личная и пристрастная: авторы и не думают скрывать, что смотрят на проблему изнутри родного им региона — «назовем его центральноевропейским востоком». Они ничуть не идеализируют Литву, свою «европейскую околицу», они прекрасно видят, что у нее есть реальная опасность остаться «изолированным, заштатным, озлобившимся захолустьем, лелеющим «самовитые ценности» (а на деле — закрытость и возмутительную отсталость)». Такую опасность они усматривают, впрочем, у всех стран «востока Центральной Европы», хотя и признают, что «непросто установить границы этой зоны». Вообще, в моделировании, предлагаемом Донскисом и Венцловой, у Европы явно есть более и менее «европейские» области — в каком-то смысле она бывает как более, так и менее «настоящей». «Мы тоже, — признает Венцлова, имея в виду литовцев, — часто вынуждены выбирать между совестью и отечеством, и этот выбор бывает особенно драматическим (в «настоящей», то есть Западной Европе, он несколько легче). Но лишь тот, кто выбирает совесть, может принести пользу родине.»

То есть, выходит, «настоящая» Европа — та, что более качественна в этическом отношении. Из этого — из качественной этики — следует, в представлении Венцловы (надо думать, и его собеседника), в конечном счете, все остальное.

Европа — явление этическое.

Легче ли выбор между отечеством и совестью для жителей западных стран — право, стоило бы узнать у них. Для русского же читателя беда в другом.

Авторы всерьез видят в нынешней России угрозу своей родине и всерьез находят возможным, что война придет в Польшу и Литву, — вы понимаете, по чьей вине. Должна признаться — это невозможно читать без отчаянного внутреннего сопротивления, даже будучи солидарной с исходными ценностями авторов и категорически не принимая того, из-за чего прогнозируемые ими исторические перспективы представляются вероятными.

Потому что, видите ли, как гласит знаменитая фраза, *this is my country, right or wrong*. Леонидас Донскис — и не он один — называет ее «формулой имперского патриотизма». И в своем роде он прав — злосчастная фраза в самом деле устойчиво таковою служит, предполагая простейшее толкование: раз, мол, свое — в любом случае буду защищать. Неважно, мол, «права» или нет, не в том вообще дело. Донскис, правда, обращает внимание на то, что у нее есть и иное, куда более конструктивное толкование: «...эту напыщенную формулу имперского патриотизма в 1872 году впечатляюще применил рожденный в Германии патриот США, герой гражданской войны, генерал и сенатор Карл Шурц. Услышав слова другого сенатора об отчизне, «неважно, права она или нет», Шурц заметил, что может и сам повторить эту фразу о своей стране — великой Американской Республике. И тут же прибавил: «Права или нет, это — моя страна; если она права, надо сберечь ее такой; а если нет — исправить ее» (*my country, right or wrong; if right, to be kept right; and if wrong, to be set right*). В таком случае фраза приобретает совсем другое значение и становится «формулой критического или гражданского патриотизма». Теперь она — о конструктивной ответственности.

Мне же эта фраза издавна чувствуется формулой, скорее, патриотизма катастрофического. (Травматического? Трагического?) (Словами того же Донскиса: «А что делать, если исправить родину, увы, невозможно? Если она не поддается исправлению?» Уточню: если я не вижу путей к исправлению ее лично моими силами?) Окажется моя страна правой или нет, она всегда — моя страна, она не сможет стать мне чужой: и ее правота, и ее неправота в любом случае будут иметь отношение ко мне, пройдут через меня, я всегда буду за нее ответственной, даже если не знаю, как этой

ответственности соответствовать; от того, в чем я чувствую ее неправоту, мне всегда будет больно, не может не быть, даже если я эту неправоту не выбирала и не согласна с нею. И средств для снятия этой боли не существует. Ее остается только принимать.

Может быть, это — о признании пределов человеческих возможностей, пределов, которые, парадоксальным (ли?) образом, не отменяют ответственности.

Ловишь себя на мысли: в каком-то смысле, авторам хорошо рассуждать — они видят себя принадлежащими к той человеческой общности, которая в своей основе, в своем существе права, если угодно, права априори, даже когда вдруг, в силу чего бы то ни было, неправа ситуативно. Этой глубинной, коренной правотой они чувствуют себя защищенными. «Мы, — пишет Венцлова, — Европа, ее судьба — это наша судьба. Если Европа делает что-то не по нашему вкусу (пусть с целью тактического компромисса), не будем считать, что мы непременно умнее и прозорливее. Верю, что ценности свободы и демократии — это плоть и кровь Европы: то, что она впитывала веками, крайне трудно уничтожить».

Думаешь в ответ: а мне-то кажется, что ценности свободы и демократии силою берутся — и усилием же постоянно, ежедневно поддерживаются. У Венцловы же выходит как-то так, что они в некотором смысле гарантированы — что в Европе наработана своего рода инерция, которая их надежно воспроизводит.

«Если мы оказались на линии фронта (а это, видимо, так), примем как данность: в окопах важны дисциплина, внимание и терпение, а также спокойное, не замутненное амбициями доверие к союзникам, особенно тем, кто прикрывает наши фланги».

Они будут отстреливаться. У них прикрыты фланги. А по другую (по эту!) сторону линии фронта обнаруживает себя тот, для кого невыносимо, невыносимо быть врагом этим людям. А рядом, наверно, готовятся отстреливаться в ответ те, с кем он (ты!) связан всей доселе состоявшейся жизнью. В них (в тебя!) полетят пули. Кто прикрывает их фланги?

Тот, кто видит себя неотменимо принадлежащим к общности, которая неправа, всего лишь более одинок. Всего лишь. Ему просто труднее.

Осторожно, обжигаясь, пробуешь фразу на вкус — но только с местоимением в единственном числе, так честнее: я — Россия, ее судьба — это моя судьба... нет, невозможно, как-то стыдно произнести такую декларацию. Она застревает в горле: как ни оберни ее, а все равно звучит напыщенно, имперски, в конечном счете — фальшиво. Разве только вот это оставить, последнее: ее судьба — это моя судьба. Да, это ближе. Но только молча.

Разделить можно только боль, поражение, вину, стыд. Вот это — да, это можно разделить смело.

Кстати, у одного из соавторов книги, Томаса Венцловы, отдавшего в свое время много сил правозащитному движению, есть серьезный и достойный внимания опыт растождествления с тем государством, в котором он (сын, к слову говоря, советского, обласканного властью поэта Антанаса Венцловы) родился и был воспитан, — с социалистической, советской Литвой. Со всем социалистическим и советским он растождествился безусловно — но никогда и не мыслил отказываться от Литвы, переставать быть литовцем, жить литовской жизнью. Даже переселившись на другой континент, он и по сей день уверен, что, в сущности, никуда и не уезжал.

Так вот, это можно сделать, и не уезжая. Тем более, что «лишь тот, кто выбирает совесть, может принести пользу родине». Категорически да.

Не бояться и делать, что надо.

Елена Елагина

«Этот день мы приближали, как могли...»

Этот сборник не мог не появиться. Сам майский воздух последних лет с его многомиллионным «Бессмертным полком», идущим победным маршем по улицам и площадям страны 9 мая, настаивал на его появлении. И вот перед нами — «Бронепоезд Победы». Почти четыреста страниц стихов о Великой Отечественной. Яркая обложка, на которой фронтально наезжает на читателя «лицо» паровоза, увитое праздничной гирляндой, с плакатными датами «1941—1945» и красными флагами Победы. И название замечательное, и обложка многоговорящая, и стихи, стихи, стихи, почти четыреста страниц обжигающих строк... Тех, что у всех на слуху, знакомых с детства и совсем незнакомых, прочитанных впервые, за что отдельное спасибо.

В сборнике четыре раздела. Это стихи поэтов, павших на войне, стихи участников войны, стихи тех, кто детьми пережил эти страшные годы, и стихи тех, кто родился уже после войны, но впитал в себя историческую память о ней. Очень точные названия разделов — разумеется, строками поэтов: «Если я не вернусь, дорогая...», «Дым войны, что в душу мне проник...», «Я юностью связан с войною...», «Войны не знали мы, и всё же...».

Говорить о художественной ценности и значимости собственно для истории русской поэзии этих стихов (особенно

первых двух разделов), судить их по стиховедческим нормам и меркам как-то неловко, почти кощунственно. Тем более, что сам составитель сказал об их отборе просто, по-военному: «Наверное, как в хорошем военкомате: если художественно годен, становись в строй. Невзирая на происхождение, подробности биографии и т.д.» И вот в одном строю оказались и самые громкие имена, давно бесспорные классики советской литературы (достаточно назвать Константина Симонова, Александра Твардовского, Ольгу Берггольц, Илью Эренбурга, Анну Ахматову, Бориса Пастернака, Бориса Слуцкого, Давида Самойлова, Самуила Маршака, Николая Заболоцкого, Арсения Тарковского, Александра Володина и далее) в соседстве с малоизвестными, а то и совсем неизвестными широкой публике именами. В предисловии Сергей Дмитренко сетует, что так же, как не похоронены еще все солдаты, павшие в боях за нашу с вами Родину, корпус стихов о Великой Отечественной еще далеко не полон, остались не найденными и не собранными те публикации, которые украсили бы грядущие антологии: «...много остаётся затерянным в периодике, в малотиражных изданиях». И тут же как человек дела, причем дела большого и благородного, даёт адрес, по которому можно присылать сохранившиеся тексты: ragovoz-srp@mail.ru. Это воззвание ко всем, кому дорога наша историческая память.

Любая антология — неразрывный портрет-триптих: портрет коллективного автора, портрет эпохи и портрет составителя. Поскольку два первых портрета

«Бронепоезд Победы»: Стихотворения русских поэтов о Великой Отечественной войне (1941—1945—2015) / Автор-составитель С.Ф.Дмитренко. — М.: Союз российских писателей, 2016.

нам хорошо и давно знакомы, хотя каждый раз с дрожью и болью прикасаемся к ним как бы заново, остановимся на третьем. Во-первых, поблагодарим Сергея Дмитренко за этот немалый труд, воспринимаемый, я думаю, и самим составителем, и тем более нами, как высокая миссия. Во-вторых, отметим предельную и одновременно корректную логику конструкции книги. В каждом разделе авторы идут по годам рождения, а если они неизвестны, то по алфавиту. В-третьих, нельзя не отметить, что каждая публикация снабжена весьма сжатой, но многоговорящей справкой об авторе. И читаются они с неменьшим эмоциональным откликом, чем сами стихи. В первом разделе и вовсе всякий раз сжимается сердце, и комок в горле, когда доходишь до слов «убит», «скончался от ран», «погиб, спасая товарища»... Приведу лишь пару фраз из предварительной справки к стихам Леонида Розенберга: «Его стихи, посылаемые с фронта, сохранила мать Мария Михайловна. Погиб в бою во время освобождения Латвии». Добавлю, двадцатилетним лейтенантом, командиром огневого взвода, в 1944 году, когда до Победы оставалось уже немного. Почувствовали ком в горле? Погиб, между прочим, освобождая ту самую «демократическую» Латвию, где теперь регулярно чествуют «героев» СС и арестовывают протестующих. А в справке о Викторе Лузгине, погибшем в 1945 году, и это единственное, что о нем за многие годы удалось узнать составителю, он говорит: «Можно сказать, что в русской военной лирике Виктор Лузгин олицетворяет собой неизвестных поэтов-фронтовиков, к стихотворениям которых по справедливости должны быть приложены слова, сходные с теми, что обращены к Неизвестному солдату: «Могилы ваши неизвестны. Строки ваши нетленны».

Необъятна память народная о нашей общей трагедии. Она живет в каждой российской семье, и, не сомневаюсь, в каждой семье, кроме «Жди меня...», «Синего платочка» (самое яркое воспоминание тех военных лет моего свежера-

танкиста, как он танцевал с ослепительной Шульженко, приехавшей к ним на фронт с концертом), и предвоенного фокстрота «Рио-Рита», есть свои, очень личные, очень родные, вошедшие в кровь, плоть и дух каждого стихи и песни о войне. И не все они отыщутся в этом немалом по объему томе. Лакуны в подобных антологиях неизбежны. Причем они предельно индивидуальны — у каждого свои. Корить здесь составителя бессмысленно. «Исправить» сделанное можно только одним-единственным способом — составить свою антологию, к чему Сергей Дмитренко активно призывает в предисловии: не бросать это благородное дело, вести его дальше. У моего поколения память о той страшной войне не только родовая, семейная, но в очень большой своей части еще и литературная, и ярко-кинематографическая. Поэтому лично мне так не хватает окуджавской «Здесь птицы не поют, деревья не растут...» из великого «Белорусского вокзала» и «Смутлянки» из быковского «В бой идут одни старики» (по семейной легенде, роль механика Макарыча, исполненная Алексеем Смирновым, списана с мужа моей тетки, прошедшего всю войну в авиаполку). Но зато как много других, навечно вошедших в золотой фонд русской песни! Это и «Бьётся в тесной печурке огонь...» Алексея Суркова, и «В лесу прифронтовом» Михаила Исаковского, и «Давай закурим» Ильи Френкеля, и хоровая «Казачьи» Цезаря Солодаря, и «Шумел сурово Брянский лес» Анатолия Софронова, и «Дороги» Льва Ошанина, и «Случайный вальс» Евгения Долматовского, и «На безымянной высоте» Михаила Матусовского, и несколько подзабытый «Бухенвальдский набат» Александра Соболева, и «Соловьи» и «Давно мы дома не были» Алексея Фатьянова, и душераздирающая «В полях за Вислой сонной...» Евгения Винокурова, и песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, и, и, и...

Есть лакуны и среди стихов. Мне в этой антологии хотелось бы видеть и симоновскую «Атаку», и межирожковскую

«Коммунисты, вперёд!», и самойловское «Сороковые, роковые...», и необыкновенно актуализировавшееся в последнее время стихотворение ленинградца Сергея Давыдова «Я видел кинофильм одной страны». Приведу его полностью:

* * *

Я видел кинофильм одной страны,
Которая почти не воевала,
Которая смеялась, танцевала,
Когда мы задыхались от войны.

Я видел кинофильм одной страны,
Которая, чтоб как-то отразится ей
в эпохе,
Она сегодня собирает крохи,
Которые кидала в пасть войны.

Вот эпизод, откопана винтовка,
Вот эпизод, наклеена листовка,
Вот на дорогу брошено бревно,
Отснято все, продумано и зачтено.

Я не хочу обидеть их народа,
Но если все припомнит мой народ,
То будет фильм длиной в четыре года,
Где страшен правдой каждый эпизод.

Может быть, именно поэтому нам не могут простить нашу Победу. Именно потому, что против нас воевала не одна фашистская Германия, а объединенная континентальная Европа, которая необыкновенно чтит память о Первой мировой и старательно переписывает — естественно, в свою пользу — Вторую мировую. Им не понять нашей обжигающей памяти о войне. Там война была совсем другой. И память о ней другая. И факты совсем другие. Достаточно вспомнить, как из немецкого плена был отпущен «по состоянию здоровья» будущий гуру шестидесятников Жан-Поль Сартр (факт исторический). Могло ли такое случиться хоть с одним солдатом Красной армии?

Не хватило мне в подборке Бориса Слуцкого, его стихотворения «Стих встает, как солдат./ Нет, он как политрук...» Формально оно не о войне, потому что речь о том, как пишутся стихи, но, по сути, это сплошная метафора, растянутая на все стихотворение, в котором война

дана в таких подробностях и в таких деталях, что мороз по коже. Отдельно — о моем родном многострадальном Ленинграде. Недаром в недавнем романе Даниила Гранина «Мой лейтенант» пленный немец, идя по блокадному городу, не может поверить в явь происходящего ужаса и уверяет себя, что всё это ему только снится.

Конечно, это блокадная муза Ольга Берггольц, конечно, это Юрий Воронов с его знаменитыми «... Нам в сорок третьем/ Выдали медали/ И только в сорок пятом —/ Паспорта...», конечно, это два известнейших стихотворения Анны Ахматовой «Мужество» и «Первой дальноточной в Ленинграде». Но это и Наталья Крандиевская-Толстая со своими пронзительными стихотворениями и вызывающими абсолютно современные ассоциации финальными строками одного из них: «Мой город, осиянный славами,/ Непобеждённая Пальмира!» А как умеют аукаться поэты! Думал ли Андрей Белый, написавший в 1924 году вполне мирное лирическое стихотворение «Жди меня», какое воистину всенародное заклинание два этих слова на все 1418 дней и ночей Великой Отечественной обретут в устах Константина Симонова? А какой неугасающей болью и безвинной виной звучит финал стихотворения Александра Твардовского «Я знаю, никакой моей вины/ В том, что другие не пришли с войны...» — «Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...» Это «всё же» перешагнуло временные рубежи и до сих пор отзывается в сердцах уже и родившихся после войны, и совсем юных, несущих портреты прадедов в строю «Бессмертного полка».

Еще одним несомненным достоинством «Бронепоезда Победы» является наглядное подтверждение существования русского мира, когда под одной обложкой оказываются не только герои-фронтовики, гордость Отечества, но и авторы, по разным причинам оказавшиеся за пределами Родины, но сочувствующие ей и желавшие ее Победы. Это и эмигрант первой послереволюционной волны Георгий Иванов, и Иван Елагин, оказавшийся на оккупированной терри-

тории и с 1950 года живший в США, и танкист-ас Ион Деген, репатриированный в семидесятые в Израиль, знаменитое стихотворение которого «Валенки» без имени автора ходило по рукам.

Вполне достойно выглядит и четвертый раздел сборника, где представлены стихи наследников Победы, современных авторов. Пронизанные исторической памятью — и с ее горечью, и с надеждой на свет и конечную победу добра. Назову некоторые имена, хотя хотелось бы перечислить всех. Но — по алфавиту: Анатолий Богатых, Светлана Василенко, Сергей Васильев, Мария Ватутина, Галина Илюхина, Юрий Кабанков,

Михаил Попов, Олег Хлебников, Михаил Шелехов... Да что там, всех не перечесть, берите и читайте сами! Стихи, уверяю, первоклассные.

И — в заключение. Нет, Бронепоезд Союза российских писателей не стоит на запасном пути. Он — в активном движении. Он набирает скорость. И не зря на титульном листе сборника читаем: «Стихотворения русских поэтов о Великой Отечественной войне. 1941—1945—2015. Специальный выпуск поэтического альманаха-навигатора “Паровоз”». Будут стихи, будут следующие выпуски, которые рекомендуем не обходить вниманием. А «Бронепоезд Победы» навсегда поставить на свою книжку полку.

Татьяна Сотникова

Любовь к Ленинскому проспекту

Земную жизнь пройдя до половины...

Первая строка «Божественной комедии» определяет в романе Артура Доли если не все, то очень многое — его жанр, его стилистику, взгляды его героя. «Ленинский проспект» является читателю сквозь увеличительное стекло мироощущения человека, находящегося в зените своей жизни и пытающегося разобраться в тумане печали, счастья, горя и бессмыслицы, явленных ему возрастом.

Но речь не об усталости, а о широте охвата. Герой, земную жизнь пройдя до половины, покупает из жалости томик Вергилия у нищего интеллигента, пытающегося распродать домашнюю библиотеку возле продуктового магазина,

и вонзается с этим провожатым под мышкой в Москву двадцать первого века, как вонзается в нее Ленинский проспект. И все книги, которые он читал и понимал по-своему, все, что он видел и чувствовал, все шоферы, режиссеры, политики, гении, бомжи, модели, композиторы, продавцы мороженого, дворники, индийские боги, русские поэты, старушки у подъезда, ларечники, картежники и картежные масти, освободившиеся уголовники, верные жены и проститутки, римские легионеры в форме охранников, продавщицы парфюмерных магазинов, все люди бесчисленных профессий, званий и взглядов, которых он встретил то ли в пространстве московской топонимики (необъяснима ее могучая поддержка!), то ли в пространстве мировой культуры, то ли на пути к не подозревающей о его существовании красавице Маше

Артур Доля. Ленинский проспект: Роман. — М.: Издательство «Э», 2016.

табачному киоску, то никого, хотя бы отдаленно напоминающего Гамлета, там не оказалось, а отчима Гамлета по фамилии Нечуйветер, того самого, который предлагал отправить пасынка учиться в Кембридж, взорвали в машине в девяностые и похоронили на Армянском кладбище, хотя в нем не было ни капли армянской крови, и все это действие, от которого невозможно оторваться вследствие его увлекательности, образует в романе главу, которая называется «Есть многое на свете, друг Горацио».

Роман увлекает не сюжетом, не приемом, не психологией персонажей — он увлекает единством всего этого. Единство же обеспечивается тем, что автору равно дороги все герои без исключения — великие, нелепые, прек-

расные, глупые, пустые, утонченные. И когда в финале главный из них, альтер эго автора, все-таки встречается со своей Беатриче, Машей Оболдиной, и любовь выходит на поверхность повествования в самой ясной форме, — читателя должно охватить счастье. Пламенеет в сумерках Ленинского проспекта алое сердце в витрине магазина, оглядывается на него героиня, еще не подозревающая, что встретила свою судьбу... «Отлично! вот теперь правильно», — завершается роман. И читатель получает подтверждение того, о чем постепенно догадывался на протяжении сотен страниц: весь этот сложный конгломерат основан на любви, подсвечен любовью, движется ею как море, Гомер и Ленинский проспект. В этом и есть сила его воздействия.

Лада Мягкова

Время языка

На самом деле каждый мечтает написать книжку. Если отнекиваются, смеются, гримасничают, кокетничают («Ой, да ну что вы... Я — нет, да я — никогда!..»), то... возможно, просто еще не знают об этом. Тогда имеет смысл их предупредить. Подружески. Потом будет поздно.

Мечтает каждый. Но дойти до конца дано не всем — ну, если идти по-честному, собирая по пути все камни и колючки, взмывая на волне надежды и срываясь в бездну отчаяния... Чтобы в конце возненавидеть ее так же, как любил в самом начале... И после этого кто-то напишет

Елена Девос. Уроки русского: Повесть. — М.: РИПОЛ классик, 2016.

легкую щебетливую аннотацию, начинающуюся словами «что почитать, что почитать?» Всем, кому почитать-помечать — скакалку в руки и... поскокаивайте-почитывайте отсюда! Тут очень, очень серьезный случай. Почти клинический.

Несмотря на провокационный штамп на обложке «Уроков русского» Елены Девос «Не одобрено посольством Франции», интрига все-таки совсем не во Франции и даже не в ее посольстве — да ладно, прямо очень нас волнует его мнение. Франция тут вообще ни при чем на самом деле. То есть, конечно, место действия, героиня с фамилией Бонасье, транскультурные связи и невыясненные вопросы, почему Наполеону мы 1812 год почти простили, а вот всем остальным...

Ну решила живущая в Париже Светлана давать уроки русского — если есть спрос, почему бы не подзаработать? Хорошее занятие, не противное, возвышающее, женское. И конечно, немножко миссия. Потому что, «русский из-за плохих самоучителей, жестоких, тупых или просто неопытных преподавателей, отсутствия нужного количества интересных учебников, двуязычных книг с комментариями на каждой странице, школ и культурных центров за пределами России, а также отсутствия банальных человеческих причин и перспектив для его изучения несправедливо считается одним из самых трудных языков в мире». И тут начинается... Со страниц случайно найденного в недрах «Пирогов» «Словаря культуры XX века» и историй Вадима Руднева сходит в душу Светланы дух Фани Паскаль и озарение, без которого невозможна даже самая скромная, даже самая домашняя педагогика: «...от скучного до интересного — один шаг». И... всё?! Всё. Если вы, конечно, готовы к тому, что шаг этот может показаться вам длиннее всей жизни. И мучительнее пути на Голгофу.

Ведь язык — не буквы алфавита, правила и неправильности, исключения и отступления, поддержка и опора, идиомы и предупредительные позиции фонем. Это едва уловимое общее дыхание, ткань бытия — данная с рождения, с первыми звуками родной речи. Пребывая внутри, мы даже не задумываемся, как это происходит — произнести «ы», подумаешь, да на раз-два! Но попробуйте этому научить кого-то, кто рос на другой музыке и в другом мире... «Я поняла, что должна объяснить человеку что-то вроде того, как надо дышать...» Но это ни в коем случае нельзя делать слишком серьезно! Играть, хитрить, придумывать, увлекаться самому и искать, искать, искать эту заветную веревочку, за которую дернешь. И придет час, и дверь откроется:

«Он посмотрел на меня серьезно и тупо.

— Подумайте о корове, — в отчаянии сказала я, — о корове, которая улыбается.

И это его пробило. Он сказал:

— Гыгыгы, гыгыгы, гыгыгы, ы-ы-ы...

То есть разродился великолепным “ы”, первым в своей жизни...»

Истории любви и отчаяния, откровений и открытий, воспитания и потерь, которыми наполняется жизнь скромного преподавателя, нанизываются в этой книжке одна на другую, переплетаются, растворяются в солнечных бликах на столиках парижских кафе и в полумраке старинных гостиных, на маленьких станциях пригорода и в хрустящих от роскоши особняках. И в какой-то момент начинает казаться, что автор тут вообще ни при чем, просто палец о палец не ударил — это они сами его находят, подсаживаются поближе и давай рассказывать, нашептывать, намекать, спорить, смешить и пугать. Забавно, что французство среди них не так уж и много — попадают и соотечественники, и американцы, испанцы и даже африканские колдуны, да так ли это важно — если уроки самого трудного в мире языка закрутили эти судьбы в волшебный клубок и расплетающему его достаются и их надежды, слезы, грезы, страхи, любви, глупости и страсти — и все это совершенно без разбора, для кого какая речь родная? И столько в этих историях вроде бы случайных мелочей, звуков, слов, пошлываний, запахов, обрывков, из которых складывается живая и мерцающая мозаика текста, насыщенного и даже (иногда так кажется) перенасыщенного смыслами и ассоциациями.

А у нее параллельно крутится-скрипит (иногда искрит) колесо и собственного маховика — дети, переезды, родители, тетя Люся из детства и России, воспоминания о «пупырчатых» словах и событиях, няня Груша и ее личная жизнь, подруги и их сердечные поиски, и даже обвинение в краже картины Модильяни. И мечтает она научиться танцевать танго. И понять все-таки, посильную ли ношу взвалила на себя, открывая тайны русского всем подряд — благодарным и неблагодарным, талантливым и бестолковым... И почему собственных детей научить родному языку ничуть не проще, чем людей по сути чужих, случайно залетевших в твою жизнь. Педагогика, на самом деле, — это история

потерь и борьбы, победа в которой может прийти совсем не сразу. И даже чаще всего кажется, что вообще не придет никогда.

Простые вещи оказываются неожиданно сложными, отчаяние расплескивается и разъедает душу, но... вдруг и немислимо безнадежное однажды ложится в твою ладонь чистым и простым словом. И за этот миг можно отдать все.

«Плавать и плыть, снова плавать и плыть... Лента Мёбиуса русских глаголов движения, где умение незаметно переходит в цель, а процесс — в перспективу. И объясняй это, как хочешь. Ты плаваешь каждый день, но плывешь до того берега.

Не совсем понятно?

Ты можешь уметь плавать, но не знаешь, куда плыть...»

И для каждой истории находятся у автора слова, такие простые, естественные — будто и не составляет труда вытаскивать их откуда-то из неисчерпаемого и рассыпать щедро и легко, еще, еще и еще. Создается ощущение, что и книжку-то всю она взяла и выдохнула, и на запотевшем стекле просто поставила свою подпись... Но за обманчивой невесомостью оказывается, что по сути повесть гораздо более емкая, чем аккуратно уложенная в слова и главы. Как будто ты не дочитал немного или что-то упустил — и нужно заглянуть в нее еще раз, вот тут ведь была ниточка, которая поведет в другую историю. Возможно, теперь уже в твою собственную? Прошлую или будущую? И выходит, что язык имеет еще какую-то тайную власть над временем. Вернее, это оно не имеет над ним власти... «Петр Первый, например, отменил кси, омегу и ижицу, но ижица не сдавалась, вылезала снова и снова, пока, совсем не исчезнув из письма, не въехала в язык на кривой козе: вдруг оказалось, что ей очень удобно обозначать человеческий рот...»

Соединяя уходящее и надвигающееся, язык вдруг становится тем едва уловимым пространством во времени, которое уже совсем-совсем похоже на Вселенную. Мы не всегда готовы принимать сигналы этой

Вселенной — не у всех есть специальные приборы, но даже к самым рациональным может однажды пробраться в дом настоящая космическая мята, словно намекая... «В цветочные горшки по соседству пришли и ушли: анютины глазки, пионы, колокольчики, розы, акация, жасмин, анемоны, чабрец (простой и лимонный) и таки рододендрон (Грушин подарок мне на день рождения) и “ванька мокрый”».

Мята смотрела на всю эту чехарду снисходительно, размножалась и цвела. У нее была простая и ясная задача — захватить планету Земля, метр за метром... С тех пор мы переехали три раза. Мята до сих пор со мной. Думаете, я специально ее взяла? Конечно нет...»

Может, и книги вырастают так же — если уж они положили на вас глаз? И никуда вам от них не деться, не выдернуть с корнем, не спрятать в пыльных банках — пока не смиритесь, что время пришло. И выдохнете на родном языке «ну ладно, поехали». Но это будет только начало пути... И пройти его можно только с бесконечной, беззаветной любовью — как к уроку вечного и необъяснимого.

Да, неизбежно, конечно, возникают параллели с какими-то другими книжками, маячит где-то на грани подсознания призрак Малле-Жорис с ее «Бумажным домиком», и Гавальда, и наши замечательные дамы. Но... Тут, говорю же, случай сложный.

А на днях один мой знакомый, интеллектуал, специалист по Востоку, отчаянный книголюб, которому я подсунула «Уроки русского» в искренней надежде на то, что ему они просто не могут не понравиться, признался: «Так тяжело идет книжка, вообще не идет... Какая-то очень уж... сладкая...» Я замолчала, переваривая и внутренне заводясь. «А я вот, знаешь, решил тут все-таки написать роман...» И я улыбнулась ему нежно, с трудом скрывая желание облизнуться раздвоенным языком. В добрый час, дорогой друг, в добрый час — твои уроки русского еще только ждут тебя...

Галина Климова

Гений места — Арзамас

В марте этого года в Нижнем Новгороде прошел Международный литературный фестиваль им. Максима Горького, задуманный и организованный Дмитрием Бирманом. В рамках программы редакция «Дружбы народов» провела презентацию своего 3-го номера. В ней приняли участие авторы журнала — нижегородские писатели и поэты. Программа фестиваля была насыщена и интересна: творческие вечера, мастер-классы, презентации новых книг и встречи с читателями...

Одно из наиболее ярких событий — наша поездка в Арзамас. Там в городском историко-художественном музее редакция и авторы журнала выступили перед старшеклассниками школы № 1 и работниками культуры. Главный редактор журнала Сергей Надеев рассказал о легендарной истории журнала и о трудностях работы в современных условиях, когда упали тиражи и библиотеки вынуждены отказываться от подписки из-за материальных трудностей. Горячо и доброжелательно беседовали с ребятами молодой прозаик из Санкт-Петербурга Мария Ануфриева, автор романа «Карниз» («ДН», № 3, 2014), и Галина Климова, поэт и редактор журнала. Разговор получился сердечным, открытым и главное заинтересованным — с обеих сторон.

Известно, что есть места, куда хочется вернуться. Это необязательно морские или горные курорты. Необязательно туристические столицы со всемирно известными музеями, галереями, театрами. Есть такие потаенные места, которые не просто привлекательны, но в них заложен внутренний сакральный магнит, от которого идут силовые линии. И ты находишься под воздействием этой силы, этого поля, хотя на самом деле живешь за тысячи километров... Это может быть остров, гора, озеро, деревня, город, отдельное дерево и т.п. У тебя четкое ощущение, что это не только голубая извилина реки или пунсон райцентра на географической карте. Нет, просто внутри тебя обозначилось нечто, от чего так и тянет вернуться, еще раз увидеть, вдохнуть, запомнить то, что запало в душу и стало дорогим. Так проявляет себя *genius loci*, по-русски — *гений места* или *дух места*.

Я говорю конкретно об Арзамасе. О том добром духе места, который покровительствует городу и всем приезжающим сюда. А дух-то, спросите, откуда взялся? Ведь это не циклон-антициклон — один ушел, другой пришел? Свято место пусто не бывает ни на небе, ни на земле. В Евангелии от Иоанна сказано: «Дух дышит, где хочет». Вот он и дышит в живописном городе Арзамасе, который уже не спутать с другими городами России. Рука не поднимается написать: *с другими провинциальными городами России*. Хотя в самом слове *провинциальный* нет ничего негативного — только отражение административного статуса и географического положения. Да, не столица. Да, провинция. Но — какая! Может, потому, что в городе столько церквей и монастырей — на зависть даже губернским городам? Может, было столько молящихся, что они создали, вымолили эту высокую, ощутимо духовную атмосферу города, которую не изменить никакими политическими и климатическими аномалиями.

Многое в Арзамасе удивительно и несоразмерно, что сразу врзается в память

и заставляет размышлять. Совершенно ошеломляет своим непровинциальным масштабом Соборная площадь с великолепным архитектурным ансамблем — с Воскресенским собором, Свято-Николаевским женским монастырем, другими храмами и Ратушей... Вот уж досталось завидное наследство! Приятно удивило, что некоторые храмы уже отреставрированы на средства промышленных предприятий города. Хорошее шефство. Достойный опыт.

Так и хочется увидеть Соборную площадь пешеходной (без нынешних духовитых «пазиков», без латанного-перелатанного асфальта), выложенной хорошей плиткой (столичной — «собянинской»), с цветникам и скамейками, с фонтаном, с детской игровой площадкой в ухоженном зеленом парке, где сегодня донимали цыгане и их приставучая детвора.

Сколько в городе чудотворных икон! Чего стоит лишь икона «Избавление от бед страждущих». Мне кажется, с этой иконой хорошо бы крестный ход устраивать в Неделю Всех Святых и просить избавления от всех бед — больших и малых, общих, семейных, личных, от всех «лютых обстоятельств, временных и вечных...»

Вроде бы город-стотысячник, а монументальный Воскресенский собор по своему величию и архитектурному облику готов потягаться с питерским Исаакием. Единственный в России музей Русского Патриаршества — тоже в Арзамасе. Молодцы, опередили всех! И в этом, конечно, тоже *гений места*.

А как ему не быть здесь, когда по одну сторону — Дивеево с Серафимом Саровским, по другую сторону — Болдино с Пушкиным и его «болдинской осенью», и неподалеку Муром — со сказочным богатырем Ильей Муромцем. Один — святой, другой — гений, третий — герой. Арзамас — между ними. Как не влюбиться в этот неповторимый *город церквей, гусей и писателей*? Мне кажется, это перспективный и многообещающий союз.

«Много видел я в Москве церквей, но в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал, — делился впечатлениями в 1839 году П.И.Мельников-Печерский.

Осталось лишь осилить всем миром реставрацию прекрасных старинных храмов и монастырей, освободив Свято-Николаевский монастырь от прописки по улице «Комсомольский городок». Арзамасскую породу гусей, известных не только прекрасными вкусовыми качествами, но и зрелищными гусяными боями, вряд ли возродить... Но до сих пор живы байки о том, как перегоняли пастухи гусей — две тысячи особей — от Арзамаса до самой до Москвы или до Петербурга... пешком. Бедные гуси сотнями погибали в пути — стирали в кровь лапы. Смекалистые арзамасцы, не желая терять бизнес, придумали гусям самодельные «сапожки». Сначала гусей загоняли в канавку со смолой, а потом — в песок. И вот они, «обутые в сапожки», уже готовы идти до самой Москвы!

Хорошо бы в Арзамасе построить Дом творчества писателей, такую местную «Малеевку» или маленькое «Голицыно», чтобы укрепить великие литературные традиции, заложенные еще в начале XIX века кружком «Арзамас», членами которого были друзья-поэты В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков и А.С.Пушкин и другие любители арзамасских гусей. В Арзамасе не раз бывал историк Н.М.Карамзин. Там была открыта одна из первых провинциальных библиотек, а теперь их в современном Арзамасе — семь. Литературные традиции позже были подхвачены В.Г.Короленко, ссыльным М.Горьким, К.М.Паустовским и Аркадием Гайдаром, на книгах которого выросло не одно поколение советских детей. Хочется продолжения.

**Редакция журнала «Дружба народов» благодарит
генерального директора АО «АПЗ» Олега Вениаминовича ЛАВРИЧЕВА
и президента Фестиваля им. М.Горького Дмитрия Петровича БИРМАНА
за внимание к нашему журналу и оказанную поддержку.**

«Тому, кто плывёт...»

Из наблюдений над современной прозой

Рубрику ведет Лев Аннинский

— Это отсветы. То, что ярко светится в темноте на берегу или на воле, отражается от нее совсем иначе, чем выглядит в реальности, вырисовывая порой самые фантастические картины. С берега отсветы очень красивы, но тому, кто плывет, их красота неведома. Более того, отсветы мешают ему, так как кроме них ничего больше не видно.

Владимир Журавлев. Отсветы

Картины, отсвечивающие в прозе иркутянина Владимира Журавлёва, иногда заставляют потянуться к словарю, но не к Далю, а к словарю провинциальных деревенских говоров. Как правило, там все ясно из контекста (или попутно объяснено). Например: что такое слань. Или сорожка. Или разница между отцом и усыновителем. Такие сокращения, как ЗАГС, тоже понятны абсолютно всем. И справки, ЗАГСом заверенные.

Но одно такое сокращенное понятие когда-то, при советской власти известное даже и ясельникам, теперь позабыто настолько, что нуждается в расшифровке.

ОБХСС.

Возникает оно не в текстах Журавлёва, а в его послужном списке. 1984 год: житель Зиминского района, выпускник Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта (ИИИЖДТ?) призван на срочную воинскую службу. В 1987 году направлен в Саратов на Высшие курсы МВД СССР «по линии ОБХСС», в каковой системе прослужил два десятка лет, после чего вышел в запас в звании полковника. Все по той же линии.

Даю расшифровку. ОБХСС — Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Окончательно оформлен в 1937 году.

Можно себе представить, сколько захватывающих дух криминально-разыскных сюжетов должно было хлынуть в журавлевскую прозу!

И ничего такого?! Где-то на краешке действия вскользь поминаются дураки и злодеи, палящие друг в друга, но не поймешь, то ли это и впрямь выстрелы, то ли эхо, напоминающее выстрелы...То ли реальные события, то ли их отсветы в памяти или воображении.

Когда героиня одного из рассказов оплакивает умершего мужа, веришь, что он отлетает в любящую память, но вот в эту память вламываются бандюги и вышибают

окно, чтобы пограбить, а вместе с ними возникает тот самый добрый муж и участливо спрашивает вдовушку, не испугалась ли она, а она ахает: «Че это, Харитоша? Не пойму, за грехи какие?» — я тоже никак не пойму, откуда такой выворот отношений: может, тут редакторский недосмотр?.. А подумав, понимаю: из реальной жизни в загадочный мир отсветов может отплыть что угодно. Вплоть до бандитского беспредела, коим запросто оборачивается любовь.

Впрочем, беспредела нет (или почти нет) в прозе Журавлёва. А есть поэзия деревенского детства, пронизывающая прозу. С первых строк:

«Жаркое, но короткое сибирское лето, словно ладное, упруго изогнувшееся под полными ведрами, коромысло, легло своей сенокосной серединкой на плечи деревни. Со стороны посмотреть — легко и красиво! Только хочется поскорее донести эту йоту, не расплескав, и освободиться, расправить плечи и, вздохнув свободной грудью, просто наслаждаться солнечным теплом, до той поры пока не зарядили дожди, предвещаая скорое похолодание...»

Чистая поэзия!

И вот так же, между теплом и холодом, вибрирует бесконечная крестьянская работа, ежедневно проклиная за бесконечность и ежедневно дразнящая ощущением счастливой правильности жизни.

То, что эта деревенская жизнь чаще всего пропущена через воспоминания детства, — как раз и придает ей обаяние непредсказуемости, и хранит ту загадочность, которая затаена в неразличимости темного и светлого, озорного и покаянного, наслаждения риском и беды.

«В горшке с топленым молоком... коричневая корочка... в отличие от противной пенки в кипяченом молоке, сама по себе была готовым блюдом».

Что остается в памяти? корочка? пенка?

Не сразу и раскусишь...

«Как почти все его поколение, в большей степени материалист, подспудно он готовил себя к той неизбежности, после которой не будет дежурных телефонных звонков, желанных, но редких встреч с отцом, долгих разговоров и воспоминаний о былом, и коротких прогнозов о предстоящем. Ничего не будет, останется только память».

Заметим эту «неизбежность».

«Дед еще царя помнил, хоть и не видел никогда».

А бабушка?

«Бабушка... родившаяся и пошедшая в женскую силу еще «при царе», не имевшая даже "ликбеза", сохранив к восьмидесяти годам ясный ум, отчетливо понимала, что ее время безвозвратно ушло, Лишь осколки этого времени хранились в таких же, как у нее, сундуках ровесниц, переживших за свой век под десяток войн и три революции».

Что остается в наследие внукам и правнукам, для которых те войны и революции — отсветы памяти?

Поколение, к которому принадлежит Владимир Журавлёв, получает от него поразительно емкое имя:

— Ровесники подвига Гагарина.

Вы слышите? Не ровесники Гагарина (как дети войны, спасенные от гибели), а ровесники *подвига* Гагарина.

И вот они вошли в зрелость.

Война, которая для поколения Гагарина (и для него лично) была испытанием, грозящим гибелью, — до ровесников его *подвига* доплывает отсветами. Орденами,

хранящимися в старых коробках рядом со справками. У того же Харитона «одних орденов с войны было четыре... Стали платить».

Стали платить — вот и все. И это еще слава богу! А если «ответы на запросы приходят как под копирку: что сведений нет»?

Чем утешиться?

«Про награды сказали: отдадут. Даже медаль, из-за которой весь этот сыр-бор разгорелся. Только ехать надо в Москву... долгая песня».

Песня эта увенчивается пронзительным монологом о том, чем в конце концов становится война в памяти стариков:

«В их выцветших глазах ни злости, ни свирепости. В них нечто другое — неизбежное, гибельное и в то же время рассудительное и спокойное, оправдывающее эту погибель. Позже люди найдут название этому *нечту*, изводившему тех, кому повезло вернуться с войны...»

Что же она такое — эта неизбежность? судьба? тоска при мысли о такой судьбе?

«Тоску надо прятать в глубине души, чтобы не вырывалась наружу».

Какая память остается нынешним поколениям? Что наследуют они от Истории, кровью проехавшейся по дедам и прадедам? Какими конфетками наградит их судьба?

Конфетку — обещает. На Пасху. Если ровесник гагаринского подвига выучит молитву.

Какую? «Отче наш».

Выучил.

И встав перед иконами среди бабушек, затянул:

— Славься, *отечество наше* свободное, дружбы народов великий оплот! Партия Ленина — сила народная — нас к торжеству коммунизма ведет...

Мне нечего добавить к такому ответу.

Тот, кто плывет дальше, да наполнит ответы своим опытом.

Summary

The Wreath to Evgenij EVTUSHENKO

Gone is Evgenij Evtushenko. The most famous of our poets, indefatigable «man of the sixties», bright, «loud», irritating, ravishing, wonderful and surprising, he was the old friend and author of our magazine. In this issue we've collected some poems dedicated to his blessed memory.

Alexej IVANOV. The Experience № 1918

The author was working on this novel more than 50 years collecting life-stories, casual talks, diaries, letters, albums and memoirs, memoirs... The novel raises a little the smoke-screen over the past. Lenin, Sverdlov, Zinoviev, Uritskij, Volodarskij, Dzerzinskij, the founder of the Solovetskij camp mystic Bokij, the great scientist Behterev who had outrun his time for decades, patriarch Tikhon — all of them are the characters of the novel.

Poetry

In this issue there are presented the new poems by the famous since the Soviet times poet Vladimir KOSTROV and the brilliant young debutant Alexander GABRIEL living in Boston; rather tough, coloured with civic pathos verses by INNA KABISH and pellucid lyrics by Yan BRUSHTEIN meditating over the similarity of different generations' fates.

Arina OBUH. The Future — Accordingly to the Well-Being. Memoirs

«...When I first stepped over the threshold of «Mukha» — the Shtiglitz Academy — I was shocked by three things: the Pergamon Altar; only girls present in the classes (not a single Petrov-Vodkin at all) and the absence of happiness in the faces... I thought that the expression of happiness must never leave your face while you are studying in Shtiglitz».

Alexander EVSUKOV. The Subject

«Thanks to my native home». With this confession the author concludes his essay about his «small Motherland», though it was not so simple for him to say. «I was refusing to root myself into this place, I was not looking for a job there, I didn't hurry to settle down to married life... But the city itself seemed suddenly to respond revengefully to my refusal».

Konstantin FRUMKIN. Dictatorship of Professionals

«The associations of professionals today are not lesser, maybe much greater, enemies of political liberties than bureaucracy,» — states the author and meditates over the political approach to technological problems.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhiba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ,
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА «РУССКИЙ МИР»